

ВЕСТНИК
НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Выпуск 2

Издательство Ассоциации
«Новая литература»
1990

«ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» №2

Редакторы-составители:

Михаил Берг
Михаил Шейнкер

Редакционная коллегия:

Виктор Кривулин
Дмитрий Пригов
Александр Сидоров (Алексей Алексеев)
Александр Степанов

Ответственный секретарь редакции:

Глеб Морев

Технический секретарь

Константин Кирюхин

Ежеквартальный литературный и публицистический журнал Ассоциации «Новая литература»

Председатель Совета Ассоциации — главный редактор Михаил Берг

Секретарь ассоциации:

Кирюхин Константин Николаевич

Директор литературного агентства: Михаил Шейнкер

Почтовый адрес: Ленинград, 198005, АЯ 237

Представители Ассоциации: в Москве: Пригов Дмитрий Александрович, в Европе: Т. Goritcheva (Татьяна Горичева), 23 Rue de la Roquette, 75011, Paris.

Представители Ассоциации за рубежом:

во Франции: Т. Goritcheva /Татьяна Горичева/, 23 Rue de la Roquette, 75011, Paris, France.

в Германии: I. Burichin /Игорь Бурихин/ Luttersiefen 52, 5253 Lindlar-Schmitzhöhe, BRD (West Germany)

«Вестник новой литературы» №2 издан Ассоциацией «Новая литература», созданной для того, чтобы включить в литературный процесс независимых русских писателей, проживающих как в нашей стране, так и за рубежом.

«Вестник новой литературы», ставя перед собой задачу сохранения и развития лучших традиций так называемой «неофициальной», «второй» культуры, знакомит отечественного читателя с произведениями авторов, до последнего времени не находивших себе места на страницах официальных изданий и публиковавшихся преимущественно в самиздате и на Западе.

«Вестник новой литературы». №2 Л., Ассоциация «Новая литература».

288 стр.

©Ассоциация «Новая литература» 1990.

Издание осуществлено молодежным рекламно-информационным агентством «ИнФА»

От редакции

Выход в свет второго номера «Вестника» приходится на время, суть которого, быть может, определяется формулами: «не изменилось ничего, изменилось все», «нужно все, не нужно ничего».

Каждая эпоха создает и выдвигает своего героя. Наша эпоха — либерализма, переживающего климакс, — востребовала открывателя открытых истин, неопита безнадежно устаревших, но общедоступных идей.

С одной стороны, существует богатая, многосложная культура с ее объемным, стереоскопическим языком, с другой — убогая общественная жизнь с ее банальным диалектом. А между ними ужасающая пустота.

В этой пустоте возникают вопросы: кто с кем борется? Что ожидает нас в будущем? Что происходит с человеком и массовым сознанием при переходе от опороченной системы ценностей к несуществующей? А из всех потенциально возможных ответов пустота выбирает наиболее стандартные и примитивные.

Среди пророчеств грядущих катастроф, припадков зоологического национализма и имперского эгоизма, поиска готовых социальных рецептов мы стремимся следовать известному принципу: не оценивать и давать советы, а понимать.

Этот принцип определяет состав и содержание «Вестника», поиск им своего читателя и своего места в современной культуре.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

1. В. Кривулин. Шмон (роман)	5
2. Е. Шварц. Историческая шкатулка. (стихи)	65
3. П. Кожевников. Художник (рассказ)	82
4. Вс. Некрасов. Из опубликованного (стихи)	104
5. Вик. Ерофеев. Роман (рассказ в восьми главах)	124
6. И. Бурихин. Стихи разных лет	129
7. Ю. Мамлеев. Сельская жизнь	147

ВОСПОМИНАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ

8. М. Волошина. Зеленая Змея. История одной жизни. (Перевод с нем. М. Н. Жемчужниковой)	150
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

9. Д. Пригов. Где наши руки, в которых находится наше будущее?	212
10. В. Голлербах. Две параллели	218
11. А. Черкассов. Либеральные реформы в России	226

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

12 М. Рекшин. Со dna исторической шкатулки	242
13. В. Иофе. Благая весть лесов	247
14. О. Селакова. Музыка глухого времени	257

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

15. Вл. Инов. О Высоцком, Бродском, Блоке, Белом и «цыганском романсе»	266
ПОЧТА ВЕСТНИКА	278
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	285

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Виктор Кривулин

ШМОН

Время наступило — такими словами три года назад началась эта книга, повествующая о бесконечном сидении пяти безымянных собеседников в тупичке коммунального коридора, и тогда, три года назад само начало казалось единственно возможным выходом из бесперспективного разговорного лабиринта, где мы кружим уже много лет (два последних десятилетия по крайней мере), но вот — наступило время, пришли к нам люди с обыском, всем сказали: сидеть! — и мы сидим, потому что наступило время, слава Богу, время наступило, может ведь ненароком и раздавить нас, но пусть! лишь бы не стояло на месте, лишь бы сделало хоть шаг вперед, а не топталось, не пятилось, пусть кончают они скорее свое дело, и методические их усилия пусть вознаграждаются редкой находкой — рукописью в машинописном исполнении, начинающейся словами:

1

время наступило не то что тяжелое — бесконечное какое-то, сплошные разговоры в одной и той же ноюще-вопросительной тональности, как разговаривают «здесь-и-сейчас» четверо мужчин, от 30 до 40 (акмэ!), кучно сидя в тупичке широченного коридора коммунальной квартиры и пия — что за дивная деепричастная форма — «пия»! помнишь это великолепное опущение диафрагмы в конце пушкинского «... тихие слезы лия... и улыбалась ему, тихие слезы лия...»? — и пия чай, разговаривают приглушенным разговором на виду (отчасти на слуху) многочисленных жильцов соседей-соквартирников, попробуй посиди так на виду лет даже двадцать назад, попробуй поговори так на темы отвлеченные — завтра же все четверо, по одному окажутся в другом месте, приспособленном для другого сидения и для другого, более напряженного, может быть, и творческого в смысле фантастичности — диалога, но не будет разговора вчетвером, не будет

предмета достойного собеседников — это «сейчас-и-здесь» можно вечерок-другой скоротать за пустым разговором, не рискуя навсегда исчезнуть из виду, навсегда затвориться от соседей, исчезающих неслышно за дверьми своих комнат, где течет загадочная, своя жизнь, неслышно они возникают снова, чтобы исчезнуть за дверью общей ванной, общего туалета, общей кухни, не то что тяжелое время, конечно, и не чтобы они стали добрее за эти двадцать лет, да и нас не умудрило течение времени, просто все — и они, и мы — обмякли как-то, приустиали, бесконечно тянется вяловатый разговор, истины, которые открываются через него, не будут уже оплачены жизнью и благополучием — так мизерны и робки эти истины, время вечернее, похожее на долго засыпающего ребенка, то и дело за дверьми какой-нибудь из комнат раздастся ноюще-вопросительный тоненький голос, требовательно-зависимый голосок, тупые гаммы просеиваются сквозь музыкальное решето, разговор все более подпадает под обаяние вопросительной интонации — жалущийся отдаленный разговор, и тупиковый не только по месту и времени, но, главное,— по теме, так сказать,— по предмету: обговаривается тупик современной прозы (русскоязычной), хотя тупик — только одна из точек зрения, крайняя, принадлежащая хозяину комнаты в конце коридора; но ему как хозяину позволено иметь крайние взгляды, это вроде бы одно из условий игры, где он играет роль хозяина — роль достаточно условную в условиях мало соответствующих уровню его интеллектуально-пространственных притязаний, и в самом деле, кто может окончательно быть уверенным в том, что он — хозяин в доме своем, в доме, где живет, в комнатке, где приходится жить, в растущей тесноте мира, когда самое время вспомнить начало послания Климента Римского, третьего папы после Петра, первые же слова звучат так: «... Церковь Римская, странствующая в Риме...» — заметьте: не находящаяся, не пребывающая — но странствующая, все равно, что сказать об уехавшей в штаты приятельнице и осевшей там: она «странствует в нью-йорке» — ага, тут-то он и возникает — образ полуголодной, изможденной женщины, с выразительными глазами и растрепанными волосами, в джинсовом рубище, бедная, лихорадочно листает записную книжку с адресами и телефонами таких же странников, составивших странную общину, где известие о том, что кто-то получил от фонда помощи бывшим политзаключенным месячный абонемент на бесплатный проезд в метро, воспринимается как жесточайшая обида, как трещина в хрупком, яичном универсуме каждого беженца, которому русский язык — не чужой, и если язык, как говорит немецкий философ,— это дом бытия, то бытие дома, где живет (странствует) любой из моих героев (героев? переспросите вы, ладно: пусть будет нейтральное — персонажей, фигур условно-литературных) язык

их, повторяю,— вещь еще более условная, чем разговор, который (пока пишутся эти строки) не может сдвинуться с мертвой точки, не может набрать силу и скорость, заговорить языками человеческими и ангельскими, как не может и вдруг прерваться внезапным обрывом, молчанием, звонком телефона или в дверь, шоком от моментального сознания обретенной истины, мхатовским выражением удивления при виде приятеля, стоящего на пороге; классическая сценка для бытового театра — человек «после-столь-долгого-отсутствия» на пороге, хозяин (условно говоря) дома при дверях, в дверях, и стоит на пороге человек, о нем (пока еще третье лицо) ни слова не произнесено, до «ты» еще доли секунды, о «нем» уже полгода известно, что он то ли сидит, то ли сослан (кажется, все-таки сидит) — однако нет, вот он — здесь, не сидит и не сослан, а стоит на пороге, из горького приехал, имеется в виду город, а не писатель, но это сообразишь много позже, когда новый гость, снимая пальто, оживит замолкший разговор историей о проводнике общего вагона, который, закупая водку для ночной торговли, отстал от поезда в кинешме, непонятным образом вернулся в тот же горький, как-то добрался до военного городка, там его брат служил начполитотдела в летной части, уговорили двух молодых ребят всего за пару полбанок взлететь и посадить бомбардировщик на военный аэродром под в, где он и догнал странствующее по стране место своей службы как ни в чем не бывало, никто из бригады не спохватился, думали: напился пьян и спит где-нибудь в мягком вагоне, запершись с дамой, всю оставшуюся до ленинграда дорогу не мог изжить головокружительного чувства скорости и полета, нашел двух собутыльников, в том числе моего приятеля, показал, как нужно поднимать военный самолет в воздух и, показывая, увлекся: ударился виском о железный угол, потекла кровь, потерял сознание, на московском вокзале вагон уже встречала медсестра с чемоданчиком и ждала у грузового лифта в начале платформы «скорая помощь» с шофером и врачом — и когда окончательно поймешь, что здесь никаким писателем не пахнет, окажется, что разговор перекинулся на Сахарова (только-только выключено радио, повествовавшее об условиях жизни ссыльного академика в горьком) и что новый гость будучи сослан в горький за тунеядство перед олимпиадой, попал на четверть часа к тому же Сахарову, он и раньше поговаривал о каком-то сахарове, но разве могло прийти в голову, что подразумевался не известный московский детский писатель сахаров, нарком и алкоголик (некоторые почему-то считают алкоголизм и наркоманию несовместимыми), буян, клептоман и скандалист, морганатический муж любовницы вернувшегося из горького приятеля — той самой, что сейчас в нью-йорке что-то пишет о русском феминизме, что-то вроде книги в жанре

новой журналистики — с документами и яркой личностью автора, а точнее, авторши, хотя присутствие женского рода в русском языке, в отличие от безродного английского, должно бы служить серьезным аргументом в пользу противников женского движения в России; пишет, кажется, по-английски, — вот что странно по-настоящему: года три назад все ее попытки освоить разговорный английский были плачевны, и будто бы даже написала, только никто ее (книги) не видел, не могла же она (книга), появившись, исчезнуть бесследно, как появляются и исчезают жильцы огромной квартиры — бесследно, как исчез полгода назад приятель, только что вернувшийся из горького, и никто не знал, где он, думали: исчез навсегда, ухнул в неву с железнодорожного лифляндского моста, укатил в крым расписывать пляжную гальку видами карадага, уехал спастись от китайской войны в деревню вознесение на онеге, куда в случае чего приглашал всех нас набирающий силу писатель, набравшийся черных пригородных впечатлений и подозрительно русских идей в москве, во время кухонных, тайком от жены, сидений у критика кожинова и перебирания имен, когда срабатывала полускрываемая обида, как пружина, похожая на часовую, в детской сломанной игрушке — в заводном автогонщике с магнитом и специальным жестяным полем, с которого, по у с л о в и я м не должен был съезжать, но ездить кругами, пока не кончится завод, вокруг эмблемы олимпийских игр с кругами, все-таки — это довольно определенная цель в тумане повседневности — возрождение русской прозы пускай проза будет более русской, чем прозой, но здесь заманчива четкость позиции, чего не скажешь о двойственности кожиновского собеседника: покидая гостеприимную кухню и унося в себе часть выпитой бутылки, он существовал двояко — отчасти русским, отчасти писателем, и, налаживаясь примирить одно с другим, как бы проваливался в щель (отношение «автомат-монета») между литературным штампом и штампом бытового языка — нырял в зияющую расщелину и исчезал на несколько месяцев, а то и на год, чтобы снова ненароком вынырнуть, как ни в чем не бывало вытаскивая из портфеля свеженький молодежный журнальчик со своим старым, новонапечатанным рассказом; его рассказы были литературной записью анекдотов, бытующих в пригородах больших городов — там жили полусельские-полугородские одичавшие люди, много и тяжело пили, часто вскрикивали: «и-эх!», толпились у привокзальных пивных ларьков, ханыжили, разливали явившийся на халяву портвейн, ночевали в холодных вагонах электропоездов, отогнанных на ночь в такие тупики, откуда ночной город виден лишь как мутный световой пузырь в низу неба, кричали, дрались, поминали сталина и американцев в неподцензурных вариантах, а в подцензурных — сталина меняли на калинина, амери-

канцев на немцев (давешних немцев — не нынешних), что ж, входящий горьковский приятель явился именно из неподцензурной версии: его, оказывается, отпустили на несколько дней в отпуск — без паспорта, с какими-то тюремными бумажками — такое допускается, хуже было если б он бежал сам, безо всяких бумажек, а вот он появился и вписывается в общий разговор о тупике современной прозы, разумеется, русскоязычной, но пока молчит — осваивается, потому что разговор этот в щели между двумя спецкомендатурами, в коммунальной пропасти после рабочего общежития, звучит за пределами акустической реальности, и ему приходит в голову мысль потусторонняя — что он попал на тот свет, вернее на э т о т — на свою досознательную прародину, где существовал доутробно, в одном из прежних воплощений, если условно считать его работу — по 10—12 часов без выходных — на штамповальном станке, производящем деталь «УГОЛОК» — такие разглаженные жестяные пионерские галстуки, норма 5000 за смену днем и 3500 ночью в колесном цехе автомобильного завода, откуда автомобили увозят, ставя друг на друга, в развивающиеся страны африки и азии, где уже все в порядке или почти все — а ведь это его первая служба за тридцать один год жизни и сразу же — на штампах — (вот не знает еще, что когда вернется из отпуска, его переведут на конвейер: нечего, мол, посещать бывших друзей, когда у них в квартире идет обыск, и ничего, не умер даже, просто потерял право жить в столицах, утратил комнатку в центре, все вещи пропали, дали в жилконторе бумажку с размытой печатью: «... стол старый, приемник старый, стул старый и всякий старый хлам...» — все его картины исчезли как не было, краски, холсты, картон, книги, фирменная одежда — всякий старый хлам, и незаметно для себя самого упустил он право жить где бы то ни было, кроме тех мест, где будет вынужден жить, и теперь даже коридор коммунальной квартиры — для него т о т свет, тем более что с его приходом разговор принимает новое направление; человек, условно обозначенный как «хозяин угловой комнаты», отворив дверь и пропуская его к другим гостям, продолжает прерванный резким (ребенок спит, господи, тише!) звонком пересказ не то романа, не то повести или просто «записок местного автора», применившего к пошехонскому нашему культурному бытию прием «отстранения», словно описывает нас серапион какой-то, выкормыш виктора борисыча шкловского, брито наголо и стрижено лево-правое и сыро-вареное варево литературы, не то роман, не то мемуары с того света, куда герой попадает после легкой условно-литературной смерти, и Тот-Свет — все тот же зимне-осенний, насквозь облитературенный ленинград, попытка заглянуть в нашу жизнь с той стороны жизни, через замочную скважину смерти: герой умирает в ленинградской комнате,

лежа рядом с женой и одновременно вылетая в приоткрытую форточку, попадает на те же прославленные улицы, только несколько пообветшалые, чуть более тускло-туманные, чем в реальности — такой теплый молочный пар над рекой, у мостов те же синие таблички с официальными названиями рек и ручьев, литературно закрепленная «нева», «фонтанка», «мойка» и пр., а рядом с казенными — самодельные, выдранные из кашеобразных блокнотов листки в клетку, подпольные интерпретации водных наименований в духе ложноклассической эстетики, сделаны химическим карандашом, нельзя от них высвободиться человеку из писательского подполья, летописцу, замешанному на кваренги и росси, древнеримских стасовских арсеналиях, руинах екатерининских помпей — нельзя — и вместо «невы» курицыной лапой накорябано: «лета», вместо «мойки» — «стикс», «ахеронт» или что-то еще более неразборчивое — так самоопределяется засмертная интеллигенция в молочном тумане мировой культуры, да и тот ленинградский свет имеет собственное подполье, тайные семинары и университеты, дискуссионные клубы и церкви, куда проникаем через люк канализации, короче «всюду жизнь», воют поэты и разглагольствуют политические деятели незримой оппозиции — следует пародийное изображение знакомых авторов романа (или повести, или мемуаров), немного эротики, булгаковски-прекрасная нагая ведьма в дверях коммунальной квартиры прикрывает темнеющий треугольник под животом между ног, — прикрывает свою вульву веером из карт, отпирая дверь герою, это — ведьма вероника, тень в его потусторонней жизни, по ту сторону смерти — она главная героиня, и невозможность их любви, когда они лежат в постели и пытаются... и соблазнительные американоподобные девки, чьи головы держатся на шеевом шарнире, а голливудские молочные железы прикреплены к корпусу болтами — такие изящные крепежные гайки в виде сосков, она невозможна, любовь, раз они умерли, и герой не выдерживает, соглашаясь на новое рождение в старый, покинутый через форточку мир, должно ли это решение означать, что автор морально приготовился к эмиграции? или — один из литературных приемов? все слишком прямолинейно: разве можно этак сиамски совокупить писателя с литературным персонажем, ведь возвращение героя в старый свет — это возвращение к любимым книгам: замятин и оруэлл лежат, как транспортеры под белым листом профсоюзного опыта: массовая сцена, собрание, скажем, сотрудников потусторонней академии наук, единогласно избран новый действительный член-водопроводчик (на место еще живого Сахарова, вероятно), и куда теперь без него? — славное «приглашение на казнь», иначе откуда бы взяться в современной нам прозе таким лощеным тюремщикам, такому изысканному другу-палачу, настолько аристократическому судилищу, отстра-

ненному процессу судопроизводства, но еще — не забудьте! — судьба г-на К, профетически прочерченная когда-то кафкой: смотри, милый, какая кафка по стене ползет! и этой кафке-косиножке, кафке-мухобойке снится, что ее судят . . . судят судом литературным, какому полностью подсуден (подпадает под юрисдикцию) общий герой русской новейшей прозы — оборонец, подпольный человек во враждебной лингвистической и метафизической среде, консистенция всех возможных маленьких людей-жертв общества (жива ли, интересно, парижская достоеведка доменика арманд, обнаружившая пристрастие великого романиста к угловым комнатам?) — позиция пулеметчика — «пулеметчик узколобый» в случае безнадежной круговой обороны, загнанный в угол герой, порфирий, например, из набокообразной повести коли бокова, порфирий и — стоический борец с нашествием насекомых: жара, зной, каленая выжженная земля — условия жизни тараканов-завоевателей, тогда как последние люди загнаны в прохладную щель эдем — вопль о безнадежности исхождения из материнского чрева на сей душный, душный свет, и здесь возникает достойный повод затронуть глобальную насекомую тему в двадцативечной литературе — тему, опять же производную от лебядкинского таракана, но вслед за анри бергсоном и вопреки ему, поминая того же кафку, олдоса хаксли (гексли), минуя мучительнокрылых мух иннокентия анненского, мы примемся обстоятельно обсказывать самый факт открытия человека как насекомого — открытия пророческого, сделанного накануне эпохи безошибочных многочеловековых механизмов, относительно которых одно только и имеет смысл — тупо повторять общеизвестные упреки и предостережения, высказанные накануне нового (ХА-ха-ха) века, но с каждым повторением все меньше остроты в обличениях, все примирительнее и глуше тон повествования, так лампочка тускнеет, не теряя внутренней силы света, а лишь оттого, что пыль скапливается на внешней поверхности, копоть отовсюду обседает стеклянную грушу, образуются материки мути, темноты все больше, отступает, шипя, кромка каспийского моря, и голландцы мило за милей вырывают из спины атлантического океана, ставя свои насосные станции, внутри которых сияют фрески а'la стены покроей несбыточный пейзаж дна гобеленовые морские звезды, солярные и лунарные значки, радостно-эротические символы, и синий цвет, насыщаясь, переходит в пурпур, в кармин, в бисер, как на филармонических концертах, если смотреть вверх, ведя голову по звуковой дуге фугообразного музыкального движения — и тогда какая-то бесцветная висюлька, какая-то фиговина в люстре переживает целую гамму ярчайших цветовых состояний — от светло-зеленого до кроваво-черного, богатая, бесконечная жизнь, жить можно — только нужно медленно описывать головой замысловатую мелодическую фигуру —

и все тусклее свет коридорной лампочки, где четверо ослепленных разговором собеседников и пятый (почти освоившийся), не обращая внимания на таракана, который в позе напряженного вслушивания застыл на стене, продолжают бесконечное обсуждение невыносимой уже насекомой темы, кто-то вспоминает предисловие некоего п. в роскошном, как «золотое руно», альманахе «аполлон», правильнее было бы окрестить эту трехкилограммовую херовину «меркурием», кто такой п.? ага, был здесь такой, в кафе торчал, как же его звали? никто не знает, впрочем... впрочем прозвище помню: «мандавошка», но как его звали-то? один пассаж из его писаний задел всю первую эмиграцию — абзац о том, откуда (не с генерал-губернаторского бала же!) занесены переселенцы «третьей волны», нет они явились из «квартир-клоповников» — и это сущая правда — чего же тут обидного, правда, все клопы в тот год, когда вышел «аполлон», куда-то бесследно исчезли, а было их такое множество летом накануне выхода альманаха, что стены, украшенные расплюснутыми шкурками, пришлось завесить множеством репродукций: Мир — на желтом фоне человекоподобные фигуры, составленные из насекомых ниток с черными шариками на концах — шевелящиеся живые локаторы, и красное, кроваво-солнечное пятно, и условная, нарочито-детская (дада) морская звезда, и запах гниющих водорослей, и шипение песка, и много-много светлой приморской поэзии — ее скрадывает тусклый свет коридорной лампы, застилает табачный дым, заносит пеплом общекультурный разговор, самое время нестати припомнить недавнюю историю: правнук, что ли бакалейщика елисеева прибыл, возят по городу: здесь была контора предков, теперь театр комедии, а магазин по-прежнему торгует, зато не частная лавочка — крупное предприятие при главном управлении торговли ленгорисполкома, и вот, полюбуйте, революция ничего не сломала — все та же знаменитая сплошная стенка винного отдела, площадь 400 метров, те же электрические дуги и роскошные, дутой бронзы, люстры, а сколько народу толпится! теперь это — народное достояние, но что елисееву-то молодому от этого? я, говорит, чужд родовой гордости, обидно, конечно, но не обижаться ведь приехал, не то чтобы из ностальгии, некогда, — прибыл по делу: у вас есть закон, не знаю как формулируется точно, а смысл такой, что каждому нашедшему клад государство оставляет четверть, сколько бы это ни стоило и кто бы ни нашел, так вот: перед революцией мой, что ли, прадед или, может, дед, кто их там помнит? здесь спрятал золото, клад, — место знаю и могу указать с условием, что мне выплатят причитающуюся четверть в твердой валюте, минутку, нужно проконсультироваться — сопровождающий к телефону, возвращается, сокрушенно разводя руками: видите ли, к сожалению, вы не гражданин нашей страны, на вас не распространяется

закон о кладях, ничем не могу помочь, а вечером того же дня бывший елисеевский магазин на ремонт закрыли, десять месяцев все ломали изнутри, стены по кирпичику перебрали, зеркальную стенку винного отдела вдрызг расколотили, нету ничего, никакого клада нету — что ж это вы? — спрашивают елисеева при очередной торговой встрече, — вредительство какое-то получается: вы нас, простите, дезинформировали насчет золота, ага, это у вас сыск такой — но вот мои новые условия: выплачиваете пятьдесят процентов стоимости в долларах — и золото ваше, несколько дней утрясали, согласовывали, наконец подписали соответствующую бумагу, поехали, вошли в бывший магазин: кругом кирпичный лом, мусор — где же оно? — да вот она! люстра висит, голубушка, в пыльном чехле из мешковины, нетронутая, 200 с лишком пудов червонного золота 96 пробы, хитер был дед, чуяло сердце: приказал еще в январе 1916 отлить новую люстру и повесить у всех на виду в торговом зале — патриоты тогда возмущались, даже заметку тиснули в газете «копейка»: дескать, страна воюет, солдат на фронте кровь проливает, вшей кормит, а елисеев-де от армии, от победы, отрывает сотни пудов бронзы, сколько орудийных стволов вышло бы! таковы у нас столпы общества, люстра в купеческом стиле «модерн» — где она теперь? говорят, будто и не было ее вовсе — я-то вот помню, что висела, и тысячи людей, кроме меня, помнят, но кто мы все-таки? мы — недостоверное статистическое множество, нам веры нет и самих нас почти что нет, а есть начальство, которое ни о какой люстре знать не знает, стало быть ее, люстры не висело, никакой стенки стеклянной не стояло, магазин открыт после модернизации интерьера, восстановлен первоначальный вид, а все остальное — обман, так сказать, чувств, злонамеренные слухи и клевета, помните заметку в «ленинградской правде» от 8 марта 1980 года? — раз в проекте архитектора туганбарановского 1907 года не предусмотрено люстры, значит ее и не было, да и сам купец елисеев не очень чтобы был — тоже сомнительная полумифическая личность, и зря только его бывший уродливый торговый дом разрушает гармоничность ансамбля невского проспекта — если бы не знаменитый театр комедии, давно бы снесли выродка, жирный пудовый модерн, нет, сейчас так уже не говорят, потеплели как-то сейчас к модерну, попривыкли, нынче и модерн как бы искусство, а ведь еще в 1959, помню, маргарита николаевна фишер — дочь певца-эмигранта и племянница верки-топни-ножкой говорила: ну поглядите же, прямо комод с аполлоном, торжествующая безвкусица — и где? — напротив россиевой александринки, а мы, пятнадцатилетние её воспитанники из кружка западной литературы, смотрели, воочию убеждаясь в ее аристократической правоте, двадцать пять лет прошло — когда что-то нравится, то кажется: будет нравиться всегда, пока жив — ан нет,

иллюзия молодости, год в горьком пролетел незаметно, как дурной сон, только «кресты» буду вспоминать, а никакого горького для меня не останется, если Бог даст, вернусь живым оттуда — вернешься? — и кто-то высказывает резонное опасение: вдруг не пропишут в ленинграде, с 209 статьей теперь не прописывают, проклятая статья, прежде только поэты были проклятые — ерунда, может и пропишут, все меняется, а мы перемен не замечаем, сидя в коридоре — ложное ощущение: мы сами за это время стали другими — мы другие, чем в начале разговора, мы — все четверо, нет пятеро — изменились, и когда только это бессмысленное сидение кончится? ну и уматывал бы отсюда, если на месте не сидится! да кто меня выпустит-то? — это там, за границей, они мобильные, а здесь сиди и не рыпайся, пока тебя не послали, как вон его — в горький по казенной надобности за общественный счет, да и насчет тех, на западе, — тоже иллюзия, что они в движении — они, как мы, тоже не очень-то подвижны, путешествуют меньше, не до туризма — инфляция у них, деньги стали дороже, мир сузился, пути укоротились и ведут вместо чехословакии или черного моря в тэзе, в альпы, на многочасовые молчаливые молитвы, экуменические семинары, ах, и ношение на груди серебряной цепочки с голубым, неправильной формы, камушком, где выдолблено как бы естественное углубление, лунка для духовного гольфа — и туда, как капли в единую чашу, стекают и слезы, и вера людей-христиан... да, они не такие активные, но по крайней мере, не делят мир надвое, нет, они ищут за пределами, от старших братьев и отцов их отличает глухота: жить не слыша грохота мегафона, когда с крыши партийного микроавтобуса волосатый толсторожий парень орет, выкрикивает по слогам, демократически скандирует лозунги 68 года: «будьте реалистами! Требуйте! Невозможного!!!» — необъятные, в манере кастро, промежутки между словами, эти сосущие под ложечкой пустоты не завораживают их, не наполняют блаженным ожиданием, что вот-вот обнаружится последний смысл и все сразу станет ясно, как на ладони — совсем они бедные, оглохли для лозунгов и митингов, и заезжий индус собирает их в чистой, хорошо проветренной комнате с окном на море, и там они учатся осмысленно молчать, и лишь изредка, редко-редко, еле слышно задают тихие вопросы — и слышат в ответ новую, внезапную, неожиданную, ошеломляющую интонацию в молчании учителя — и бесконечно открывают все новые и новые фразы, куски и целые тексты немоты — о эти летние каникулярные месяцы на юге франции, это бесконечное, с мая по октябрь, хождение в свете истины и красоты, чудотворно правильное глубокое дыхание, я не говорю уж о волшебной рождественской неделе, о золоте пасхальных праздников, о легионе национальных красных дней,

когда не нужно по утрам тащиться ни в университет, ни на службу, и никаких тебе трудсеместров, никаких прод- и стройотрядов, но вечно юное, беспечное шатание по миру, где с каждым годом все труднее и труднее жить, все голодней и беспредметней — не потому ли с каждым годом их приезжает к нам все меньше, больше нет социальных иллюзий, мир совершенно определенно лежит во зле, и местная фарца вынуждена пробавляться одними финнами — благо, тем все равно куда ездить, лишь бы напиться в лежку — но как они замечательно приспособились друг к другу — финны и фарца — прямо-таки один народ, шепотный взаимовыгодный бизнес, конъюнктура десятилетиями не меняется: джинсы, авторучки, электроника — это вам не «коньяк-чулки-презервативы», как в 20-е годы, — куда уж мы свидетели небывалого прогресса, листаешь рекламный каталог — и на каждый известный предмет — пять вещей неизвестного, загадочного назначения, черт знает что — низкорослый, бедный вещами быт, а ведь скоро и он канет в прошлое, и коммунальный коридор с его бесконечной культурно-ностальгической беседой станет, наподобие платоновской академии, предметом духовного вождения, но пока... пока мы вчетвером наглухо запаены в консервной банке халдейской эры, и уже поздно ехать отсюда туда, как совершенно бессмысленно без дела приезжать отсюда сюда — как нельзя бычку, гоголевскому лабардану, невской корюшке, тяпушке или ряпушке, кильке или салаке выпрыгнуть, разбрызгивая томатную жидкость из только что открытой банки, нырнуть в ближайшее отверстие, через канализацию войти в мойку фонтанку невку неву, попасть в прославленную маркизову лужу проплыть на расстоянии пушечного выстрела мимо кронштадта бастующего гданьска бывших ганзейских городов на траверзе пристроиться в кильватер контейнеровоза следующего из ленинграда в лондон на миг потерять сознание в гавани роттердама-европорт, чудом выплыть отсюда не расставшись с последней искоркой жизни вернуться от кашалотовой глотки насосной станции на зайдер-зее благополучно миновать па-де-кале, оглохнуть и всплыть брюхом вверх испытав убойную силу воздушной подушки железнодорожного парома брест-брайтон но очухавшись снова поплыть как-то боком и медленно теряя нить путешествия отклоняясь вправо в сторону воспетых батюшковым меловых откосов южного вэлса пройти трепеща ревушие 40-е широты расслабиться и разомлеть в субтропическом бульоне у трафальгарского мыса — и вдруг окончательно прийти в себя среди другой мелкой и крупной рыбешки вывалясь на скользкую палубу крошечного баскского траулера, впереди консервная фабрика, две недели на складе, месяц в супермаркете (бильбао, испания), четыре часа в поезде «тулуза-мадрид», четыре в самолете «мадрид-москва», наконец — над голо-

вой московское небо, раскачивается до боли знакомая консервная банка, лежа на дне элегантного и старомодного «дипломата», что в руках энергичного руководителя молодежной секции ЭТА взлетает и опускается, как бомбометательный прибор, гость одет по-летнему, а здесь уже осень, как всегда, ветер, пересекающий поле электрокар с багажом, зеленого цвета дождевая вода в щелях между бетонными плитами, еще раз ветер, как всегда, и наконец — едут, до отхода поезда на горький 40 минут, еще можно успеть, поезд через петушки и владимир, вагон «св» — и вот курский вокзал, успевают, до отхода две минуты, гость и двое встречавших в штатском — все трое одновременно, по-военному, выскакивают, хлопая дверцами, из машины, тем временем, как ее огибает высокий седой человек с нарочито-твердой походкой, отчетливо направляясь к стоянке такси через дорогу — благородное лицо, прямой взгляд великоросса, банный фанерный чемоданчик послевоенных времен в его руке выглядит, как подчеркнуто аристократичный камердинер портфеля-дипломата: бакенбарды, фрак, медлительность слуги, знающего цену каждому движению, и держатель чемоданчика становится в очередь, а те трое исчезают за стеклянной дверью — собственно, им нужен не сам горький, но какой-то ненанесенный ни на одну карту поселок рядом: полигон, фанерное сооружение, напоминающее перевал в пиренеях — и в натуральную величину модель небольшого испанского городка с главной улицей, банком, местными отделениями соцпартии, партии центра, католическим собором, с двумя десятками автомобилей европейских марок перед ратушей, с баром и финской баней-сауной, не считая двух пивных ларьков ленинградского типа — один на въезде, у КПП, другой за углом здания мэрии — сюда-то и возвращается окончательно наша невская рыбешка, стоило ради этого оплывать пол-европы! — и дальнейшая судьба ее тонет в международном тумане... впрочем, все перечисленное занимает весьма немного места, такое игрушечное поселение для хомо люденс — оно может вполне уместиться, не будучи замеченным, у подножья горы игрушек в углу коммунального коридора, где разговор только-только миновал опасную фазу «москвы-петушков», причем, как водится, обговаривалась не сама книга, а личность ее автора, портрет которого мелькнул на оставленной позади (12) странице: помните высокого седого господина с банным чемоданчиком? он и есть веничка, автогерой алкогольной собственной повести, советский рабле, через жену свинофила кожинова познакомленный с бахтиным, нет, подымай выше: бахтин познакомлен с веничкой и признал за лучшую постгоголевскую прозу это, еще одно русское путешествие — извечная русская метафора духовного продвижения, сведенного к продвижению в пространстве — метафора, обыгранная веничкой в виде круговой электрички «москва-петушки-

москва», силовая сцена в конце повести: следует злодейское убийство героя, приведенного к лобному месту обстоятельствами чрезвычайными... а его знаменитая люстра! люстра в ресторане курского вокзала — люстра, из-под которой поутру выпархивают ангелы и ангельскими голосами возвещают феерическое явление хереса — неподалеку, верстах в трех, в ресторане вокзала ленинградского... а его почти борхесовский каталог балдежных напитков! а его прекрасная, быстро и недолго ранимая душа! — все переведено на 11, кажется, языков, тогда как сам веничка в дубленке, меховой шапке и эскимосских сапожках, дрожа неизвестно по какой причине, возлежит под белоснежным пододеяльником, на хрустящих простынях, белый как лунь — поседел, говорят, когда в него выстрелила из охотничьего ружья монте-кристо влюбленная и ревнующая женщина-кандидат химических наук — такие ружья всегда стреляют вовремя и мимо, да стреляла-то она не в москве, а в названных уже петушках — и тогда, в самый миг выстрела веничке пришла в голову генерал-полковничья мысль замкнуть круг российского исторического процесса, что такое круг, круг — это стакан в проекции, эллипс, что остался от оттиснутого на газетке доньшка, — прежде давным-давно, в золотом или темном прошлом, дно было математически круглым, теперь — сплющено, вот она, память о нашей жизни, не уничтожимый розовый след от стакана, не смываемый ничем — похмельное решение проблемы: взять и соединить в одну геометрическую фигуру две исторические дуги — радищевскую поездку из петербурга в москву и ракоход пушкина из москвы в петербург, в питер... но пал уже питер от великого труса, и если петербург не столица — то нет петербурга, а есть одни родные петушки по дороге во владимир (не от петра ли петровича петуха /второй том «мертвых душ»/ произошедшие?), есть изначально несуществующая точка петушки, благообразный, близкий народу автор, одаренный цепкой памятью на слова (на пари за вечер выучил тысячу латинских выражений подряд из недавнего двухтомного словаря — проверяли: за четверть часа не только все прочел, но, действительно, запомнил... по крайней мере до момента проверки), а за спиной у него наклонная плоскость люмпен-интеллектуала: московский университет, пединститут во владимире, педучилище в петушках, наконец — самое дно: тянет с работягами кабель, как александр невский тянул вместе с рыбаками (первые кадры фильма времен войны) — тянет веничка электрокабель в аэропорту шереметьево, куда разрешена посадка «каравелле» мадрид-москва, на ней-то и прилетел знакомый нам активный персонаж ненаписанного детектива, борец, ежеминутно чующий дыхание смерти в спину, свистит, подгоняя, резкий осенний ветер, бьет промеж лопаток, человека несет по бесконечному бетонному, перспективно,

в манере калло, расчерченному полю, гонит, как зеленую обертку от антирвотных воздушных пилюль, уносит за горизонт, прибывает к подножию эвереста игрушек, сваленных кучей в углу изначального коридора коммунальной квартиры — и мое зрение, как объектив кинокамеры, начинает медленно ползти вверх, от подножия к вершине: гора детских игрушек, ребенок спит, обладая потенциальной способностью проснуться и подать голос в любую секунду, на любой фазе разговора, сквозь сонную пелену проступают далекие контуры предметов, гора все явственней становится кучей, выступают углами кузова грузовых машин, торчат тонкие дула зенитных установок, мельтешит радарное решето на мачтах пластмассового крейсера, ядовито-зеленая лопасть вертолета, приклады и патронные рожки АКС, овал башни танка Т-34 и кусок гусеницы новейшего — Т-80, крест на броне подбитого тигра, сплющенный бензобак тропического леопарда, уткнутая в пол пушка самоходного орудия, вездеход, тягач с двумя ракетами, бронетранспортер, лазерное устройство в виде герметической запечатанной наглухо металлической груши на колесах, бетонированная шахта с торчащей ядерной боеголовкой индивидуального наведения, Г-образная антенна парапсихологической пушки, способной парализовать волю и самостоятельное мышление двух франций и полутора германий не считая стран бенилюкса, оранжевые химбаллоны, где под неподвижной оболочкой творится черт знает что — во все возрастающем темпе плодятся и множатся, кишат, напрягая внешние стенки новосозданные бактерии — симпатичный свердловский штамм сибирской язвы: передвижные климатические станции, предназначенные для внезапного резкого изменения температуры воздуха в районе, равном по площади пустыням гоби, калахари и сахара вместе с тем исключая, впрочем, наши кара-кумы: гарантирована пляска ртутного столба от —45 до 50 градусов каждые четверть часа, самолеты, крылатые ракеты и прочий воздухоплавательный хлам разных марок — от легендарного или муромца до суперсекретного миг-28, известного на западе под названием «бэкфайер», от летающей этажерки фурмана до гуляющих ракет системы МХ, непроходимый хвойный лес на склоне горы, сельва сельваджо крылатых ракет типа «земля-земля-22», а на вершине горы, вместо традиционного елочного шпиля или кремлевской звезды — последний, после краха цивилизации уцелевающий памятник героям решающего танкового броска через ла-манш и альпы — так на вершине ярко-фиолетовая, как собравшиеся в одну огромную каплю чернила из разбитой банки — чудом собравшиеся чернила — (и действительно, одна у нас у всех надежда — чудо!) — ярко, феерически-фиолетовая, марсианского вида, с несколькими десятками фар различной формы и цвета на квадратно-овальной груди, на покатых боках и хвостом

заду — чудовище, усеянное огнями, одетое в бугристо-жабью тусклую кожу, без видимых признаков орудийных стволов, без пулеметных рылец — безоружная? нет, все вооруженье внутри, под кожей, способная переваливаться на паучьих ходулях, прицепленных к гусеницам — вот она, вершина горы, вот она — просматривается со всех мыслимых и немыслимых точек зрения гигантская ДРАП-МАШИНА — машина, чтобы драпать (народный юмор рабочих спецмонтажного цеха) — необъятная, идеальная подвижная нора, где в случае чего готово спрятаться самое большое начальство, спасительная мать-утроба посреди огня, крови и радиации, экологический коллапс, черная дыра чистой неги в самом центре орущего и мрущего мира: сортир с душем шарко, ванна для сидения, и ванна для лежания, текинские ковры на стенах и цветная фотография бездонного, многооблачного неба над аустерлицем во весь потолок, система рефрижераторов с водой, азовскими осетрами, десятками сортов черной и красной икры, ветчины, колбас на несколько месяцев, прибор, вырабатывающий горный воздух над ялтой в начале мае, полная, загадочная тишина ритмически нарушается лишь романтическим и сладостным падением очередной кристальной капли из меньшей в большую, потом в еще большую раковину-гребешок — несколько увеличенная металлическая копия фонтана слез (оригинал утрачен вместе с бывшим эрмитажем в бывшем ленинграде), великолепная библиотека, где на почетном месте «лолита» и «дар» набокова, экспортный сборничек фета — некоторые страницы закапаны воском... «когда красавица, прорвав кристальный плащ, Вдавила в гладь песка младенческую ногу...» запас свечей кончается — распорядиться, чтобы возобновили, рядом — иерусалимское издание «москвы-петушков», читанная не однажды, потрепанная книжонка, хаотический рисунок славы калинина на обложке, обложка и обрез книги чем-то залиты — водой или вином — бумага пообрызгла... читали, видно, в ванной и не без гедонизма, о чем свидетельствуют многочисленные «?» и «!», проставленные жирным красным фломастером, неразборчивые расплывшиеся собственные мысли, почему-то следы губной помады на полях — безличная, но магическая власть противоположного пола, незачехленный японский кинопроектор и косо натянутый пластиковый экран... отчего же мы так мало пишем о любви и красоте? — вопрос вряд ли приличный рядом с «москвой-петушками»... но смешно было бы искать любовные сцены в сочинениях, подобных, скажем, «невскому проспекту»; «любовь», «красота», «добро», «вдохновение», «творчество», «истина», «справедливость», — все это легко и с удовольствием произносится, хотя нет-нет и какой-нибудь режущий голос полоснет по драгоценной словесной парче: «не говори, что Бог справедлив: если бы Он был справедлив — ты бы уже давно был мертв!»...

но, слава Богу, у венички нет мата, не впадает он в азотическое сквернословие, движется по гребню языковой пропасти, не оступаясь там, где оступается большая часть московской богемы — шествует вдоль последней кромки словоуважения, и это — одно из несомненных достоинств книги — сохранение языковой кристалльности, обретаясь в нечистой среде, выполняя двусмысленную (термин «амбивалентность» неприемлем — стал понятием внекультурным, бытовым, даже торговым, я бы сказал) — выполняя двухсоставную смысловую задачу: взглянуть на современников пьяным глазом сократа — так взглянуть, чтобы язвы и незаживающие зловонные раны нашего общественного уродливого тела превратились в зияющие светопроводные отверстия, памятные нам по Евангелию, — в светоносные дыры, откуда льется свет и свет и свет и заливают все видимое пространство и высвечивают все невидимое — вот он, триумф зрения, когда пространство обращается во время — чистое пространство в чистое время — а время тут же отменяется мановением руки, как отменяют экспресс № 1 «ленинград — москва» получив экстренное известие о необратимых событиях на границах огромного двухголового государственного тела — и вот когда зазвучит замечательная фраза из замечательного начала когда-то научно-популярного сценария, слова поэта Лени Аронсона, вынужденные заботой о хлебе насущном: «есть мир в нас и есть мир вне нас, и есть граница между ними — кожа» потрескалась и обветрилась, местами воспалилась и вздулась, а в других местах истончилась до сукровицы — кожа, этот разговор в тупичке жизни, неравномерный, многослойный: то говорят все четверо собеседников разом — никогда. Господи, не научимся говорить по очереди! — то никто, никто не может прервать неловкую пленку молчания, становится неудобным и тесно сидеть в коридоре коммунальной квартиры, и уже бросает косой взгляд кое-кто из жильцов, ворчат соседи, просыпается ребенок, и хозяин скрывается за дверь, а гости все молчат — пора, кажется, расходиться по домам . . . но нет — то, ради чего они собрались, еще не кончилось, даже и не началось-то по-настоящему, еще только-только брошена жирная курица всеобщего смысла в кипящую воду общения, и никакого общения-то еще нет, одна психологическая несообразность сидения вместе, все чувствуют ее — все пожалуй кроме пятого, новоприбывшего собеседника, нашего горьковского гостя — ему предстоит несколько дней жить здесь, уходить он и не собирается, его разморило от тягучего отвлеченного разговора, ни «москвы-петушков», ни фета не читал он — и сидя на корточках (не хватает стульев на всех) засыпает и спит с открытыми глазами, будто внимательно и любопытно слушает напряженную паузу в разговоре — так он спит и видит во сне коридорного сна, как выходит из легкой сельской утренней реки — вы-

ходит не шевелясь, но приближаясь (наезд съемочной камеры) — выходит на искристо-песчаный пляж фетовская красавица в недоуменном исполнении конашевича, он, спящий, кожей ощущает, как прорвала пленку воды ее совершенная лодыжка, как ослепляет, вырвавшись из-под воды, ее влажная ступня (замедленная съемка): капля крупным планом — сгибается набухает, светлеет, становится тяжелой, образуется тончайшая перемычка между розовой подушечкой под большим пальцем и пустым, голубоватым воздухом внизу, перемычка разрывается — и капля, отделенная от ступни, медленно, как огромное водяное яблоко, летит вниз, за ней другая, третья... капли тяжело падают на песок и тают, всасываясь — остаются только круглые темные пятна, цепочка совершенных следов на песке ведет к кустам (камера снова отъехала, средний план) совершенные следы девичьих ног, пропорции почти античные — второй палец длиннее остальных, плавная волнистая дуга повторяет очертания песчаной косы, миниатюрные миндалевидные лунки столь же невероятны, как играющий в гольф персонаж «тысячи и одной ночи»... «когда красавица, прорвав кристальный плащ, вдавила в гладь песка младенческую ногу» — тогда можно, присев, как клетчатый детектив викторианских времен, на корточках и доставая откуда-то внушительных размеров лупу в медной военно-морской оправе, бесконечно, забыв о времени и пространстве, рассматривать эти слепки небесной красоты, эти мимолетные оттиски, оставленные навечно афродитой-ранией — и все прочее несущественно, тленно, гибло, перед нами и не следы вовсе, а серия, дышащая цепь живых картин в рамках неправильной формы — в рамках, отдаленно напоминающих влажные следы купальщицы на кварцевой россыпи — можно проследить развитие сквозного сюжета: мирный, не прерываемый истериками и битым стеклом, поток времени: гармоническое, почти античных пропорций детство в панталончиках, в хрустальных вазах наполненных райскими яблоками, в ослепительных тарелках с ослепительно-красной парой вишен посреди немецкого рисунка, изображающего виноградную беседку, в плюшевых портьерах, в зачехленной тяжелой мебели, возле отцовского письменного стола, под барометром, оправленным в военно-морскую медь — прокуренный ноготь постукивает по стеклу, дрожит стрелка, в южные окна вливают тучи, входит, снимая жесткий фартук, садовник, перед летним дождем вдруг просыпается во всем доме таинственный запах кресельной кожи, керосин заливают в настольную фарфоровую лампу, поправляют фитиль, извлекается китайская рабочая коробочка, ноготь снова стучит по стеклу барометра — стрелка вздрагивает, первая капля падает в жестяную бочку у крыльца, гул катится по анфиладе второго этажа, мокрая ветка сирени, хлестнув по стеклу, растворяет окно — ах! забыли как

следует затворить! раскрыта китайская из гамбурга, жестяная коробочка, льется крученая ниагара разноцветных ниток-мулине — разноцветные подушечки с иголками разной длины и формы, набор серебряных наперстков, трогательная вселенная шитья нежнейшие лоскутки материи, растрепанные по краям — как тут не стать матерьялисткой! взлетает длинный как чулок, флаг по свежеструганной мачте, только что врытой в самый центр клумбы перед фасадом: брат приехал из петербурга на каникулы, вечером будет фейерверк, огненные колеса, дуги, версальские вензеля — ожившие — светло-цветовое мулине, а наутро — нарциссы в длинном высоком и узком богемском стакане, на рассвете срезанные братом, рядом со стаканом — след полумесяца, полувывсохший след — видно, стакан переставляли, чтобы отворить окно, и в отворенное окно всунулась ветка сирени, городской запах от одежды и книг брата в полдень, в ожидании обеда, заглядывание, замирая, ему через плечо, когда он читал «Женщину и социализм», — ну как тут не стать матерьялисткой! — полулежа в запущенной кишасей безобидными насекомыми траве, звон комаров вечерами: кажется, было в нашей истории такое время, когда и комариные укусы не нудили чесаться, не вспухали волдыри и полосы расчесов на лодыжках и запястьях, не будили по утрам мухи, обседая и щекоча вылезшую из-под простыни ногу, не катали бревнообразных предметов на верхнем этаже, круглый день пели зоологические птицы, радио молчало, не ржала неумело запрягаемая лошадь, не трещала сенокосилка, не зывала электропила на недалекой лесопильне, парное молоко по утрам вставало в бутафорской кринке рядом с нарциссами, белели чашка с блюдцем, при пробуждении блаженно вplывая в область утреннего сознания — какое же это несказанное наслаждение — переход дрожащей границы сна с явью будто переходишь границу государственную, и расширяется мир, высвечиваясь все шире, все ярче, включили невидимый реостат, как в начале киносеанса, только здесь наоборот: не от света в темноту, а из темноты на свет, из бытия в бытие, впереди — жизнь в чужой семье, институт истории искусств, лекции матюшина о цвете и свете, ироничный эйхенбаум, достоевед долинин на колбасе трамвая, сворачивающего с гислеровского к малому проспекту, молью изъеденная муфта при походе в театр комедии, акимовский «гамлет» знаменитая сцена: уличенный во время «мышеловки» клавдий бежит вниз по специальной винтовой конструкции и порфирный алый плащ вьется вслед за ним, как кровавый след, как водопад крови — соображал ли Акимов, что делает, и насколько рискованным становилось шутить таким образом с царями, лисий человек театра, вечно удивленные брови, маленькие сонные глаза, спит сидя на корточках горьковский возвращенец, возвращается хозяин от затихшего

ребенка, был полустанок в разговоре, теперь медленно трогается поезд, ползет назад клумба с гипсовой вазой посередине, несколько колхозниц, одетых как бы специально в самую грязную и бедную одежду, с кукурузой, с какой-то мелкой ягодой в бумажных кульках, с зелеными крепкими грушами, разговор едет на юг, две минуты стоянка в мелитополе уже дыни, южное вокзальное утро, человек из купейного вагона в синих тренировочных штанах и домашних тапочках прогуливается по платформе, кучки проводников, фетовская красавица в ситцевом халатике ставит ногу на высокую ступеньку вагона, стараясь не распахнуться сверх меры, поезд трогается — стой, это же крым! туда нам еще рано!.. прежде будет кавказ — место действия новейшего романа, который сделался очередным предметом коридорного разговора, настоящий роман, такие давненько не писывались, — так сказать, широкое социально-историческое полотно, тонкая психологическая проза, начинается с совершенной растерянности героев, непрерывное чередование взвинченных внутренних монологов, не поток сознания — но неисчислимое множество слоёв досознательной реки нижние движутся медленнее верхние несутся с сумасшедшей скоростью, будучи стиснуты каменистыми высокими берегами, иногда сверху мелькнет нитка всячего моста, где двоим не разойтись, и тогда на воде заплещет комариный пунктир тени, вода мутная, ледяная, в пене и бурунах, проскачат справа грязные корпуса курортного комплекса «спутник», закружится слева горнолыжная база, болезненно красный анилиновый свитер, сверкнувший на солнце полый металлический колышек, воткнутый в снег, автобус, некоторое время бегущий параллельно реке, отстает и сворачивает по невидимой дороге, обстановка действия располагает к моментальным и ярко-фотографическим впечатлениям, сюжет набирает скорость, герой вылетает из ленинграда и тотчас оказывается на летном поле в адлере (можно вспомнить прищвина: пешеход создает пространство — самолет пожирает), на площади перед аэровокзалом встреча с героиней, высоченые, квадратом посаженные платаны, кубами подстриженные кусты барбариса, обилие цветов и красного перца, медленный кинематографический ветер в верхушках вокзальных тополей, тепло но не жарко, ничего не означающий разговор о погоде с тонким лирическим подтекстом, чеховские нюансы в жестах героини: привычка машинально и бегло проводить кончиком указательного пальца по безупречно-античной линии носа, и привычка странным, завлекающим манером сужать глаза, щуриться, как на яркое солнце, даже если темно, несколько инфантильный разговор: растягивается середина слова и съедается, словно стыдясь произнесенного, конец, общие историко-географические сведения о черноморских курортах союза, история смерти Иоанна Златоуста на

пицунде (никогда бы не подумала! неужели так близко?.. совсем рядом), автобус на гагру, некоторое время бегущий вдоль горной речонки исоу (вино такое есть), собака, только что спящая посреди дороги, с лаем шарахается в сторону, разговор о прекрасном в природе и прекрасном в искусстве — их соотношение, дача сталина под обрывом и монолог героя о вождях, разговор приобретает социальную окраску, героиня смотрит в окно сквозь желтую пыльную занавеску, натянув краешек на южную половину лица, спокойная половина улыбки на фоне морского пейзажа, внезапно хлынувшего справа, рассказ героя о поваре маршала конева, поваре, — который варил спецколбасу для начальства, страдающего язвой и отказывающегося перед почетным штурмом лечь в госпиталь, спецколбасу, где не содержалось ничего вредного, теперь этот повар завстоловой в гантиади, героиня вспоминает, что ее родной дядя служил в дачной охране сталина именно, именно здесь, кажется, именно здесь, и они с мамой осенью в посылках из свежей, пахнущей смолой и морозом фанеры, получали яблоки, каждое завернутое в красную шуршащую кальку, чуть давленные груши, переложенные ватой, персики и хурму, в разговор вмешивается классический южный дед — сивоусый, сухонький, с хохолком на затылке — дед с переднего сиденья, оказывается, он грузчик в той самой столовой, какая помянута героем; дед принимается тихо ругать абхазцев, так любили своего лакобу, пока того не расстреляли, когда же расстреляли, то: «какой лакоба! никакого лакоба не знаю!», злились, хватались за то место, где должен был висеть кинжал, они абхазцы вообще народ трусливый: когда он отступал с деникиным, сидели смирно в горах, и только по ночам над биваком — «ж-ж-ж» — летали самодельные, тяжелые, как шмели, пули, летали бестолку, но громко и страшно жужжа, гудя, взывая, спать уж точно мешали, а в добровольческой он был офицером, потом крым, галлиополи, вернулся в середине 20-х («григорий мелехов», — шепчет героине герой), и сразу сел, теперь все равно, плевать на любую власть, тем более теперешнюю, власти-то все одно никакой нет, править некому, взятки все берут, а толку не видно, в гантиади вот кинотеатрик строили, так у половины поселка сараи и заборы кафелем крыты с декоративным узором, понятно, лет двадцать ведь строили, кинотеатрик-то так себе, мест на сто с небольшим, зато никто и не ходит: вентиляции нет, забыли, сволочи, но снаружи посмотришь — красиво, европа тебе, больше чем райком и поселковый совет, а ему плевать, он и телевизор-то покупать не собирается — скоро помирать пора, а как же иначе, да и завстоловой нашей подлец и первый вор, при сталине хоть какой-то порядок был, воровали, воровали понемногу да незаметно: страх есть — совести не надо, это теперь обнаглели и тащат все, вот . . . помидоры везу, купил, думаете? кра-аденые, мы что делаем: покупаем

гниль на базаре, полтинник, к примеру, ведро, а свежие разгрузят — делим . . . и спохватился: «цс», курортник все съест, деду трудно остановиться, полавтобуса начинает прислушиваться с интересом, дед пьян, раньше это не так было заметно, развезло на жаре, в сетке его на коленях действительно помидоры, но все мятые, полувытекшие за время путешествия, штаны в полоску перепачканы пятнами томата, светлыми точками на бордовом фоне выделяются зернышки в сетке еще газета, тоже в пятнах и две бутылки портвейна «апсы абукет», дурацкий язык — ругается дед, у него кавказский акцент, фразы посередине стянуты, как джигиты, наборным придыхательным пояском, что за язык такой дурацкий! рынок у них а базар, улица не улица, а и улица, сам я родом из нижнего, отец-казак осел, женился на мещанке, тогда там никакими горькими и не пахло, нижний был, из нижнего родом я — и отворачивается — и здесь — то романист применяет художественный прием ретроспективной интроспекции: мы видим кордон из двух офицеров-дроздовцев, стоят рядом с двухвесельной лодкой, полувытащенной на песок, проверка документов, на рейде французский пароходик, сонный казак, подвернув лампасные шаровары, лениво входит в воду и, держась за борт лодки левой рукой, медленно заводит правую за голову, принимается чесать затылок, долгое сосредоточенное чесание затылка стоя лицом к востоку и потному морю, между тем, как один из офицеров набрасывается на пытающегося перешагнуть борт лодки человека (бесцветные бегающие глаза, усики, потные ладони) — «как вам не стыдно! вы же присягу давали . . . изменник!», человек делает вид, что не слышит и лезет в лодку, казак чешет затылок, потом неторопливо вытаскивает из воды ледяную ногу и наклоняется, накрывая лодку, чтобы рассмотреть что-то укусившее его, офицер хватает человечка за плечо и пытается оторвать от борта, другой офицер вдруг остервеняется, подсказывает и чересчур эффектно размахнувшись, закатывает человечку пощечину, «господин лейтенант! господин лейтенант!» кричит человек, казак брезгливо опускает ногу в воду и отбрасывает лопнувшую пьювку, с кормовой скамьи лодки нехотя поднимается французский лейтенант — «господин лейтенант! я имею разрешение от генерала штиллинга» — «qui» — кивает француз и брезгливо протягивает человечку перчатку, зажатую в руке — жест символической помощи, человек делает движение схватить целиком протянутую руку, резкий рывок, треск, накладное плечо и четверть рукава остаются дроздовцу, человек падает на дно лодки, слышно, как голова его стукнула по доскам, казак тотчас тяжело отводит лодку от берега, влезает в нее, крикнув и переваливаясь через борт садится на весла, парход гудит, офицер-дроздовец еще некоторое время держит в руке ватное плечо и кусок рукава как бы рассматривая, его товарищ

поворачивается спиной к морю, не оглядываясь уходит, скрипит песок мраморного моря под сапогами, на краю широкого пляжа виден длинный зеленый барак, поодаль — высокая мачта без флага, хрустят под сапогами песок и обломки раковин, второй дроздовец бросает на вылизанную кромку плечо и обрывок рукава, сразу же туда подбегает волна, хватает, начинает трепать, тащить, пароход гудит, слышны звуки полкового рожка, на корабле ударяет рында, лодка сливается с серым бортом корабля, пляж пуст окончательно, только у воды остаются забытые казаком сапоги, две корабельные трубы стоят носками врозь, отбрасывая две совершенно разные тени, та, которая короче — лиловее, та, что длиннее — более синяя, поднимают якорь и звенит якорная цепь, и не знаешь, кому сочувствовать, совсем непонятно, дед засыпает выпустив сетку из рук, вываливается бутылка и катится гремя по проходу, никто не пытается поймать ее и она катится обратно к кабине водителя, уже не тепло, а жарко по-настоящему, душно, невыносимо душно, верхние стекла в автобусе не сдвигаются, кондиционер не работает, герой впервые чувствует, что устал от дороги, героиня слишком уж заинтересованно принимается рассказывать что-то из истории нового афона, куда они едут: монастырь, царь, оружие, пещеры, они будут жить у небольшого водопада, курортное продолжение длиннейшего северного романа, как бы печорин и вера, только нет знаменитой ночной скачки по кремнистой дороге, нет мужа, от которого нужно скрываться, нет чеченцев и абхазцев с самодельными пулями в кремневых ружьях, нет ничего — даже тишины нет на афоне — из монастыря каждый вечер до полуночи орет на все округу танцевальный репродуктор, лебеди под вечер вылезают из прудов и стоят неподвижно, убрав голову под крыло, чтоб ничего не слышать, у самого моря идет грязное строительство, висят тучи цемента и валяются бетонные балки, герой пишет пространные письма друзьям с пересказом читаемых книг, с яркими описаниями южной природы, на базар приезжают горные эстонцы, белокурые люди в допотопных черкесках и бешметах, с кинжалами, старуха, продающая билеты в кинотеатре «апсны» выходит из помещения кассы, садится на бетонную скамейку и внимательно изучает этнический и социальный состав очереди перед окошечком, а потом обращаясь к герою, говорит, что абхазцы и баски это один народ, разбросанный по углам средиземноморья, вот ее фамилия кодуа встречается в басконии, были еще этруски, но исчезли бесследно, говорят, переселились на кавказ: вытесненные латинянами, в тбилиси вышла книжка об этом, лет двадцать ее не печатали, держали в денежном сейфе издательства сакартвело под замком, она знает точно, у нее сын профессор, и его друг эту книжку написал, тогда хрущев посадил друга якобы за взятки на экзаменах, при сталине он сидел за национализм

еще студентом, а ее сына выгнали из университета, но теперь-то, при шеварднадзе, книжка вышла, лежит у нее дома, может показать, читаете ли вы по-грузински? нет? а на вид вполне интеллигентный, героиня сидит рядом на ступеньках, читает только что изданного сашу соколова, из-за поворота показывается автобус с туристами, некоторое время едет вдоль горной речонки псцирсах, где летом нет воды, одни белые камни, шофер не справляется с управлением, автобус боком задевает огромное дерево грецкого ореха, еще долго на шоссе будут валяться раздавленные зеленые шары, сплюснутые ветки, осколки обзорного зеркала, отражающие безоблачное тропическое небо с редко набегающим желто-зеленым цементным облачком — если ветер дует от моря, отражается перевернутое лицо героини — не все лицо, не полностью, но узнать можно, героиня одна — герой уехал раньше в ленинград, неотложные дела, начнется война с ираном, потом с турцией, закавказье объявлено прифронтовой зоной, никого оттуда не выпускают, героиня на несколько лет отрезана от героя, оседает в тбилиси, выходит замуж за мужественного деятеля национального движения, того самого профессора истории, о котором мы уже знаем из рассказа старухи, продававшей билеты, выучит грузинский, займется переводами джойса, кафки, набоква и беккета (впоследствии ее грузинский «моллой» станет классическим памятником новогрузинского языка), потом ее вместе с мужем вышлют в норильск, где она, вылитая грузинка, встречает героя, сосланного туда раньше, среди полярной ночи произойдет эта встреча под декоративным органомподобным северным сиянием, на остановке автобуса, что-то слишком медленно возникает человекоподобное лицо машины из снеговой мути, полон народу — не сесть, скученная тишина давит на уши, молчаливая встреча героя и героини, ее муж целыми днями лежит в постели, встает лишь поесть и по нужде, зубы шатаются, вчера достала гранат и полкило грецких орехов у азербайджанцев на рынке, выдающих себя за грузин в кепках, писать ничего не может, да и негде, нет стола — в их комнате только кровать, шкаф старый, приемник старый и всякий старый хлам . . . что делают? слушают ночи напролет радио: 21-30 «немецкая волна» из кельна, 23 и час ночи — ВВС, два часа ночи и три — «голос америки», передача для полуночников, с трех до полчетвертого «радио швеции», под утро заканчивают «свободой» — слышно плохо, качество передач низкое — повсюду читают одно и то же — прогремевший роман «побежденные», изданный героем на западе — роман о русском и грузинском освободительном движении, о мировой солидарности интеллектуалов и христиан, роман с бурным полудетективным сюжетом, с погонями и обысками, арестами и побегами из лагеря, роман с философской подоплекой: маленькие люди

перед лицом торжествующей машины зла, обескровленные суховатые борцы за свободу с грузом несвободы внутренней, религиозные активисты, мучимые сводом социальной несправедливости, нарождающееся нацистское движение в россии, разрывы между людьми, прежде близкими: одни остаются евреями, другие осознают себя частью общеславянского дела, национальное возрождение на окраинах, армянские террористы, грузинская истинно-марксистская партия, художники спешно уезжающие в пари́ж целыми кланами, новая генерация художников, ученики учеников, чающие остаться и стать чем-то здесь, тотальная проблема выбора, гибель и разложение гигантского организма подпольной культуры, гибель и размножение гигантского организма культуры официальной, гибель и разложение героя романа: уцелевает только побочная сюжетная линия — любовь героя и героини, сентиментальные встречи рук, когда едут в автобусе, жаркая желтая занавеска на лице героини, язык взглядов и цветов, язык морской гальки, подкинутой в воздух, язык изумрудных и лиловых брызг, изогнутое тело героини на песке — тело, мягко повторяющее контуры знаменитого гагрского треглифа, плавное тело над водою и плавное тело в воде, обнаженные герой и героиня плывут рядом ночью под неподвижными звездами, вечный конверт с письмом Ориога, недвижимая небесная почта, световой телеграф Сириуса, дрожащий ключик Плеяд, неподвижные звезды, планеты и световая точка спутника-шпиона, потерянный из виду берег — куда же плыть, милая, ни одного огня, темный шум со стороны близкой турции, стало быть обратно, ни одного огня, тусклые подъезды с полудетским бездомным стояньем вдвоем у еле теплой батареи, у северного сквозящего окна в черный двор-колодец, внезапные, томящие встречи в библиотеке, характерный жест героини: легкое касание кончика носа кончиком указательного пальца — и еще раз дотронуться до ее запястья как бы случайно, электрически коснуться узкого серебряного браслета, передавая книгу воспоминаний дочери лоренса стерна о папеньке, воспоминаний, написанных в стиле папеньки, каждое второе слово — французское, длинные, с обязательной музыкально-риторической каденцией в конце предложения, длинный, весь в папеньку, нос на сеточкой гравированном портрете с форзаца — все это каждую ночь слушают героиня и ее муж, и муж устало, скорее по привычке, принимается ревновать, обрушивается с койки целый кавказ обид, вспоминает мать-билетершу, своего учителя, убитого берией лично, в кабинете рюмина на лубянке, своего деда-князя, не пожелавшего (истины ради) после революции возвращаться из берлина, где он учился у гуссерля феноменологической редукции и попал в концлагерь при нацистах за отказ отказать от учителя, ворчит и ворочается муж героини — она же не слышит, лоя ускользящий

неприятный голос диктора: читает медленно, с правильной расстановкой знаков препинания (слава Богу, без выражения) — читают роман о ее жизни, так странно, она совсем не похожа на себя, как можно быть таким слепым, таким . . . нечутким, стучит в дверь соседка, нет ли подсолнечного масла: утром купила рыбу в центре, жарить не на чем, часа полтора стояла, палтус, сами знаете, какой мороз — почему она постучала только теперь? ведь полчаса уже стоит под дверью слушает, может быть, у них нет приемника? да нет — муж прораб на прииске, цветной телевизор, мотоцикл, транзистор, японский, конечно, не включают они никогда ничего, кроме телевизора, так орет, особенно на фигурном катании, стенки-то прессованная бумага, почему же все-таки она стояла под дверью? непонятно разве? муж смолкает и сопит, соседка уходит, оглядываясь на прощание, волна съехала, верньер настройки ломается и свободно снимается со стержня, сюжет теряет почву под ногами и последним вспоминается молчаливая встреча с героем в автобусе, в тускло освещенном автобусе среди метели и тьмы, короче говоря, взаправдашний роман с романом внутри, опять же без влияния упомянутого уже «дара», роман с неперемненными элементами социальной антиутопии, с необычными заведомо политическими прогнозами, автор не поскупился на цвет и горные пейзажи, вся основная деятельность героев как бы за кадром, можно догадаться, что герой — лицо автобиографическое, не только писатель, но и активный деятель оппозиции, героиня со всей семейной жизнью вышла схематично, много диалогов с многозначительной философской претензией — из пяти коридорных собеседников роман читали трое, хотя еще не опубликован: автор явно человек тщеславный, для перепечаток денег не жалел, и роман получил хождение еще в рукописи, вот-вот выйдет не то в «ардесе», не то «имке», слухи противоречивые, автор не препятствует их распространению, но держится крайне необщительно, мало кого принимает, говорят не пьет и не курит, на чем же, интересно, он торчит? — тут нет ничего удивительного, оживляется горьковский возвращенец, проснувшийся на «пьет и не курит . . .», ничего странного нет, пыльник тоже не пил и не курил — торчал на молоке (см. сб. «как мы пишем?» прибой. Л., 1928), странная форма кайфа но ведь и на кумысе торчали целые орды казахов — чего же здесь удивительного? конечно, роман никому по-настоящему не нравится, но, говоря объективно, вещь значительная, а формально просто-таки небывалая в русскоязычной литературе: состоит из одной фразы, первая достойная внимания попытка применить европейскую технику сплошного письма, а роман мартынова как же? сорок страниц сплошного текста, простите, там чистый эксперимент, а здесь, хоть и запоздалые, но плоды сорроготириевского огорода, я ведь году в 63 видел натали соррот, сам видел:

по слухам очаровательная наташенька сорокина, приезжает в комарово пятидесятилетняя француженка, по-русски ни бум-бум, был международный симпозиум по роману, эти все говорят, что роман умер и его воскрешать надо, а наши им в одну дудку — ничего подобного, эти говорят: роман умер, а те — живет, да еще как! социальная сила! диалог востока и запада, весьма продуктивный диалог, кстати, забыли про апдайка, маркеса и прочих американцев — вот чье влияние ощутимо, хотя плоды все-таки запоздалые, похоже, роман действительно умер, можно, конечно, и здесь и там сочинять кирпич за кирпичом — издавать будут и переиздавать, читать будут и покупать будут, но перечитывать — вряд ли, такое интеллектуально-ярмарочное чтение, по сути ни ярмарки настоящей, ни интеллекта, уж лучше прямой детектив или сейнс фикшн, прав был горье, когда предпочитал скрибу цирковой балаган, подлинная элитарность всегда враждебна средней культуре — смыкается с ее якобы низами, а вокруг обескровленная средняя идейно-культурная литература без грубой и свободной игры, где же энергетическое светящееся поле между двумя полюсами — реальности и вымыслом? где же электролитический раствор чисто эстетического наслаждения, ионизированный воздух бумажного чуда, падающие жалюзи, всадники в золотых кирасах и жаднодышащая смуглая грудь под корсажем, с таким сладостным трудом высвобождается из прорези нижняя пуговица платья, холмы, откуда открывается впечатляющая панорама сражения и ход сражения, восстановленный из подлинных документов эпохи (у кого, любопытно, сейчас есть возможность держать подлинные документы), выхваченные наугад эпизоды решающей битвы века — над сотней квадратных километров парит орлиное зреньё писателя, верша судьбы тысяч сотен тысяч людей, управляя не только их действиями, но и помыслами — куда подевался мощный марионеточный народ литературы? кто изъял из бытования эти яркие и значительные фигуры — народных мудрецов, ведающих язык зверя лесного, пичужки болотной и рыбы озерной? в дачном сортире сложены аккуратной стопкой страницы, полные гусар и улан, толчея и хаос в начале главы обретает стройность к концу отрывка, выделяются два беседующих лица и каждое — словно анфилада комнат в помещицьем, только что выстроенным, окна по обе стороны зал, крестьяне строгую мебель строгали по рисункам поэта-помещика, поэт прекрасного и умного, прослужил всю молодость не то солдатом, не то юнкером и на сумеречном высоком лбу отпечатляются тени листьев, природное кружево молоденького липового парка — куда же делось все это? и коридорный разговор снова повисает в воздухе, в неловком и постном молчании, всем одинаково неприятно нерусское слово «ностальгия», затем и сидят здесь, а не в русском баре латинского квартала — затем

и сидят, что боятся самого слова, только слова — и ничего больше, слова-пугала, выставленного презрительно какой-нибудь сомнительно-дипломатической шавкой из союза, из тех, кто не кажет носа дальше порнотеатра в аэропорту орли, стараясь заглотнуть побольше воздуха телесной свободы — порнотеатра, здание которого есть архитектурный первообраз кинотеатрика в гантиади, там проект уменьшенный раз в пять, и матерьял поплоче, не тот матерьял для литературы теперь, нет уже того матерьяла, как говаривал еще лао-цзы, узнав о смерти конфуция, остается ждать, что вот-вот появится множество сочинений в историческом роде, нависает над словесностью тень всемирного жидомасонского заговора, трудолюбивый пикуль поднимается в цене на черном рынке: сомнительной подлинности документы, взрывы неяркой фантазии, топорно стилизованный синтаксис — открытие петербургского периода русской истории похоже на спуск петровского фрегата, слаженного из гнилых досок и отягченного дюжиной плохо отлитых орудий, но зато выписанный оркестр полячишек и декоратор-итальянец наводят церемониальный лоск, гирляндами дубовых роз увита корма, неслыханным карминным виноградом из левкаса, фигура под бушпритом позолочена и тарашит огромные неаполитанские глазищи на рассекаемую реку, впереди студеное море, жаркие объятия шведского брандера, и вот загадка для экономиста-историка — откуда Петр брал деньги при постоянном торговом дефиците платежного баланса, при катастрофической нехватке всего, за исключением человеческого матерьяла — неподатливого, ломкого, плохо переносящего килевую качку, висенье под потолком со связанными за спиной руками и табак? кто снабжал его золотом и зачем? грузины говорят, что Петр не был сыном Алексея Михайловича кротчайшего, а в ту пору, как царица Настасья понесла, жил на москве грузинский царевич, статный, страстный, с огромными черными глазищами, и стареющий Петр после этих рассказов никого так не напоминает, как стареющего грузина, старость возвращает нас к родовым корням, к роковой предопределенности генетического вектора, уходит все личное, историческое, собственное, остается чужое и глубокое, так сквозь лица немецких стариков, словно сквозь позднейшую живопись, если смывать слой краски за слоем, проглянут тюркские черты, достаточно вспомнить предсмертную фотографию аденауэра: монголоидный разрез глаз, расширившиеся скулы, подбородок, способный переносить лишь реденькую казахскую бородку джамбула, которого, рассказывают, вообще в природе не существовало, а были два еврея, сосланные в среднюю азию, нашли бормочущего старика, по-русски ни бум-бум, нашли и начали переводить как бы народным стихом с местным колоритом подвалы из центральных и республиканских газет, говорят еще, что одним из двух евреев был

арсений тарковский, замечательный русский поэт, разве из этого следует, что после его смерти город джамбул переименуют в тарковск? и во всяких разговорах, даже в самых бессмысленных и пустых, есть частичка абсолютной истины, что еще обеспечивает нам элементарную возможность понимать друг друга? не следует ли отсюда, что когда джамбул переименуют в тарковск, угроза нависнет над последними писательскими городами — горьким, пушкиным (над обоими пушкиными — что под москвой и что под ленинградом, плюс еще пушкинские горы, б. святые — а ведь действительно пушкин свят!) — это в россии только, а селение маяковски в грузии? а ивано-франковск на украине, куда на моих глазах дошло письмо, адресованное в сан-франциско, улица ленина 32 с обратными адресом тбилиси, ул. я. николадзе 18 кв. 3 кодуа э. ш., а корсунь-шевченко? а бездна полустанков, соцгородков, райцентров, несущая имена представителей нацлитератур — те, кто называли, знали, что делают: в реальности исторического существования, по меньшей мере, пушкина и горького уже у нынешнего молодого поколения есть серьезные сомнения, а будущий историк просто-таки окажется в недоумении: если пушкин — несомненно солярное божество, то горький, видимо, выполнял роль культурного героя, ритуального похитителя божественного огня и покровителя землепашества, второе менее очевидно, однако существует целый ряд этнолингвистических данных, указывающих на бытование ежегодного ритуала в месте слияния вод волги и оки, ритуала, который заключался в массовом соитии местных жителей с Матерью-Землей и долженствовал способствовать усилению плодородия почвы; косвенным аргументом является и грамматическая форма эпонима селение «горький»: это субстантивированное прилагательное мужского рода не имеет характерных для патергенетического имени собственного суффиксов -ов, -ни, или -ых, что дает возможность реконструировать первоначальный миф, по всей вероятности представляющий из себя вербальную параллель описанному выше ритуалу — широко распространенный в разных частях света миф о безотцовском чудесном зачатии, что же касается маяковского, шевченка и франка, то это, скорее всего, были мелкие демоны, сопутствовавшие солярному божеству в его триумфальном движении по небесному своду, менее вероятно, что речь идет о планетарных божествах, поскольку уровень астрономических представлений в разбираемую эпоху за редчайшим исключением был крайне низок — таков, несомненно, будет естественный итог русской литературной географии, а пока желающим оставляется богатая возможность искать за спиной пушкина, горького и других — искать и доискиваться, до двух-трех, до сотен и тысяч оборотистых евреев, которые вместе с армянами и грузинами соткали паутино-полумасонскую сеть

русскоязычной светской словесности, медвежью нору русской истории, начиная со времени петра, да какого петра! подымай выше! ведь свидетельствует же летописец о том, что зверь царь иван васильевич начал именно с той минуты, как сочетался вторым браком с черкешенкой марией — читай грузинкой . . . а после елизаветы горсей с неперменным иностранным недоброжелательством приводит странную на его вкус фразу царя: «все мои русские — воры» — следует недоуменное молчание, однако, будучи по государственной нужде собеседником пронизательным (чтобы не сказать: мнительным), царь предложил невысказанный но естественный вопрос: «а сам-то ты кто?» — и продолжал, давая иностранцу опережающее (упреждающее) компетентное разъяснение: «Сам я немецкого рода. Меня титулуют Белый Царь Это потому, что род наш восходит к венгерцу Бэлу». — и так, кровь отцов, кровь и почва, благоденствие боден, теперь-то вы понимаете, откуда у предсмертного конрада аденауэра тюркские черты? венгерцы смешались с гуннами и около 1000 года разлились по южной германии — все не так, оказывается, просто: родовая предопределенность становится предопределенностью исторической — и, как меж двух скал-роков, меж двумя этими неизбежностями жалкий ничтожный человечешко, раб, червяк, захлебываясь, с жаром кипятится вокруг достоинств, к примеру, прозы пушкина, в высшей степени актуальное времяпрепровождение, крайне огорчительно, что историческая повесть в наши дни так с-пикулирована, да-да, не спорьте, отвратительная писанина, не читал, но знаю, чувствую, насколько плохо, стану, как же, читать всякие там черносотенные измышления — тут-то выясняется, что никто из спорящих пикуля не читал, о чем тогда спорим? неужели так-таки и никто? — а зачем, спрашивается, задымленный коридор, осевшие и хриплые голоса — трудно, трудно дается обнаружение истины: как-то проглядывал уличительную статейку в русской, кажется мысли о романе «на задворках империи», кто-то видел самую эту книгу, но в руки не взял — непостижимо, обложку вот хорошо помню: на желтом фоне коричневый падающий орел двуглавый, символ царизма, а третьего дня попалась на глаза в мороженице, рядом со сломанным кофейным аппаратом «моонзунд», если правильно прочел название — серое, коммерческого формата и объема читиво, ну, конечно, эта пикуль выпускает книгу за книгой, как машина работает, а про «моонзунд» я даже не слышал — знаю, что есть «пером и шпагой» и еще полдюжины такого же, на черный рынок не хожу, с мясниками-бакалейщиками не знаком, это их автор — эквивалент копченой колбасы, да и вообще в наши дни бессмысленно пытаться собрать библиотеку — все равно что коллекционировать фирменные автомобили, тут на еду денег не хватает, а вы говорите: «библиотека» — книга теперь как бы

и не книга, но предмет, вещь, товар, мясо . . . духовное — и вы считаете, что ваша позиция чем-то отличается от снобизма нуворишей? вы ведь сейчас тоже ставите себя вне общей сети, дескать, я-то начитал нужный минимум, пусть в читальных залах, но прочел, а дальше хоть трава не расти, мы-де с вами культурные люди, а они, быдло, пикуля читают, на книгу как на вещь смотрят — не рецидив ли это подпольного сознания? они воры в магазине, — вторая экономика, а мы, честные интеллектуалы, мы вторая культура, внешне вроде бы ничего общего, а по сути дела — и то и то — подполье, один общий подвал и крысиный писк, только мы — крысы библиотечные, они же — амбарные, откормленные, нам есть хоцца, им же — подавай духовную пищу, вот и вся разница, пора понять, что библиотека не нам и не им нужна — кому же? только для того, по-моему, стоит домашнюю библиотеку собирать, чтобы потом, много после, спустя три-четыре поколения, кто-то трех-четырёхлетним ребенком засыпал среди книг, разбросав по наборному паркету циклопические тома первого издания знаменитой «энциклопедии», а за неимением оной — птички суперобложки двухсоттомника бэвээл, но легче представить, как четырёхлетний муравей ценой титанического напряжения, по одному, стаскивает с полки кожано-бумажные плиты, каждая высотой в два его роста, ин фолио, он ещё не понимает значения этих одинаковых магических штук, что-то в них есть слишком парадное, гвардейское, а главное, когда три-четыре таких уже скинуты с полки на пол, — образуется черное прямоугольное жилище, теплая, пахнущая кожей нора, куда можно влезть, пометиться, где свернешься калачиком — и словно бы ты сумчатый кенгуренок письменности в кожисто-молочной питательной сумке — опять нора? да, нора, гнездо, если угодно, утроба, материнское чрево, ты защищен, упакован, ты сплошное тактильное наслаждение, да и сейчас, когда я вижу полки, забитые книгами, весь мой организм, вся его хитрая физиология отзывается как лесное эхо — спазмы в горле, тошнота, подозрительная возня внизу живота, как у беременной женщины — не так ли, только острее, чувствует себя трех-четырёхлетний наследник отцовской недвижимости, когда вечером под далекий прибой голосов, доносящихся из гостиной, проникает в специальную комнату, полную книг, прикасается к позолоченным корешкам, всею душой осязает теплую нежную кожу — тогда и душа его словно отлетает . . . отлетает душа, страдальчески-световая спираль бьет из распятого на операционном столе тела (встреча зонтика со швейной машинкой), буравит известку, ввинчивается в перекрытия, пронзает кровлю, уходит в небо — знакомая винтообразная конструкция («гамлет» акимова): вниз летел театральная плащ вины и крови, но уносится вверх, роняя последние кровинки, искупленная душа, отлетает — как лопнувшая скорлупа,

валяется внизу бело-медицинское стерильное скопление, меловой архипелаг синих и белых халатов, крапинки хирургических шапочек (сыпи на коже от стрикучей крапивы) — рванул сюжет вверх, высвобождается из-под телесной тяжести, небо дрожит, будучи соединено с землей бесчисленным множеством пружинных рессор, раскачивается небо, и звенит под периною панцирная сетка кровати — власть земли и чрева, удобная власть утробы, смертная материнская тяга слабнет, объятая размыкаются, она отпускает и вот: 1 марта 1800 года, ранней весной нарождающегося века рождается малоизвестный русский поэт евгений абрамович баратынский — не слишком ли спиритуальное начало для исторического романа, для беллетризованной биографии в серии «жизнь замечательных людей» (издательство «молодая гвардия»)? должно было выйти легкое возвышающее чтиво, по зубам, подростку, избирающему жизненный путь, вот именно — по зубам! ишь ты, путь жизненный, хрен вам — трассирующий взлет поэта к вдохновенной итальянской смерти, будто вдох полной грудью — грудь полна неаполитанского воздуха, и пусть пунктирная трасса свяжет первое детское впечатление — тамбовскую италию папенькиного кабинета — с мокрыми досками кричащего, поющего, смеющегося, цепляющегося за панталоны, рукава и фалды, повязанного красным шейным платком, белозубого и курчавого причала в неаполе, зрительное изобилие и воздух счастья, ночной чай, в остии в эмигрантской гостинице, трудный нескончаемый разговор о будущем россии, когда напряженнее прислушиваешься в непривычные, стрекочущие шорохи южной ночи, чем в слова друга — изгнанника, заметьте — добровольного изгнанника, иными словами, невозвращенца, доводы его, впрочем, достаточно слабы и зыбки, и я вовсе не хотел бы возвращаться к трагическим событиям двадцатилетней давности, оставим это, говорю не из ложного патриотизма, слава империи не очень-то занимает меня — разговор прерывает служанка, прибежав от жены настасьи львовны: боже опять припадок она такая хрупкая, последнее время почему-то боится холодного взгляда из-за спины, нюхательную соль? доктор? к доктору уже послали, все мне кажется, что на меня кто-то смотрит, за спиной стоит и через плечо заглядывает: вязанье падает из рук от этого взгляда, руки цепенеют, ледяные, как мертвые, спи, милая, здесь нет никого, все давно спят, пятый час утра — и тот же пятый час утра на пять тысяч верст северо-восточнее оборачивается седьмым часом: кристальное утро в царском, начало седьмого, василий андреевич отставляет стакан с молоком недопитый, бутафорская кринка рядом на скатерти, чухонка-молочница точна, как немецкие часы — каждый день с восходом солнца оставляет эту посудину у порога, колокол к ранней обедне, нет сегодня, пожалуй, другое: работа, следует поторопиться

с переизданием, отложим свое, худо, худо, худо слов нет, издал смирдin, «маленькие трагедии» — и вот она рукопись авторская «моцарта и сальери», с нее и тиснем: вчера просмотрена, кажется с цензурой осложнений не должно быть, но поторопимся, надо для верности пересечь еще раз, ведь обещано вернуть графу алексею федоровичу не позже понедельника, жемчужина, через наследника неплохо бы обратить внимание государя: истинный перл, пусть перечтет тоже... и как сам он похож на моцарта! ах, жаль, жаль... был, был похож, нынче уж пассивный перфект, милое прошлое, и да, и сальери — фигура знакома; подозрительно знакома: суховат, математический склад ума, будто с ним когда раскланивался и сживал в одной комнате, вели общий прерывистый разговор о прекрасном, эти узнаваемые слова — взгляд в окно, на кусты сирени: сколько ее в этот год, стоит крепкая, свежая, хотя давно бы пора осыпаться, застоялась долгонько, середина лета как-никак, вот и память удерживает то, о чем помнить не хотел бы: как-то князь петр, петинышка, показывал письмо баратынского — жестокие и несправедливые строки о «евгении онегине»: где ему там примерещился «пошлый голос всеобщего любимца»? уж не зависть ли заговорила этак, сальери, тот же освистал моцартова «дон жуана», помню, баратынский с улыбкою говаривал: «человек, который способен был, будучи прирожденным музыкантом, ошибать «дон жуана», способен и на худшее — убить, например, соперника самым подлым образом» — и улыбку эту понимающую помню, впрочем, глупости, бог знает что в голову лезет поутру, безумье какое-то; право, но до чего же все-таки похож сальери на баратынского: помню его всегда вдвоем с сашей, всегда рядом, осмнадцать лет минуло, а тогда, в дни коронации, появлялись всегда вдвоем, неразлучны перед всей москвой — один только-только из ссылки и негаданно прощен, обласкан, приближен, другой — весь в предсвадебных, да и дошло ли до пушкина это желчное письмо? — знал же евгений, что до пушкина его слова дойдут непременно — и что же? словно бы нарочно, словно бы вызывая ответную на резкость, писал — это нервное, вам надлежит отсюда уехать как можно скорее, немедленно, куда? могу порекомендовать висбаден, на худой конец швейцария, монтре, к примеру, но, поймите, здешний климат убийствен для нее, уехать отсюда? нет, никак не возможно, я не думаю, что виною климат, хотя и сам чувствую себя здесь неважно, конец первой главы, экспозиция, так сказать, но если бы цензура не изъяла из авторского текста этой главы последний абзац, то и сама глава и книга в целом вышли бы гораздо стройнее, законченнее, речь шла о владимире соловьеве, который один из всех писавших в позднейшее время о пушкине понял: последние годы жизни поэта есть чистейшее и чуть не запланированное сознательно самоубийство, а из современников разве что

только баратынский понимал это даже не столько понимал, сколько чувствовал — и отшатывался в ужасе, потому что с ним происходило нечто похожее, вот чего он боялся — по-настоящему, короче говоря, пассаж о самоубийстве вымаран, однако по непонятным причинам оказался восстановлен в экспортном варианте книги, в переводе на английский, книга вышла слишком выстроенной — не биографический роман, а прямо-таки словесная шахматная партия, с серией жертв, не оставшихся невознагражденными, с ложными отвлекающими ходами, а в целом — классическая проясненная композиция — и хорошо, и правильно — тому порукою антично-отчетливая пластика стихов самого баратынского, их струганная стройность, прозаические проекты, планы, чуть не чертежи для каждой значительной стихотворной вещи, схематические графики будущих поэм, мебели и парковой разбивки деревьев, дом собственной архитектуры с романтической башней в три этажа, взвешенная и рассудительная планировка зал и бытовок, рабочий кабинет, к примеру, выходит окнами на север — случайность? несколько: здесь и память о сумеречной финляндии, и — что существеннее — аллергия на яркий свет, патологическая светобоязнь вот где корень тяготения к итальянскому югу, несчетное число раз близок был к тому, чтобы (еще в отрочестве) лишить себя жизни, страшно открывать в себе преступника — холодность природы? маловероятно, просто светобоязнь, преодоленный страх перед светом, созревает в душе италия смерти — зыбкие и сомнительные домыслы, полудогадки — такова вторая глава книги, и вроде бы нет никакой веры этому стороннему додумыванию чужой судьбы, этому произвольному достраиванию жизни, скудной на достоверные свидетельства о себе — так-то оно так, но, странное дело: ясно выстраиваются на манер сквозной помещицей анфилады сугубо-смежные помещения в единственно возможном порядке: передняя, гостиная, спальня, кабинет, лестница на второй этаж, где располагаются детская комната, другая спальня — и все из первого под руку попавшего материала, из разновременных и разнохарактерных эпизодов, из оглушительной стилистической какофонии — что поделаешь? чувство стиля и строгость вкуса — ахиллесова пята наша, мы-то населяем конец, а не начало века, а что ждать от конца, кроме эклектического нервного смешения имен и времен, кроме лилового налета на вещах и на веках? но хоть и негодными средствами, а все же задача выполнена: сквозь фиолетовую дымку легковесного изложения определенно очерчена человеческая фигура, повествование достигает не фактической, нет, гораздо существенней — онтологической, бытийственной точности, посрамляя научную корректность специалиста-филолога, да что там здешний выученик-неудачник! — немца, играючи, затыкает за пояс автор «евгения баратынского», норвежца, то бишь,

с фамилией великого британского или ирландского поэта, парадокс, однако норвегия оказалась единственным местом, где отпечатана единственная заслуживающая серьезного внимания монография о баратынском, пожалуй, даже слишком серьезная: скажем, ничтоже сумняшеся пишет наш норвежец (все так пишут, принято так писать), что родился поэт 19 февраля 1800 года, художественному же биографу традиционная дата показалась недостаточно символичной (о какой уж тут научной достоверности может идти речь!) — и сдвинул ее на 11 дней поближе к нам (см. цитированное выше начало романа), явное передергиванье фактов? конечно, кто спорит, однако зато забрезжило магическое для русской истории ПЕРВОЕ МАРТА: годовалый поэт переваривает молочную весть о далекой смерти царствующего царя, далее — первомартовская гибель александра второго освободителя, гриневицкого и мальчика с салазками, дальше больше: царский поезд, мечущийся между бологим и дном, утро первого марта: шульгин окончательно склоняет царя подписать отречение, слабое и уже бесполезное сопротивление министра двора графа фредерикса, ноготь стучит по стеклу военно-морского барометра, дрожит стрелка, не обещая хорошей, ясной погоды, не имеющий определенного направления ветер в голых кустах, плачевный пейзаж в окне вагона, конец второй главы, самой короткой в книге — что и говорить, значительное число ПЕРВОЕ МАРТА — волосаяя связь частной человеческой судьбы с грозowymi роковыми часами империи, кто-то, помнится, заметил, что всякий мыслящий русский тайно или явно, но всегда исторософствует, о чем бы ни размышлял, каковы бы ни были его взгляды — правые, левые, средние, полусредние, будь он марксист или хиляст в духе бердяева, масон или православный подвижник, монархист или революционер — он всегда обращается к истории как к последней инстанции: она рассудит, но как не забежать вперед в надежде предугадать ее суд? — и не столько приговор предсказать (тут как бы все очевидно), сколько дату суда, не «что», но «когда», вот в чем шутка, а раз так, то стало быть и писатель, и поэт, и всякий, кто имеет дело со словом, — это всего лишь отгадчик сроков, назначенных для родного языка и родной страны, а автор биографии баратынского тоже поэт, бывший поэт, вернее: суховато-рассудочный строй лиры, что-то школьное наблюдалось в его стихах, деньги зарабатывает частными уроками, педагог, говорят, высокого класса — два месяца занятий с ним, и юпуглый болван абсолютно грамотен, шпарит наизусть первую страницу «войны и мира» с парижским, не без шарма, прононсом, пол-«мертвых душ» декламирует по памяти, избавясь, наконец, от украинского акцента, точно воспроизводит финал романа «мать» в лицах, на разные голоса, словом что и говорить, репетитор запредельной квалификации, но поэт... трудно

оценить так сразу, что-то выпрени-туманное, малопонятное, две-три строки резанут читателя откровенной и пронзительной болью, остальное — лоскутно-цитатный цветной туман — и вдруг выходит его роман и сразу по выходе становится бестселлером — сложно, витиевато, даже кое-где слишком вычурно написан, но выстроен, честное слово, мастерски, у автора звериная литературная интуиция, вот и обращается с фактами как власть имеющий, с неким естественным правом сильного, этакий словесный расколников, убиец старушки-достоверности, и главное безнаказан! все искажения азбучных истин сошли с рук, потому что служат познанию Истины, игра подмигивающих цифр, имен, отношений, радуга, луг после дождя, влажная блестящая трава, не то что профессор норвежец, который год не отрывал жопы от архивных стульев ЦГАЛИ или пушдома, обедал и ужинал, не выходя из книгохранилищ на подоконнике возле мужской уборной (заготовленные с вечера бутерброды с ветчиной и сыром, кофе в термосе), ночами в аспирантском общежитии обрабатывал переписанное, обнаружил около 400 неизвестных писем баратынского, докопался до цвета глаз его прабабки-датчанки, в москве и питере общался только с местными коллегами по пушкинской эпохе, ни разу не задрал голову, не прищурился, чтобы рассмотреть желто-цементное облачко над шпилем университета на воробьевых горах, где некогда герцен клялся огареву в любви до гроба, не опустил, проезжая по грохочущему дворцовому мосту, свой светлый северный взгляд на рыбачий баркас, внизу, у мостового быка, на человека в баркасе (брезентовая роба с капюшоном, лица никогда не разглядишь, крабы рукавицы, профессия: матрос рыболовецкого совхоза, хобби: история русской литературы XX века, образование: высшее, филологическое, соученик и близкий друг поэта — биографа баратынского, неторопливые движения, полусогнувшись перебирает руками у кормы баркаса, тогда как мысли заняты тем же, о чем сейчас меланхолично размышляет норвежец: почему же все-таки баратынский нередко допускал одну и ту же синтаксическую промашку — ставил запятую, а не точку в конце стихотворения, небрежность? осознанный прием? если прием — то почему при публикациях ошибка выправлялась и стихотворение завершалось как положено? если небрежность — то почему, каллиграфически переписывая в альбомы любителейниц, когда казалось бы, исключена любая описка, он с удручающим постоянством оставлял своего червоноговибриона-головастика вместо того, чтобы более достойным и светским образом завершить какую-нибудь словесную и вполне светскую рифмованную виньетку?) — но долго думать не приходится, жизнь берет свое, норвежца сбил с мысли шум в середине троллейбуса, у кассы, где армейский пенсионер уличил подростка, начинающего жить, в попытке

надуть государство, бросив вместо четырех копеек одну и оторвав билет, куда уж тут, конечно, с такой молодежью коммунизма не построишь, учишь их учишь, а они бездельники и лоботрясы, норовят на дармовщинку, потом удивляемся, отчего товаров не хватает — работать не хотят! трудно сосредоточиться и матросу рыболовецкого баркаса: прошел прогулочный метеор, длинная волна качнула лодку, на секунду он теряет равновесие, а когда восстанавливает — уже никакого баратынского в голове, застыли над ним, на мосту, любители-рыболовы — здесь промышленная путина, лов прославленной корюшки, тяпушки и ряпушки, там — одно дилетантство, занудное стояние с надеждой — клюнет, взметнется в воздух кобэда или салака, попав на крючок, проблещет узкое, в палец длиной, серебристое тельце, бездарная ловля бездарной ненужной живности, попала на крюк — и летит обратно с разорванной губою, снова мелькает в воздухе, отшвырнутая за ненужностью рыбка-филолог, славистская тварь, ни разу не становился норвежец в раздумьи у памятной доски с именами крылова и сатирика щедрин, не поехал на экскурсию в город пушкин (б. царское село) смотреть дортуары лицеистов, не застыл изумлен, пред позолоченными медными пламенеющими мечами: барочная постройка на садовой дворец елизаветинских времен, затем пажеский корпус, ныне суворовское училище — именно отсюда, из этого дома, с позором был изгнан будущий поэт, а пока — пятнадцатилетний вор и транжира, ребенок сомнительных моральных качеств, но не выдумка ли — кража, в которой он участвовал? существовала ли и в самом деле изначальная тяжесть вины, железнодорожная стрелка на паровом пути в неаполь счастья, болезни и смерти, роковая роль случайности — с кем не бывало? подросток, дурья башка ума необычного, едва ли чрезвычайного, тогда еще на месте грядущей николаевской железной дороги рос низкорослый кустарник — это потом уже, двадцать лет спустя, об ногу царя запнулся, дугу выписал любовно заточенный карандашик, тьфу ты господи! неловко придерживал линейку, размахнувшись кратчайшей прямой между двумя столицами, новою и старой куда пропала юношеская сноровка, а ведь когда-то именно он, николай павлович, впоследствии николай палкин, самолично обнаружил отсутствие фундамента у почти законченного isaакиевского собора — как прохлопали! уму неведомо, года через два все рухнуло бы спохватились — старик-монферран-де виноват, государь сам вооружился принадлежностями, чертить любил с детства, великолепно заточенный серебряный, в палец длиной, карандашик сообщал торжествующее состояние власти над собственным телом, спортивной отлаженности, осмысленности жестов — а тут, надо же, подвел — и надолго на природном пергаменте осталось тепло человеческого тела, надолго, пока ходят поезда из ленингра-

да в москву, пока не отменили мановением руки тысячелетнего расписания, не сожрали весь уголь, не выпили всю нефть, не высосали из вещей все электричество — до тех пор может, и не столь отдаленных времен будет красоваться на картах и схемах дрогнувшая дуга, суставчатый металлический червяк не устанет огибать дактилоскопическую вмятину, и гуляка праздный вряд ли найдет покой, прогуливаясь по отдаленным полям и вздрагивая всякий раз, как за лесом прокатится железная перистальтика дневного экспресса, ах не увидел себя гулякой праздным вечно занятый норвежец, не замешкался возле узорной решетки, по ту сторону которой выстроились в две шеренги дети-краснопогонники, не заскочил, держа путь к сенной площади, в богом забытую медицинскую шарагу, где до сих пор служит мелким чиновником автор «евгения баратынского», это всего в квартале от бывшего пажеского корпуса, не вышло у них задушевно-профессионального разговора на обоюднo-интересную тему: почему баратынский, а не кто-нибудь другой? трудно так сразу ответить... что-то северное, что ли, есть в нем, связан с финляндией, мои предки оттуда, через финские стихи, наверное, и возник интерес, начал заниматься — оказалось: отличный материал, нет однозначно ответить, почему именно баратынский, не мог бы, отчего русский язык? почему бы и нет? я неплохо знал латынь, изучал в католической школе, понимаете? семейная традиция, родители готовили к церковной карьере, но когда он поехал в рим, был разочарован: они гомосексуэлы; попы, так показалось тогда, очень циничные, теперь — не знаю — смотрел бы иначе, взрослее, снисходительнее, а тогда, в тринадцать лет, меня поразило — и порвал с церковью, тогда многие... бунтовали, католиков у нас, в норвегии, мало, тесная община, каждый на виду, порвал, но в пятнадцать лет влюбился в королеву кристину, вы, наверное, о ней слышали, жила в семнадцатом веке, тайная католичка среди протестантского окружения, смотрел старый фильм о ней с марлен дитрих, фотография, кадр оттуда, над письменным столом до сих пор висит: руки, перебирающие четки (крупным планом), узкие запястья, неправдоподобно, фантастически длинные пальцы, да, еще в пятнадцать лет я, хотя и перестал ходить в церковь, но верил, верил в бога, может и сейчас верю — не задумывался, не то чтобы вера исчезла; другое: иногда вроде бы и верю — да как-то вяло, нет не молюсь, давно уже не молился, а тогда, как снежный ком: россия, новые возможности, неоткрытый мир, наши газеты о вас все ввали, буржуазная пресса... так казалось тогда, что ввали, теперь — не знаю, думаю, что нет, но тогда хотелось самому проверить, сделать наоборот общепринятому, а когда прочел «идиота» дostoевского в немецком переводе — просто влюбился во все русское, зато теперь ничего не понимаю, сплошное недоумение.

стараюсь не думать на общие темы, бесполезно, ну так и покатилося; славистская кафедра в осло, докторантура, как-то помимо воли вышло, что выбрал для диссертации баратынского, цепь случайностей, что вы, не жалею, конечно, первоклассный материал — не произнес норвежец всего этого вслух, повышая голос, чтобы перекричать шум транспорта за раскрытым окном — не произнес, а вполне мог бы, может быть даже хотел, может быть, даже мучился тайной невыговоренностью, ведь единственно мелодической ниткой была прошита вся жизнь его в развернутой симфонии мира, отучился-таки ставить вопросы самому себе, засыпать с надеждой; ощущая себя некой биологической машинкой, получившей очередное задание, чтобы наутро, проснувшись, обнаружить готовый недвусмысленный непротиворечивый ответ, как рождественский чулок под подушкой — не вышло ничего похожего, вообще ничего не вышло из его поездки в ленинград, не посоветовал писатель-дилетант профессионалу-норвежцу перечитать мемуары князя кропоткина — то место, где описан пожар апраксина двора летом 1862 года: сам петр кропоткин — в роли офицера-воспитателя при пажеском корпусе — с пожарной кишкой стоит на крыше правой от двухэтажной пристройки, где и при баратынском находились квартиры корпусных офицеров, отсюда и деньги украдены, и судьба поэта пошла зигзагом, наперекосяк, а кропоткин, примерный паж-воспитанник и отменный офицер, ясный прямой путь в будущее, на крыше нервничает: огонь вот-вот перекинется сюда через узкий чернышев переулок, чад, гарь, внизу панорама стихийного бедствия, выделяются два длинноволосых студента, с помпою пожарной, сгибаются-разгибаются поочередно, как ошкуренные резные медведи крестьянской игрушки, ах да не долго им качать — окружает их толпа приказчиков и мелкого складского сброда, энергетическая жестикуляция, ключья мундиров в воздухе, долго и неслышно, подпрыгивая на брусчатке, катится форменная пуговица — университет, угроза государству, заглушаемые шумом огня крики: поджигатели! поджигателей поймали, бей, где? да вот они, бей этих, волосатых, тащи веревку, вязать будем! — и тихий душный вечер того же дня: обезумевший Достоевский, обращаясь к ровному Чернышевскому: конфиденциально, умоляю вас, только вы могли бы прекратить поджоги, вам слово достаточно сказать, вы понимаете? наемная пролетка ждет внизу окончания разговора, кучер втягивает носом воздух — шумно, с прибульком, как это случается, делают лошади, щекотный, вызывающий першение и неудержимое желание чихнуть запах гари, из подворотни выходит кособочая баба, волочит за собой пустое ведро на веревке, вытаскивает на середину улицы, перевортывает, садится на ведро, рваная юбка натягивается на коленях, лицо в оспинах, тяжелые руки провисли между колен, маленькие

глазки мутно уставились в мутное небо, где нет-нет и мелькнет черный паленый клочок чего-то, извозчик наконец чихает и удовлетворенно поеживается, лошадь фыркает, дергается, шатнув экипаж: из-за угла слышны удары колокола, то ли пожарного, то ли к вечерне — этакое, знаете, удовольствие доставил: прекратите, кричит, свои поджоги и пожары, будто я с факелом по ночам в торговых рядах бегаю, имейте совесть, помилуйте, говорю, да и куда нелепее ситуация, совсем он катковским охвостьем сделался, предупреждал ведь николай алексеич, что он самолюбив до безумия, лучше не забывать, пи-сатель — нет, вся эта картина не встала перед мысленным взором крупнейшего зарубежного специалиста по баратынскому — не его эпоха, не его страна, не его собачье дело, не заглянул он и в бывшую раскольниковскую пивную, где убивец сиживал с разговорчивым пьяницей-чиновником, они скандинавы, молчуны, их не разговоришь с полуоборота над стаканом водки о самых существенных основах бытования, сидит, как нечто прилагательное, перед тобой и никак не реагирует на заманчивое предложение махнуть в «березку» за фирменным джином и тоником, а потом закатиться на ночь к гаррику левинтону помандельштамствовать, давно все это было, тогда никакого гаррика левинтона в природе еще и не существовало, а наличествовали только мм. бахтин, топов, иванов (кома) да лотман — и никто из них, к сожалению по баратынскому не интересовал, хватило ему по горло встреч с коллегами-пушкинистами два геронтологических объекта окончательно добились его веру в здешнее прилитературное человечество, вот они аблеухоподобный начальник над всей русской литературой прошлого века — член корр. б., известный как лицейская сволочь и гонитель марсея пруста из соображений нравственной гуманности, несколько бесполезно вежливых бесед — и исчерпан кладезь русского общения, в остальном же: по-западному организованная работа в библиотеках, крайняя спешка, вызванная жесткими сроками защиты докторской диссертации, первоначальная растерянность, обусловленная хаосом, царящим в советских архивах, лихорадочное состояние в последние три месяца: обнаружены неопубликованные документы чрезвычайной важности — если бы удалось хотя бы скопировать их! итог: неподъемный кирпич, изданный в осло на русском языке, тираж 150 экземпляров, судьба каждого почти, книги те же люди, и грустна судьба экземпляров на русском языке, грустна, хотя и не лишена авантюристности: из 150 экземпляров 80 разослано по крупнейшим книгохранилищам мира, 2 даже угодили в такое место, о котором во всей россии и слышали-то человек пять, смутно представляя, где это находится — в фундаментальную библиотеку университета империи тонга, между прочим, благословенный край, едем земной, четыре вуза на девяносто тысяч жителей, обязатель-

ное высшее образование, платит государство за все, две русских кафедры — от безделия и презиобилия плодов, 7— подарены автором лично шведским и немецким коллегам, пятеро добросовестно прочли и письменно выказали свое восхищение с некоторыми малозначительными замечаниями, двое прочесть не успели, потому что один из них попал в автокатастрофу, и с тех пор всякое чтение вызывало у него тошноту, врачи запретили, пришлось сменить профессию, другой же скоропостижно женился на известной московской инфернальнице, так что теперь все его интеллектуальные и душевные силы, не говоря уж о физических, сконцентрированы на внутрисемейной любви, любви-ненависти, на изматывающем поединке двух личностей, и в результате большую часть времени проводит он не над книгами, а на кушетке психоаналитика, такое нередко случается, 25 экземпляров труда до сих пор хранятся у автора — на всякий случай, хотя маловероятно, что случай когда-нибудь представится, впрочем, чего не бывает, судьба же остальных 38 просто-таки трагична: 30 арестовано таможей при пересылке советским славистам пять почему-то дошло, из них 3 навсегда канули в спецхранах, одна книга оказалась в тарту на свободном доступе и впоследствии использована студенткой-третьекурсницей, прошедшей курс подготовки у неизвестного нам поэта-педагога, для курсовой работы по теме: «мелодика стиха баратынского», еще три экземпляра оптом закупил ленинградский скандиновед, шатаясь как-то утром, с похмелья, по стокгольму и переживая после вчерашнего банкета с национальными песнями состояние, схожее с острой ностальгией, — по возвращении в питер раздарены друзьям, из этих 3-х: одна книга конфискована во время обыска по нехорошему делу, в протокол не внесена, забыли про нее, другая утоплена в ванной (следствие полусонного сибаритского чтения) и после неудачной попытки высушить на батарее центрального отопления передарена гошистке-парижанке, сдуру избравшей пушкинскую эпоху для магистериума, наконец, третья чудом очутилась на рабочем столе художественного жизнеописателя в разгар труда над романом из жизни баратынского, откуда явилась неизвестно, просмотрена, отложена, исчезла из поля зрения неизвестно куда — вот оно, краткое человеческое существование меж двух неизмеримых бездн, робкий стежок явленной жизни, опускаем главы с четвертой по восьмую, последовательно повествующие о службе поэта рядовым солдатом в гельсингфорсе с 1817 года, о приезде в петербург в 1819, знакомстве с пушкиным, дельвигом и вяземским (вялые, вымученные страницы) первые стихотворные опыты, первые успехи (пятая глава так и названа: «первые вершины»), производство в офицеры и последующая отставка, москва, балы и женитьба, нарочно-тихое семейное счастье в муранове (главы седьмая-восьмая), тьма мелких

хозяйственных забот, заслоняющая от внутреннего взора полуденное горячее солнце, и вдруг, в главе девятой — негаданное возвращение к началу, снова всплывает миг появления поэта на свет, первое марта, да-да, именно ПЕРВОЕ МАРТА, не будем верить всезнающему норвежцу, для которого наш числовой символизм — нечто антинаучное, пустой звук, не подтвержденный документально, но как быть, если произвольно, казалось бы, измышленный факт не просто подтверждается новейшими находками — нет, самым невероятным образом вынуждает реальность отозваться на свой зов, и вот я держу в руках брошюру на итальянском языке — можно дать руку на отсечение, не ведал ничего о ней наш беллетрист-биограф — отпечатана на военной бумаге в 1944 году в неаполе, ровно через сто лет после высадки на эту землю евгения баратынского реверанс в сторону союзного сталина: «итальянцы в россии. первая часть XIX века. неизданные материалы», издательство и составитель не указаны, почти половина брошюры — письма из россии на родину, пишет некий жьячинто боргезе — боргезе! — воспитатель будущего автора «последней смерти», ироничный, вприпрыжку несущийся словесный поток, букет нелепейших историй из тамбовской русской жизни, царство абсурда и хаоса, приобретающее под романским пером масштаб воистину дантовский, и среди прочего — анекдот о том, как боргезевский питомец был крещен за 12 дней до рождения, еще будучи в утробе матери, по рассеянности местного священника: вышла ссора между супругами — как назвать новорожденного, который родился 1 марта, накануне великого ортодоксального праздника, для петра-и-павла, стало быть, барыня, посоветовавшись со священником, решила: мальчик будет либо петр, либо павел, лучше все-таки павел, набожная тетка и священник к отцу: так и так, выбор между петром и павлом, как вашей милости угодно? а барин ни в какую — ни о том, ни о другом слышать не хочет — тезоименитство государя как-никак, ах, какой он государь! как какой? богом данный — вот какой (это тетка) — ну что ж, бог его дал, бог и возьмет, а я хочу сына евгения, священник снова наверх, теперь уже к старой барыне — что делать? да что там, батюшка, сын у меня упрям, мне-то что — будь у меня внук павел, будь евгений — все добро, лишь бы здоров и ладен был, святцы-то ваши где? принесли святцы, ага, вот: мученики евгений и евстафий — 19 февраля, бог в помощь, пускай будет евгений, но так эта путаница с именами засела в голове престарелого попа, что спустя две недели, в середине марта, когда младенца крестили, снявши облачение по окончании обряда, в ризнице священник продиктовал дьячку для внесения в церковную книгу: «19 февраля . . . крещен», спохватился, да справлять поздно, «пиши . . . крещен тако же и урожденный раб божий кавалера, генерал-майора авраама баратынско-

го сын...» — и пошла гулять описка по всем бумагам, следовавшим за поэтом в его странствиях, но ей богу, ничегошеньки не знал автор романа о письмах боргезе, сам дядька-итальянец скользнул по страницам книги бледной тенью, краешком плаща — шустрый насмешливый человек, южная обезьянка со смутными представлениями о нравственности — уж не ему ли обязан евгений баратынский той легкостью, той шаловливой уголовщиной, когда, много не рассуждая, становится возможным изыскать остроумный способ проникновения под крышку секретера, где деньги лежат, одно ловкое движение — и дальнейшая жизнь решена, страдательно, случайно ли, что память призывает из царства теней прозрачную клубящуюся фигурку, начало десятой главы застает нас там же, где мы были и в первой — в италии: скоро, скоро настоящая встреча, радостная ли? сегодня мне дядька снился мой итальянец — подзывает, а я не могу с места стронуться, руки-ноги как спеленутые, но не чувствую никакого страха — легкость, скорей, — иди, говорит, и я словно бы приближаюсь к нему, не пошевелив ни единым членом, у него в руках скрипка, глаза грустные, а ведь отчетливо помню: никогда он при мне не играл, ни на каком инструменте не играл, и глаза всегда веселые были у него, но снится, будто скрипка у него в руках, правая рука со смычком опущена: что же ты, мой мальчик, идешь так медленно? хочешь ответить — никак: челюсть подвязана, и сверху, над собою, слышу свой же голос, не из уст моих исходящий, но мой, преображенный, не сразу и узнать-то можно, но все-таки мой голос, чугунный, литой, тяжкий — но мой: иду, дяденька, скоро дойду, — и от звука этого неподъемного просыпаюсь, первая мысль при пробуждении: надо записать (следует пересказать предсмертного стихотворения баратынского «дядьке-итальянцу»), отвлекает шум в соседней комнате: с настасьей львовой опять худо — третий приступ за неделю, послали за доктором, горничная осторожно приоткрывает широкую дверь втаскивает в номер медный таз с горячей водой, расплескивая, на полу — смятые влажные простыни, в приоткрытую дверь символически стучится хозяин трактира справиться о здравии — все так, и все началось много раньше — когда 1 марта 1800 года в имени мара кирсановского уезда тамбовской губернии появился на свет божий тот человек, который через 28 лет, находясь что называется в расцвете сил, счастливый в супружестве, не обделенный кое-какой литературной известностью, вполне самостоятельный крепкий телом и возвышенный душою, если не считать редких (с годами все реже) приступов полночной меланхолии — в июле, душной ночью 1827 года, этот человек обратится к незримому читателю с экологической апологией смерти: смерть дочерью тьмы не назову я! — и проникающий до костей гимн во славу безносой отзовется спустя еще

158 день, 1 марта 1976 года в б. царском селе (ныне город пушкин ленинградской области), в комнате на первом этаже бывшего дворцового флигеля, где когда-то жывывал жуковский, а теперь квартира татьяны григорьевны гнедич, правнучки другого, не менее славного переводчика гомера, голые кусты сирени за окном, ветки их снаружи стучают по стеклу, окно опечатано с прошлой осени, в комнате тяжелый дух, смешанный запах лекарств и шоколадных конфет, старуха гнедич, прижав к груди забинтованные руки, внезапно, без всякой видимой причины прерывает сугубо литературный разговор, а ведь собеседник ее лицо, подозрительно знакомое: хотя он и на пять лет моложе своего будущего романа, но облик почти таков же, как сейчас, после выхода книги, разве что борода без седины да все зубы целы — эти пять лет будут стоить ему двух передних потерянных зубов, отсюда — малоэстетичная щербатость впоследствии и новая, осторожная улыбка, которую его друзья, склонные к поспешным выводам, объясняют ухудшением социального климата, неприятностями, семейными неурядицами, словом, всем, чем угодно, но никак не выпадением зубов — и старуха гнедич, внезапно оборвав какую-то его никчемную фразу, вклинившись в очередную писательскую сплетню, произносит без выражения, монотонно, безо всякого объяснения почему:

О дочь Верховного Эфира!
О светоносная краса,
В твоих руках олива мира,
А не губящая коса,—

произнесет не своим — чугунным, литым голосом — ситуация неловкая, чересчур выпренняя, ее собеседнику становится неуютно, как если бы он влетел в незапертую ванную, где в этот миг голая старуха выбирается из мыльной воды, с трудом переносит венозную ногу через чугунный эмалированный борт, однако, простите, это я к тому вспомнила, что думаю о ваших стихах, которые вы только что прочли мне — в них господствует философская истерия, паника мысли, возьмите баратынского, его оправдание смерти страшно и справедливо, это спокойное мужество стойка перед бездной небытия, а вы нервничаете, кричите, размахиваете руками — так по меньшей мере некрасиво — и лишь много позже выяснится, что же произошло в этот день: утром 1 марта старуха гнедич, обычно полуглухая, проснулась с обостренным слухом — так хорошо, так отчетливо она и в детстве не слышала, за дверью голоса, пришел врач, муж отвечает, спит она, ладно, тогда я зайду попозже, не надо, не будите — ей легче: чем больше спит, тем меньше мучений, сон теперь единственное средство от боли, я уже ничем не могу помочь, никто не может, жить ей осталось максимум месяц, да, кстати,

вот рецепты на морфий, понадобится много, у нас в аптеке нет, так что постарайтесь достать через писательскую поликлинику, хлопает дверь, разговор перемещается на лестничную площадку, врач ошибся, она протянет еще восемь месяцев, но вечером 1 марта ее литературный гость, прервав разговор о спасительной смерти, выйдет в уборную, а оттуда в кухню вымыть руки, на кухне тепло, теплей, чем в комнатах: зажжены все четыре конфорки на газовой плите — четыре голубых лотоса, четыре холостых вечных огня, окно наглухо затянуто желтой занавеской, в углу, положив голову на невытертый кухонный стол, недельной щетиной возя по грязному пластику, беспокойно спит пьяный (притча во языцех всех интеллигентных знакомых дома — опять пьяным явился) — пьяный муж старухи гнедич, нестарый еще человек, отопление отключили, в комнатах холод собачий, март для них календарная весна — можно уже и не топить, хозяин тяжело просыпается, разбуженный шумом воды, неразборчиво матерится, черно, по-лагерному, заворачивая обрубку слов в пустой кухонный воздух — в лагере-то они и познакомились; уголовник, вор и правнучка кривого гнедича, «преложителя гомера», в конце сороковых она сама себя, по интеллигентским слухам посадила — явилась в мГБ с самодоносом; я должна быть наказана по всей строгости, жила с немецким офицером, не по принуждению, а по любви жила во время оккупации, и даже то обстоятельство, что всю войну промыкалась она в блокированном питере, немцев-офицеров видела только пленными, в унылых колоннах, да на литографиях из томиков, изданных не ранее середины прошлого века, — даже это, ставши известным следователю, не вызвало ни облачка сомнения, полное доверие к показаниям раскавшейся, раз говорит, тем более — раз пишет, значит, так оно и было, не в больницу же ложить, несерьезно как-то, да и план есть план, пошла по 58 статье, а там невероятный лагерный роман, микроскопические записки из женской зоны в мужскую, дубинные каракули из мужской в женскую, перевод байроновского «дон жуана», сделанный по памяти, и большая часть, около 200 строк, втиснута муравьиным парадом в один-единственный лист, в осьмушку, разграфленную с лицевой стороны под протокол, — упругие звонкие октавы, совершенное метрическое освобождение и весна словарного счастья, возвращение вдвоем с мужем в бывшее царское, тревога, страх, решимость на лице простецкого мужа, когда на невытертый кухонный стол лег первый гонорар: тая! пойдешь отнеси эти деньги туда, где взяла, нам чужого не нужно — и все остальное, включая подслушанный разговор мужа с врачом, нет, что бы вы не говорили, а все-таки есть невыдуманная связь между датой рождения давно умершего поэта и днем, когда старуха гнедич услышала о своей скорой смерти! иначе как чудом трудно объяснить тот

факт, что в самом черносотенном издательстве вышла книга, повествующая об этой связи: проглядели оба рецензента, редактор и старший редактор, куратор издательства от органов пропаганды и завотделом, ответственное лицо из госкомитета по печати и чиновники книжной палаты, автор аннотации в «литературном обозрении» и критик из «вопросов литературы», по счастью, болел и доктор филологических наук п., дальний родственник баратынского и блюститель семейной чести, когда ему прислали экземпляра романа на отзыв — книга прочитана и высоко оценена его аспиранткой, своего рода крепостной ключницей при впадшем в детство барине — старик не глядя подмахнул пять страничек машинописного текста, где автору предлагалось: несколько расширить общественно-исторический фон повествования, встретить баратынского в париже с декабристом николаем тургеновым, при переезде из марсея в ливорно усадить в один пароход с германцем, огаревой-тучковой и выводком детей от смешанного брака, под неаполем, во время прогулки к везувию, столкнуть с юным гарибальди, добрым словом помянуть некоего путяту, прямого п-ского предка, прочее оставить без изменений, автор романа скрепя сердце внес требуемые коррективы — и потом жалеть ему об этом не приходилось, да и нам тоже — вот она, книга, тираж полмиллиона (первый завод 150 тыс.) права на перевод проданы в штаты, индонезию, бутан и скандинавские страны, в германии вышло сокращенное издание, французов товар не заинтересовал, англичан тоже — там само слово «поэт» звучит сейчас столь же оскорбительно, как звучало в устах адмирала нельсона, скажем, 1 марта 1800 (!) года, когда абукирский герой диктовал письмо в лондон из палермо: дескать, на итальянцев нельзя полагаться ни в чем, они только уличные певцы и поэты, несерьезная публика, особенно в неаполе, откуда пришлось спешно эвакуироваться, спасаясь вместе с двором короля фердинанда от полчищ обезумевшей черни, на сицилию, богом благословенный остров, земной рай, фейерверки, вы знаете, никто не умеет так веселиться, как итальянцы — балы, маскарады, но клянусь честью, не это меня задерживает здесь — рана заживает медленно и есть надежда, что действия британского флота нанесут сокрушительный и последний удар по морским коммуникациям первого консула именно здесь, у берегов калабрии, нет, от книги просто-таки не оторваться — раскрываю, как при гадании, наугад, снова глава девятая, незнакомое место: об отъезде из италии ни слова, россия подождет, давно уже меня занимает мысль о невидимом источнике, дарующем человеку внутренние силы, кажется, живешь на последнем дыхании, еще день-другой — и ты камень, родовая могила, но проходит каких-нибудь полчаса, белка спрыгивает с дерева в световую пролысину среди сплошной лиственной тени, сидит мгновение,

быстро-быстро перебирая передними лапками возле мордочки, будто умывается, из-за дома несется лай, дурной охотничий щенок выкатывается туда, где только что сидела белка, крутится, лоя ускользящий хвост свой, возбужденно повизгивает — и всю тяжесть как рукой сняло: природа, сама природа, как пиявки у висков, удаляет из размышлений тяжелую историческую кровь, италия же — италия само бездумье, фар, ниснте, целый день перед глазами фисташковые затемнения видимых предметов, людей, давних событий, здесь история и природа одно: никакие злодейства борджиев, никакие кондотьери и саванаролы не могли расторгнуть любовный союз римских развалин с диким виноградом в недоумении остановишься: что это одиноко уцелевшие колонны или одинокие пинии на прославленных холмах? — это хромовая роща человечества, когда земля и небо уравновешены, как чаши флорентийских весов для размена монет в ломбардах парижа и лондона — отсюда чувствуешь, как в россии неравновесны гигантские блюдца земли и неба, как тяжело падает и взлетает стрелка, трудное дыхание бегуна в марафонском финише, задышка любовников, толчками раскачиваемых между землею и небом, — через постель, только через постель, — убеждает слушателей некая страстная поэтесса с мясистой и круглой фамилией, — иначе баратынского не поймешь, но целомудрие автора и дамоклов меч моральной цензуры не позволили ему детализировать романтическую обстановку александрийских ночей в гельсингфорсе: (глава третья) смутно белеют грудно-бедренные формы закревской, влажное дыхание ночной царицы объемлет полмира, комар, впившись в обнаженное плечо, смолкает, скрипит шведская (карельской березы) кровать — спинка инкрустирована перламутровой психеей и амуром — царит любовь, колышется марля нервической светлой ночи, на туалетном столике — эротическая кринка с утренним молоком, ниже — сюрреальные кувшин и таз для мытья (омовения, прелестница, омовения!), муж в петербурге, доклад министру, одеваясь, не разыскать необходимой, ну совершенно необходимой детали туалета, раздражена, первая ссора, слезы, прохладное и совершенно пустое утро — было такое? отвечай по правде! ведь не было же, было что-то похожее, близко, да не так: были слезы, ссоры, полунаигранное и отчасти приятное бешенство ревности, почему-то к мужу никогда не ревновал: он как бревно какое — большой внушительный генерал свитский, но вернулась из столицы — только и разговоров, что о пушкине, взяла досада — это уже не муж, могло кончиться дуэлью, дельвиг, как всегда, обратил в шутку, втроем отправились к девкам на софийку под царское село, пьяный вечер, влажно-профессиональное наслаждение — и утром неожиданно тяжело похмелье, впервые в жизни — свинцовое отрезвление, неутолимая жажда, снится, что

пьешь кувшин за кувшином, а все пить хочется, сильнее и сильнее, самым утром привиделась детская в море, подле кровати — широкогрудый, широко-тазый кувшин с водою для умывания и снова припал к нему, пьешь, воды не убавляется, жажда не покидает, танталовы муки, неутолимое пустое наслаждение — горечь любовных страниц романа явно автобиографична, хотя с другой стороны вполне подпадает и под общее выражение литературного лица, какое стало проступать еще лет десять назад, да ты совершенно праг я ведь тогда служил в книжной рекламе, и мы аннотировали много такс историко-постельной беллетристики, например, желтый романчик какого-то воеводина — ничего себе какого-то! это говно на процессе бродского выпало как обвинитель от союза писателей, личность, можно сказать, известная: бродский, говорит, тунеядец, удостоверения не имеет, а пишет, позорит звание и статус писателя — и выпустил романчик этот воеводов — конечно, о свободолюбивом периоде жизни поэта: вся охранительная полицейская сволочь почему-то особенно именно свободолюбивом периодом озабочена — там уже покапывала старческая слюна, бессильная зависть к нерастраченным сокам юной любовной силы, сам вот не может трахаться, так хоть подсмотреть, посочувствовать, сексуальная полупристойная клюква, одну сценку надолго запомню: в «русской ночной рубашке» (цит. дословно!) до полу, ворот расстегнут, так что видна высокая грудь, белая ночь, посреди спальни, убранной в стиле «лярюсс» раскрывает юному любовнику объятья княгиня (или княжна, автор путался) голицина, обидно, право, но что-то очень похожее есть и в романе о баратынском — оттого ли мы так любим «пушкинскую» эпоху, что забрезжила тогда впервые телесная свобода, за полтора века до сексуальной революции, так и живем: плоть у нас то реабилитируют, то опять репрессируют, то хорошо ебаться, то нехорошо, ничего не поймешь, минимум значит, и золотой век, и серебряный русской эротики («рашн фэр-лямур»), а сейчас — бронзовый что ли? действительно, что-то подозрительно много в последнее время выходит книг, отпечатанных будто на замаранном постельном белье великих людей, есть нечто возвышающее любого инфенера-врача-учителя в том, что семейное унижение — не только их доля, но и большие, с позволения сказать, личности подвержены... есть замочная скважина эпистолярных и дневниковых публикаций, прошло время, когда лишь специализированный фрейдист не гнушался приникнуть к заветному отверстию — и ключиком, ключиком там шуровать до сладчайшего успокоения, не стеснялся, когда за локоть ловили: это дверь? дверь ну, я ключ ищу от нее, работа такая, бросьте, известно ведь: ключ выброшен в пруд описал дугу, поочередно просверкав кольцом, стерженьем, бородкой, тупой пульк пруд зацвел, заболотился, зарос, пошли плодиться

комары, совсем недавно пруд осушили, залили асфальтом, оградили зеленым забором и устроили танцплощадку, да и что мы знаем о любви и смерти? об их смертельно-любовной человеческой скрепе, которую вгоняет умная машина в листы любого жизнеописания — вгоняет бесшумно, в левый верхний угол, в девятку, и не странно ли, что набоков, по собственному признанию, был неплохой голкипер в отменную весеннюю погоду, но терял игровые качества в дождь и слякоть — так, начавшись точкой отделения души от тела, закончится книга о баратынском, двоеточием Любви... любовью, а сколько их было — дело не наше, и каковы они, бог знает, хозяин угловой комнаты подальше от разговоров своего «евгения баратынского», что привезен из парижа, здесь не купишь и на черном рынке, а явится случай — выкладывая пятерик тут же — пятерик? так дешево? меня ваша наивность даже умиляет, вы, поди и на «болоте» никогда не бывали ах да, забыл, у них на толкучке свой язык: рубль — это червонец, значит пятьдесят? совсем ополоумели, пятьдесят рублей за массовое издание! а угол, угол — это сколько? — двести пятьдесят, а тысяча? — тысяча, как известно, целый кусок, целый кусок жизни погребло под собою болото, ни одной любимой книги? кажется в дачное, ишь ты, еще недавно обреталось на гражданке, вот тебе и немобильность, во мгновение ока преодолено расстояние, пользуясь эзоповым диалектом черного рынка, равное восьмидесяти копейкам на такси, — 40 километров, столько же, сколько делала в два дня «кроткая элисабет» во время пешего богомолья всем двором из питербурха в тихвин, тут временный вольноотпущенник из горького снова оживляется: полгода почти пролежал он, не двигаясь на нарах в «крестах», и все, так или иначе связанное с перемещением в пространстве, вызывает в нем какую-то забытую восторженность: называнья медвежьих углов, полустанков, богом забытых средне-русских городков пьянят, как винные имена грузинских селений, как венгерские или французские земли на этикетках длинных или пузатых бутылок — подхватывает он тему денежных эвфемизмов, и очередная болотная история повисает в тускло освещенном коридоре: инженер обычный советский инженер, нынешний аналог щедринскому коняге, труженик, и общественник, член совета по озеленению, одним словом то, что в прошлом веке собирательно именовалось «мужиком» — сын у него, у мужика, подрастает, в школе учится, развлекательных книг в школьной библиотеке, естественно, нет, в классе слышал про какого-то жульверна, все, кроме него, мальчики читали, но ему никто не дает — не принято у нынешних тинеджеров давать свои книги в чужие руки — затеряется, мало ли, пропадет, запачкают, все равно что свои штаны дать поносить кому-то, неприлично просто, входит сейчас в сознательный возраст как бы западное молодое поколение, а

инженер — человек старой коммунальной заклки: обидно ему и за сына, и вообще за молодежь, после работы едет в буку: «таинственный остров» бывает у вас? — продавец, рыжий лицо дегенерата, только что слюну на прилавок не пускает, — даже головы не повернул, потоптался инженер, полюбовался на абрахамсовского дали, триста рублей, ушел, а назавтра в обед пожаловался сослуживцу и узнал о существовании болота, где же оно, болото? сейчас не знаю — вчера собиралось на пустыре у третьего интернационала, вечером туда поехал (у сына через неделю день рождения); действительно пустырь, ходит друг вокруг друга множество людей, при абсолютном различии возрастов, конституций, одежды все они чем-то неуловимым похожи друг на друга, книг не видно, порхают какие-то списки, вот жиды пархатые, — некстати пришло на ум инженеру, что меняете? я? я не меняю, я бы купить хотел, здесь можно купить «таинственный остров»? подвели к одному, тот оглядел инженера внимательно, взгляд задержался на витебской обуви — оценивает, что ли? молча отвел в сторону от основного скопления: приходите завтра в шесть у старого метро «дачное», станет всего в полтинник, инженер, как человек четкого технического ума, вычислил: речь, конечно, не о пяти рублях идет, нет — о пятидесяти, дорого все же, треть зарплаты, но вспомнилось школьное детство: спазмы в горле и тяжесть внизу живота, когда попадал в комнату районной юношеской библиотеки имени гайдара, чудом обнаружил там дореволюционную книжонку о достоевском долго не возвращал ее, надеялся, что забудут, как-нибудь останется у него, но явились домой — толстая библиотекарьша и переросток-старшекласник, который таким образом сопровождал начальство, надеялся в обход общей очереди заполучить лакомую «одиссею капитана блада» или на худой конец «юного бура . . .», скандал, родители нашли книжку о достоевском, отдали, (он был последний, кто ее брал почитать, — не отвертеться), наказанный, все воскресенье просидел дома взаперти, без книг, все «чтиво» отняли, оставили один учебник литературы флоренского — занимайся, тройка в четверти, стыд и позор, тупо смотрел на корешок и пушкина, оттиснутого на переплете, утешало, что и великие люди страдали в детстве, покуда их не могли оценить по достоинству, зря, что ли, читал он в пособии для мужских гимназий о «пытке чаем», о «чаепытиях» в михайловском замке, когда юный федор достоевский, не имея собственных карманных денег, вынужден был отказываться от чая: воспитанников инженерного училища брали на казенный кошт: одежда, еда — все казенное, даровое, а вот чай — роскошь, чай должны были прикупать сами, отец из москвы денег не шлет — сотоварищи уже послали дядьку самовар поставить, нет, увольте, я чаю не пью — после сердцебиение и во рту нехорошо, первое отроческое унижение, не признавать-

ся же, в самом деле, что отец — скряга, ночью не заснуть: безумно пахнет чай кяхтинский, запах просачивается сквозь жестяные стенки наглухо закрытой коробки с китайцем на корточках, хотя сама коробка-то давно унесена из спальной каморы, из угловой комнаты на втором этаже замка, вниз, в полуподвал бывшей кордегардии, и оттуда, из адского подвала, доносится непосильный горестный запах — тайный запах инаковости, подумаешь, чай, но — ты нищий, нищий, не такой, как другие, после наверстывал, крепчайшие ночные чаи нашивала жена в кабинет для работы, кофе для господина бальзака, а мы чайком побалуемся, не французы, чай... нет, решил инженер, нельзя не купить, тайная детская обида — она только со смертью сотрется, да и то неизвестно, после службы зашел в сберкассу, снял часть денег — летних, на отпуск, ничего, к новому году возьму халтуру, как-нибудь выкручусь, приезжает в дачное, книжный жучок уже ждет, в полиэтиленовом пакете сверток, книга обернута в несколько слоев газетой, кажется очень толстой, но формат, похоже, карманный, странно, в мое время другие жюль верны были: толстая бумага, обложка коленкор, крупный шрифт, каждый роман иллюстрирован отдельной картинкой, на которой представлен самый захватывающий эпизод, неуклюжие такие картинки, на них — разноцветные люди в панталонах, штиблетах, пробковых шлемах, бакенбарды, трубка, волевые подбородки, шотландская борода, выразительные глаза, ну ладно, времена меняются, отдал деньги, переложил сверток в свой портфель, поехал домой, но пока ехал в метро, возникло подозрение — не надули меня часом? — развернуть боялся — а вдруг и в самом деле надули, было же как-то под новый год: около елисеевского магазина давка, тридцать первое декабря, середина дня, сумерки, появляются два продавца в грязных халатах поверх шуб, развернули складной стол, выставили ценник, выстроилась очередь — что дают? красную икру, ишь ты, фасованная, в наглухо запаянных полиэтиленовых пакетиках, гражданка, вы поче... да сгинь, образина очкастая, стояла я здесь — стояла и стоять буду, товарищи, товарищи, успокойтесь, всем хватит, по сту грамм в одни руки, товар фасованный — к вечеру распродан со всеобщим удовольствием, и соответственное чудо в новогоднюю ночь, когда сбываются самые несбыточные желания: икра-то, простите, не икра, фальшивка это, подделка, белые рыбные катышки, саго из шестикопеечных пирожков, крашеное в благородный икроидальный цвет томатной пастой — и все дела, нет, его так не проведешь, не из тех я, кто гоняется за любым дефицитом, а впрочем чем черт не шутит, боялся все-таки надорвать пакет тут же, в метро, развернуть сверток, оголить трепещущую, драгоценную книженцию — как себя вести, если надули? не в милицию же бежать? а дома все разъяснилось: надорвал,

развернул, обнажил: батюшки! «архипелаг-гулаг», сочинение александра солженицына, франкфурт, посев, так вот он «таинственный остров», ничего себе презент сыну к совершеннолетию — вся, мол, жизнь впереди, так что готовься и жди, лишь бы жена не сунула носа, не узнала б куда летние деньги утекли, тьфу ты пропасть! но когда домашние спать легли, заперся в уборной и читал до утра, читал и курил сигарету за сигаретой, сидя в одинокой позе родена со спущенными штанами, утром сказал, что идет в контору, позавтракал, поцеловал жену, положил отечески глаз на сына и поехал на витебский вокзал, купил билет до пушкина, в электричке читать боялся, но когда сошел с местного автобуса у парка, скорым шагом бросился к кустам, окружавшим растреллиевский эрмитаж, нашел не очень сырую скамейку, снял газеты с книги (это был первый том так называемого «тюремного» издания — страниц 700 на библейской бумаге толщиной в евангелие не толще записной книжки) принялся читать, покрыв газетами скамейку, дождь пошел, октябрь «уж наступил», — заметил, что продрог и насквозь вымок, лишь когда листки разбухли до невозможности переворачивать, засунул в карман, встал, деревянно вернулся на лужайку к эрмитажу, уставился: в расковыранные руины вбита новенькая, как монета, что отпечатана в текущем году, железная доска: «памятник архитектуры середины XVIII века. охраняется государством», постоял, пытаюсь уловить смысл хотя набор геометрических значков, древесный язык друидов: разучился читать по-русски, не разбирая дороги двинулся дальше, оказался вблизи верхней ванны, увидел мутное зеркало пруда — зеркало плоско лежало у ног, потом встало стоймя, вошел в него, заметила старуха — закричала, забегала по берегу из готического прибрежного ресторанчика, появилась милиция в лице молоденького сержанта, но в воду не полезла, пришел пожарник из лица, стал долго и со вкусом стягивать сапог, неизвестно, как долго стягивал бы — но проходивший с девушкой под руку морской курсант спросил у милиционера что происходит, тот показал на воду, на старуху, девушка высвободила руку и сказала: «ни в коем случае», курсант посмотрел на нее, на воду, на старуху, в секунду разделся до трусов, через некоторое время утопленнику делали искусственное дыхание способом «изо-рта-в-рот», безуспешно — повозившись с полчаса, перенесли к Кухонным воротам парка, где ждала «скорая помощь», милиционер из ресторанчика принес курсанту стакан водки, дождь перестал, девушке стало дурно, и в голове у курсанта как-то сразу подозрительно потеплело: уж не подзалет ли? инженера положили в кузов машины, на носилки, врач сел рядом, девушка потеряла сознание — еще чего не хватало, возись тут — решено было отвезти ее в амбулаторию вместе с пострадавшим, опять закапал дождь, втроем подсадили ее в кабину к шоферу, на место врача, в дороге она медленно,

рывками, приходила в себя, туманно проплывали строение казачьего городка, ненужные египетские ворота, а в приемном покое дежурил как раз тот врач, который несколько месяцев назад явился невольным виновником обострения слуха у старухи гнедич, и они вошли туда как раз в тот момент, когда ему звонили из квартиры гнедич: потеря сознания, да, реанимационная бригада выслана, потеря пульса, долго все же она протянула, крепость организма родовая, что ли, дворянская — летальный исход? на теле не нашли никаких документов, только в боковом кармане — месиво листков карманного формата, участковым оказался человек начитанный: до него месиво квалифицировалось как «пришедшая в негодность записная книжка», он, во-первых, определил, что это типографская печатная продукция, во-вторых, разобрал в тексте несколько фамилий и названий, моментально соориентировался, какого сорта продукция, обостренное классовое чутье, вещь нынче редчайшая, так сказать, я милого узнаю по походке, позвонил куда надо, оттуда приехали, забрали одежду и ботинки, ходили смотреть, где произошло, через день жену инженера вызвали на литейный: не могли бы вы нам принести бумаги вашего мужа, и, кстати, не знаете ли, где он сам сейчас находится, ага, третьи сутки дома не ночевал? известно ли вам, что он регулярно распространял антисоветскую литературу, вот полюбуйте — это нашли на его теле! теле? — и началось, истерика, стакан, графин, валерьянка, нет в таком состоянии говорить невозможно, идите домой, подумайте, когда понадобится — вызовем, одну минутку — вот адрес морга, он утонул, но у нас есть подозрение... короче вызовем через некоторое время, а пока идите, и если бы она сама, добровольно и сознательно, не явилась на следующий день, не вытащила из сумочки пачку писем к мужу от разных людей, пару записных книжек и две общих тетради с какими-то конспектами (наследие курсов по повышению квалификации) — не вышло бы того, нашумевшего впоследствии дела, которое советовали характеризовать как один из несомненных и вопиющих фактов дальнейшего ужесточения режима, не были бы сорваны поставки суперэлектронной американской требухи, не освистали бы нашу делегацию, не потекло бы тухлое яйцо по лацкану посольского пиджака, не привели бы три пограничных округа в состояние боеготовности № 1, а остальные — в состояние № 2, не повысили бы цены на почту и телефон, мы бы теперь жили в мире, совершенно ином, чем нынешний — изобильном, прочном, свободном и т. д. ах, не получается: песчинки достаточно, двух записных книжек в клетку, чтобы колеса истории забуксовали и завернулись в обратную сторону, чтобы начала разворачиваться необратимая цепь событий — разве нам легче, что ударит она сначала по рукам, вытащившим на свет божий ее первое звено, что выпрут за либерализм первочинownika, давшего ход ее: пролистывая записные книжки, принесенные женой инженера, он обратил внимание на обилие фамилий неславянского происхождения, ну конечно же! она, она самая, самая древняя разведка в мире — жидомасонская всемирная сеть, — тут нужно

шепотом, шепотом, об этом вслух не говорят, они вездесущи, они всюду, они даже там — ТАМ! — качнулись маховики, дрогнули оси, ожили колеса, тронулась в путь по записной книжке утопленника известная машина — и замелькали версты, лица, кресты колоколен, коньки изб и горделивые помещицы крыши: еврея-лазерщика (его телефон значился под литерой «г») не объясняя причин уволили из полусекретной шараги, тогда он подал на выезд — отказ, тогда он организовал какой-то комитет по борьбе — тут же комитетчиков стали дергать, те ожесточились и призвали двух немцев со шведом для интервью — квартиру блокировала милиция, бывший лазерщик позвонил в нью-йорк и сказал все, что думает, обыскали и конфисковали все книги на иврите, в конгрессе голосовали за прекращение торговли с союзом, пока лазерщика не выпустят — набили морду в подъезде и убежали... прервем эту линию за ее очевидным финалом, другое: под литерой «т» обнаружен телефон и адрес полуподпольного поэта — с какой это, интересно, стати они общались — вызвали, но как раз подошли праздники, а девятого ноября хоронили инженера, никто из сослуживцев не явился — были только жена, сын, тетка из колпина и двое молодых людей, оперсотрудник заинтересовался, подошел проверить документы один врач-психиатр, второй... ага... почему вы не пришли по повестке? я не получил ее, хорошо, вот вам новая, придете завтра — пришел, конечно, тряхнули как следует и неожиданно для самого себя ляпнул, что «гулаг» когда-то читал, а кто вам дал? откуда вы его получили? дал один с болота, как его фамилия не помню, кажется он уехал в штаты, не помню фамилии, может быть, все-таки вспомните? это в ваших же интересах, нет никак не припомню, вы стихи пишете? немножко балуюсь так сказать, для поэта у вас никудышная память, да я и сам иногда замечаю: удивляюсь, на каком-нибудь дне рождения попросят прочесть что-нибудь — раскрою рот, а из головы все как вымело, и часто вы на днях рождения... пытаетесь читать? в том-то и фокус, что редко! я стараюсь никуда не ходить, знаете жена, дети, устаешь как собака, а в пушкин зачем вы ездили? к кому? зачем ездил?.. опять же стихи читать... или у вас это запрещено? так кому же все-таки вы читали ваши стихи в пушкине? что, по фамилиям называть? желательно и по фамилиям, не помню кому, многим, ну ладно, вы умный человек мы это знаем, однако сами посудите: память слабая, за свои действия не отвечаете — надо подлечиться, э нет, у меня справка есть, что психически здоров, пожалуйста — да вы крепкий орешек, бросьте прикидываться дурачком, мы ведь не собираемся предпринимать что-либо против вас лично, мы ищем преступников, а вы не хотите помочь нам — рад бы помочь, да вот ничего не знаю, нечего помогать! — и проговоривши таким образом часа три, отпустили поэта восвояси — он пришел домой, отчасти гордый, что не раскололся, отчасти чувствуя себя почему-то оплеванным, оскорбленным — чувство, впрочем, по определению присущее любому писателю — нечто похожее испытывал, помните, мелькнувший где-то в начале книги собеседник критика кожинова,

когда, доставая из портфеля новенький молодежный журнальчик, где наконец-то опубликовали его рассказ, написанный 15 лет тому назад, улавливал невысказанную иронию в небрежной, снисходительно-мягкой оценке бывших сотоварищей по непечатному перу — нечто похожее испытывал в отрочестве и сам Достоевский во время пытки чаем, да и позже, незадолго до смерти, когда среди ночи подымался в квартиру, расположенную этажом выше: я понимаю, молодой человек, возраст, темперамент, но внизу, под вами, живет старый больной писатель, а кто-то из шумной компании, узнавши автора «Бесов», кричал хозяину квартиры: да не обращайтесь внимания, одним пасквилом меньше будет! — отгороженность от мира других, душевная опухоль своей инакости, нет, надо что-то предпринять, что-то сделать: собрал в сетку дюжину западных изданий (каждое аккуратно и верноподданно обернуто в местную газетку, но слишком белая бумага с торцов недвусмысленно свидетельствует о нашем происхождении), в основном стихи: Гумилев, Жоржик Иванов, Иван Кленовский, Поплавский, Ходасевич, Елагин, Бродский, снял с полки Брюссельскую учебную «Библию», подержал в руках — 4000 страниц, развернутый комментарий к каждой главе, к каждому стиху — прикинул, поставил обратно, выстриг предисловие и комментарии (Струве, Филиппов) из Нью-Йоркского мандельштама, хотел разорвать, передумал и разрозненные листки с угла скрепил умной машинкой, сунул в сетку со стихами, из нижнего ящика стола извлек четыре заветных папки с беловиками своих стихов — черновики не жалко, черт с ними, пускай голову ломают! — и первой главой давно задуманного (руки никак не доходят закончить) монументального романа, в котором несомненно пока одно только название: ГНЕЗДО, что же дальше? дальше позвонил приятелю, тому самому, у него когда-то брал почитать первый том ГУЛАГА — не оказалось дома, а когда будет? он мне не докладывает, мать приятеля узнала его, потому так нелюбезна, они дружили еще со школы, и она считала, что поэт сбивает ее сына с пути, тянет в богему, в яму, а сейчас нужно иметь твердую профессию, надежный кусок хлеба, например, медицину — и пихла насильно в медицинский, пока не запихнула, он-то сам с детства ставил себя художником, держался демонически, на школьных вечерах плавки грозили лопнуть от внезапного избытка нерастратченных юношеских сил, позже, на третьем-четвертом курсе, стал на трех-четырёхлетних девочек смотреть с умилением, почти старческим, перед защитой диплома несколько раз сбегал из дому, жил у поэта, их родители перезванивались, разговор шел на повышенных тонах, будущего медика со скандалом возвращали в лоно семьи и призвания, его отец служил музыкантом в драмтеатре, мать называла блажью и бездельем все, так или иначе относящееся к искусству и вспоминала, как она скиталась с мужем-музыкантом, к тому же немцем, по городам эвакуации, как для него нигде не было музыкальной работы — ей приходилось работать самой — самой! — в госпиталях сначала санитаркой, потом бухгалтером, а в конце войны сестрой-хозяйкой, с тех пор она

благоговела перед людьми в белых халатах и со шлангами стетоскопа на шее, дипломированные врачи — вот люди, они всегда, в любой обстановке, почти начальство, особенно хирурги, эта врачебная аристократия — глупости! сын показал ей старый справочник практикующего врача, где говорилось, что в англии, например, хирурги входили в одну гильдию с цирюльниками, а не с врачами, им разрешалось делать операции лишь в присутствии дипломированного врача, и на все свои предписания испрашивать его согласия — ну, это когда было! теперь хирург — первая скрипка любой больницы, муж ее был трубач, духовик, что-то вроде врача-проктолога, дудка поганая, но сын хирургом не сделался, к сожалению, отцова кровь — он бессознательно избрал область медицины, близкую живописи и поэзии — неопределенную, с размытыми границами, целиком погруженную в вымышленную реальность, в космические и природные ритмы, в сбивчивую человеческую речь — защитив диплом, три обязательных года прослужил в горьком, в психушке — еле-еле удалось смотаться от казанской спецбольницы, вернулся, испытывая непреодолимую потребность жениться и родить дочку, с женитьбой не получилось — аспирантура, диссертация по худ. творчеству душевнобольных, проторчал год в гвинее, вернулся как бы убитым — продолжал встречаться только с поэтом — их разговоры и поездки в пушкин — последнее, что осталось от прежней жизни, ездили каждое воскресенье в электричке завязывался спор: поэт — что-нибудь рассказывал — сначала сплетни о прежних знакомых, потом сюжеты из ненаписанного романа, представляешь, я придумал такой ход: как бы начинается война между союзом и ираном, а тут грузия возьми и отделись, и у меня герой попадает как советский шпион в метехский замок, там грузины опять тюрьму сделали, с ним в одной камере сидит уголовник, за что сел-то? — за член, говорит, у него оказывается на члене вытатуировано «сталин» и надпись видна только, когда член встанет, а в обычное время синие точки какие-то, он еще ко всему педераст — в общественном сортире и арестовали, кто-то из педов побежал доносить, что? неправдоподобно? нормальный реальный случай, кто-то рассказал, только кажется, татуировка другая: «хрущев», между купчиным и шушарами психиатр переставал себя чувствовать медработником, наступало другое время, другая, прежняя жизнь возвращалась, до вечера бродили вдвоем по александровскому парку, полная осенняя свобода, говори о чем угодно, но о чем угодно не хотелось, политики не существовало вокруг, в париже — из конакри летели через париж — я купил несколько русских книг карманного формата, боялся, что на таможне будут шмонать, но тогда видимо, климат ненадолго помягчел — просочило, спас абрахамовский «золотой дали» — он теперь на герцена лежит, триста рублей, да знаю, еще третьего дня видел, ну я и говорю таможеннику: простите, я невежда в таких делах, мне книжку там подарили, можно ли пропустить? и если нельзя — оставьте себе, он так и схватил: нельзя, порнография, но в акт вносить не будем, зачем вам неприятности? действительно — зачем? а теперь ума не

приложу, куда этот мусор девать, вроде гулага, у тебя нет никого? да все кому нужен был как-то достали, нынче таких любителей не осталось, хоть в роман-газете издавай — никто и не почешется купить и прочесть, вообще читать ничего не хочется, надоела вся эта художественная литература, простая как правда, с литературным шорохом осыпаются листья, остатки бушевского великолепия, вот она вечность, красота всегда абсурдна, нелогична, и художник при ней — что-то наподобие наскоро, после пединститута подготовленного экскурсовода, тот же буш — жил себе, садовников дручил, с архитекторами собачился, указания свыше выслушивал, снявши шляпу — и что? — месяца два назад вон там, около дворца я своими ушами слышал: распинается тетка лет сорока из гэба, что, дескать, посмотрите налево, посмотрите направо, деревья вокруг пруда образуют гармоничную цветовую комбинацию, («композицию», наверное, хотела сказать), осенью разные периоды по-разному желтеют, а все вместе специально продумано и создано пейзажную картину, задумаемся, товарищи, кто же всю эту красоту создал? народ, наш простой талантливый народ, чудо все это для нас навека сотворил, безымянный русский зодчий — оранжерейщик буш — любуйтесь! — какая долгая осень в этом году, трудная, раньше я думал, что лишь весна в ленинграде бывает мучительной, нудной, ждешь чего-то, ждешь, а оно не случается, переламывается середина жизни, так ничего и не произошло — осень кругом, долгая осень високосного года, касьяна, вот пришел касьян людей косить и похоже, старуха гнедич этой осени не переживет, но она выглядит довольно бодро, хотя сил больше нет слушать вечные старческие разговоры о материальном бессмертии, у нее в знакомых физик появился, тоже стихи пишет, так он ей внушает насчет современной картины мира, считалось, говорит, что межзвездная пустота, пустое пространство между материальными частицами, является вакуумом, обладающим нулевой плотностью — лети себе в пустоте, никакого сопротивления, но теперь поль дирак обнаружил, что вакуум имеет отрицательную плотность — и выходит, ежели кто попадет в вакуум, то летит с нарастающей скоростью — пустота стремится вытолкнуть из себя материю, а ведь каждый человек излучает энергию, которая поглощается пустотой, невидимые тонкие излучения разгоняются и усиливаются над каждым человеком из пучков энергии, излучаемых им образуются гигантские астрально-космические двойники, то есть каждый человек отбрасывает в пустоту как бы свою необъятную тень, ничто наше не исчезает, но уносится от нас, чтобы существовать вечно и в невероятно увеличенном масштабе, только телесная смерть прекращает мичуринский рост астрального двойника, но для него уже тело — нечто лишнее, в нем уже достаточно энергии для самостоятельного существования, для саморазгона, чтобы достичь, наконец, состояния предельной скорости, когда пустота лопається — так образуются новые сгустки материи, звезды, снова наступает звездный час жизни, и вдруг она поверила, что именно так обстоят дела, как-то вдруг говорит: вы боитесь старости? ну как... не

знаю... не верьте, что старость — угасание, наоборот, я чувствую, как с возрастом во мне накапливается неизвестная энергия, как звездный свет, да она ухватилась за околонучный треп — не только она, перспектива исчезнуть бесследно, такая веселенькая перспектива заставит кого угодно, особенно литератора, поверить во что угодно, вот, я слышал, что илья сельвинский, этакая опоздавшая к пиру поэтическая знаменитость, в последние годы жизни завернулся на теории информации, говорит, если хотя бы одна миллиардная вероятности, что атомы, из которых состоит мое тело, снова вдруг окажутся сгруппированными в нынешнем, «моем» порядке, — то, стало быть, эта случайность является лучшей гарантией бессмертия, значит так оно и будет, потому что помертвая вечность предполагает как раз такой промежуток времени, в течение которого все может повториться, да и не один раз, а бесконечное множество, тут бесполезно что-либо возражать, бывает ведь такая уверенность, почище всякой веры, ничего не докажешь, перед тобой пациент, который уверен, что абсолютно здоров, а ты мучитель, тиран, кукла нанятая, я знаю только один случай обратный, чтобы для душевнобольного весь окружающий мир, в отличие от него самого был здоров и прекрасен, а вот сам он... сам он недостоин жить в совершенном мире, представь себе, весь человек состоит из чувства вины перед жизнью, я видел в горьком женщину, в клинике у меня лежала, поразительная история болезни: угодила туда еще в конце 50-х и безвылазно, а до этого жила в ленинграде, родители погибли в блокаду, эвакуация, детдом, после войны вернули в ленинград, знаешь — большое копотное здание в начале гагаринской, фурмановой, что ли? ага, фурмановой, на всех одинаковые фланелевые кофты, застиранные, с обломанными пуговицами и разметавшимися петлями, им каждый день повторялось: дети! вы должны, долг, — когда выросла, пошла на пивоваренный завод в механический цех, из детдома так и выпустили в большую жизнь: ядовито-зеленая фланелевая курточка, штопанная сатиновая юбка, еще весна была, скоро лето, осенью впервые стала мерзнуть, а просить в завкоме, чтобы дали ватник хотя бы в долг, — боялась: просить навсегда отучили в детдоме, там презирали просителей наравне с доносчиками, денег едва-едва хватало на еду — она работала ученицей доводчицы, самая тонкая токарная работа — ей предстояло не меньше года ходить в учениках за ученические гроши — простудилась только после ноябрьских праздников, вернувшись с демонстрации слегла в больницу, пришел страхделегат из цехкома, принес пару яблок и лимон — она заплакала, страхделегату стало не по себе, извини, тороплюсь, другие тоже болеют — ушел, пролежала больше месяца в тяжелейшей пневмонии, никаких, правда, осложнений — организм, что называется, молодой, крепкий, да вот с этой-то больницы, наверное, и началось: вышла, начала работать как сумасшедшая, оставалась после смены, на улицу выходить зябко, есть почти не хотелось, но приходится — к концу дня часов в девять слегка подташнивало, так дождала до зимы, а когда подошли холода, вообще туго стало — с

работы до общежития — девять трамвайных остановок — бегала, как десантники во враждебном городе, короткими перебежками от парадной до парадной, слава Богу, сплошь шли жилые дома, пробежав сто метров — озябнет, юрк в подъезд к печке или батарее, на разряд сдала только весной, и с первой настоящей полочки выкроила — не на пальто даже — на какую-то кургузую брезентовую «демократку» — в таких тогда вся левая италия и франция ходили, простые люди доброй воли, в нехолодное, разумеется, время, но оказалось, денег платят много, слишком много, все не истратить, да и зачем на себя-то тратить, у нее уже все есть, что надо — лучше этот остаток отдать другим, кому нужнее, стране, оплатить тот неоплатный долг, о котором иногда думала перед тем, как заснуть — так отдать этот долг, чтобы ненавязчиво было, незаметно, не выставляясь перед другими, тайком — и с каждой полочки 600—700 рублей, четыре пятах зарплата, вкладывала в конверт и отсылала ценным письмом в городской комитет ДОСААФ — вот где по-настоящему нужны ее деньги! чтобы мы сильнее становились, и каждый раз, когда почтовый штемпель тупо и скоро стучал по толстому конверту, и потом, когда в окошечко протягивали квитанцию, — будто тяжесть какая спадала с нее, тело делалось легким, воздушным, радость, бесконечная радость — только в книгах о такой радости и прочтешь, трудно поверить, что бывает на самом деле такая радость, ты бы вот на ее месте развел бодягу насчет самопожертвования, смысла жизни, еще какую-нибудь литературу, а она не думала о себе, потому и радость была ей по-настоящему в радость, что не принадлежала ей, и с какой старательностью, школьным девичьим почерком, выводила обратный вымышленный адрес и ФИО отправителя: вознесенская анна ильинична, особенно же нравилось имя-отчество сестры ленина, она даже немного гордилась своей способностью фантазировать, тут какая-то безотчетная связь времен, слабое прикосновение к святому и вечному — нет, не такими словами она думала, конечно — какими? затрудняюсь ответить, тут же действительно тайна не по нашим зубам, на заводе обратили внимание: держится особняком, но старается, перекрывает норму — сто восемьдесят — двести % — стахановка растет — вызвали в партком: молодец, повесим на доску почета, ты комсомолка? пора и в партию подавать, что? недостойна? ну знаешь, это не тебе самой решать, а коллективу, все бы у нас как ты работали — давно бы коммунизм построили, так что сегодня же сходи сфотографируйся 24 x 24, ретушь, пока сама заплати, деньги потом вернут в завкоме — и кстати, оденься понаряднее, не вздумай в этом сниматься, как не в чем? получаешь ведь не меньше мастера . . . странно, надо разобраться, недослушала, выбежала вон, всхлипывая, в тот же день подала заявление об уходе, в ней и прежде какой-то смутный стыд шевелился, когда в обратном адресе указывала «ленинград» — ей-то повезло, что живет в этом городе, а другим? сколько миллионов обделено счастьем смотреть по вечерам на неву, но что же она такого делает, чтобы оправдать право жить здесь, чем же она лучше тех, других? они

трудятся на полях, они плавят сталь и строят электростанции в таких ужасных условиях, в вагончиках и палатках живут, и почему именно она, а не они должны жить в ленинграде, почему никого из них не водили на экскурсию в эрмитаж, ни в этнографический музей, почему никто из них не пробегал по длинному Кировскому мосту, скашивая глаз на бегущие назад чугунные волны решетки? почему не гулял по воскресениям в летнем саду? не сворачивал на фонтанку, не пересекал Невский около кладовых коней? — почему? это несправедливо, дурно, она ленинградка недостойная — и в самом деле уехала под Горький, в город Дзержинск, по оргнабору в механический цех химкомбината, теперь уже оттуда — из-под Горького, Ленгоркому ДОСААФ начали приходить ценные письма с деньгами, конверты все толще, недоумение начальства, впрочем, легко разрешимое, проблема: по какой графе пускать деньги? выписали почетную грамоту с флагами всех родов войск на имя Вознесенской Анны Ильиничны за активное участие в сборе средств и т. д., отослали на довыстребования в Дзержинск — точного обратного адреса она не указала — просто номер почты, так могло бы продолжаться до ее смерти или до какого-нибудь внезапного, резкого исторического облома, рутина ежемесячного подвига, однако на некоторое время разнообразие внесла секретарша Предгоркома ДОСААФ, решив однажды (никакого дурного умысла, одно бескорыстное желание предотвратить очередной вопрос начальства: опять эти деньги? черт! ломай тут голову, куда их определить) — рискнув оставить конверт без входящего номера, взяла и сунула в сумочку, и три следующих года, каждое восемнадцатое число каждого месяца, сваливались на нее эти шальные, ставшие скоро привычно необходимыми в семейном бюджете деньги, и три года, каждый месяц, по тринадцатым числам, на главпочтамте Горького видели худенькую девочку, подростка лет 15-ти, вылитая Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой, а ей было уже к 30-ти — странное существо, подруг нет, на танцы и в кино не ходит, вкалывает как сумасшедшая, является обычно за полчаса до начала смены, всегда норовит задержаться в цехе и в конце дня, не надо уговаривать, чтобы оставалась сверхурочно и в выходные, когда горит план — странно, никакой общественной работы, ходит всегда в казенной спецодежде, говорят, даже белье месяцами не меняет, комбинация вся в дырках, семьи нет, а зарабатывает больше двух тысяч, пьет? никогда не видели пьяной, дали комнату, нет, говорит, я лучше в общежитии, как все, есть кому нужнее, непонятно, в первом отделе и заинтересовались, как только появился новенький начальник, из комсомольского призыва, из энергичных: запрос в Ленинград, ответ: детдом, потом работала там-то и там-то, характеристики хорошие, удивительно почему уехала? по своей воле питерскую прописку не теряют, что-то нечисто, проверить, родственники за границей? по-видимому нет, порочащие связи? не замечена, милиция? ни одного привода, органы запрашивать не стали — все-таки начальство, опросили соседок по комнате, выяснилось: получив большую получку, куда-то исчезает до позднего вечера,

куда? кто-то видел ее в горьком, на вокзале, садилась в автобус, идущий к центру, сошла у почты — на почте ее знали хорошо, конечно, помню, приходит такая раз в месяц, отправляет одно ценное письмо, трудно не запомнить — взгляд бегающий, подозрительный, вот копии квитанций: дрожащий дерганый почерк (от ровного ученического и следа не осталось — словно другой человек стала), адрес: ленинградский горком ДОСААФ, ага, запросили тамошних особистов — нет, ничего неизвестно . . . одну минутку, дзержинск? из дзержинска приходили ценные письма несколько лет назад, от . . . вознесенской анны ильиничны, что? плохо слышу, да так лучше, не та фамилия? совершенно верно, письма с деньгами, а фамилия не та, это было давно, как? последнее письмо в прошлом месяце? проверим — и потянулось разбирательство, вот копии квитанций, а кто расписывался в получении? секретаршу вызвали за железную дверь: кто расписывался в получении? кто?! пудрила покрасневший кончик носа, ногти впились в лакированную сумочку, после разговора убежала в уборную и плакала там, стоя перед мутным зеркалом, потом ее судили, восемь лет дали: крупное государственное хищение, а ту, в дзержинске — на обследование, все встало на свои места: ну, естественно, ненормальная, уперлась: нет, никаких денег не посылала, это не я, тут путаница, и та женщина ни в чем не виновата, я виновата одна, но, честное слово, в ленинград не посылала денег, вес 32 килограмма, истощение средней степени, когда я в горьком в первый раз вышел на дежурство, предупредили: периодически отказывается от пищи, не обращайтесь внимания, это не голодовка, она всегда такая распорядитесь кормить насильно, я ее осмотрел: почему вы отказываетесь есть? стыдно говорит, на дармовщину, я не заработала на еду, не могу объедать других кусок в горло не лезет,— ей было уже за сорок, когда меня в горький распределили, десять лет пролежала безвылазно, но с больницей так и не свыклась, в столовой прятала хлеб, картошку и вареную треску за пазуху, потом в коридорах и в палате пыталась раздавать чуть ли

Елена Шварц

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИХИ

Старость княгини Дашковой

Княгини Дашковой нет
В Академии на острове —
Она под старость лет
Уехала в Москву.

Кто крыс пожалеет?
Кто крыс пожалеет?
Ведь крыса — она
И не жнет и не сеет
И не красива собой.
Эй, крысы, бегите
Скорее
В тот дом на углу
Сначала по крыше, потом в трубу.
Но вы все равно опоздали —
Заступница ваша в гробу.
Поминки. На кухне судачат, судачат.
Никто, ну никто по ней не заплачет:
«С утра с поздравленьем крысенок к постели,
Он что-то ей пискнет, она ему тоже
И сахар ручкой белой
К его подносит роже.
Как сын-то ей помер
Без слез хоронила —
Бог дал, Бог и взял,
Судить, мол, не нам,
А Машенька, крыса, хвост прищемила
Так плачет и слуг целый день по мордам».

Темнеет сознание,
Лампада дымится,
Вольтер и Руссо
В далеких гробницах.
О старость — свобода
То делать, что хочешь.
О чем же ты плачешь?
Чего ты бормочешь?
«Или это — стенки гроба
Или это колыбель?
В черном вязаном платочке
Крыса надо мной теперь.
О милая! Как ты похожа
На бабушку — ты так нежна
И утешенья со слезами
Мешаешь так же, как она».

Качает крыса гроб опрятный
Касаясь бедных желтых плеч,
Слова ее непонятны
Как в детстве взрослая речь.
Дует шут в свою свистульку,
Доживи до той поры,
Когда ты свяжешь гроб и люльку
Причудливостью злой игры.

Распродажа библиотеки историка

Вот тот нагой, что там в углу сидит —
На нем чужой башмак с алмазной пряжкой —

Он бледен, жалок, не был знаменит
И жил он дома меньше, чем на Пряжке.

Это в веке чужом золотят стремена,
Так причудливо строят и крепко,
Но когда ты живешь — то в свои времена
И буденовка кажется кепкой.

Потому он ушел, он сошел по мосткам
Корешков — по хрустящим, оторванным — вниз —
К фижмам, к пахнущим уксусом слабым вискам,
Где для яда — крапленый сервиз.

Где масоны выводят в ночи цыплят
Из вареных вкрутую яиц,
Но их шепот так слаб, так прозрачен наряд,
Так безглазо сияние лиц!

С волной паломников он шел другое лето,
Кто темные воды их пьет?
За желтой и сухой гвоздикой Назарета
Дитя босое в сумерках бредет.

Он повсюду — в полях и трактирах искал
Полета отравленной шпаги,
Но бесплотное сердце клинок протыкал,
Только разум мутя и лишая отваги.

Лик человечества — не звук пустой.
Есть люди-уши, люди-ноздри, зубы.
В те дни он был небрит, весь в бороде густой,
Не то, что в наши дни — тончал и шел на убыль.

Все души с прочерью, как лес весной,
Но вот придет, светясь, Франциск Ассизский,
Чтоб мир прелестен стал, как одалиска,
Довольно и одной души, одной!

Но закрутилось колесо, срывая все одежды —
Повсюду легионы двойников,
Их не найти нет никакой надежды
Зарывшись в легионы дневников.

Идет, острижена, на плаху королева,
Но чтоб замкнулся этот круг —
Вперед затылком мчится дева
И смотрит пристально на юг,

Когда она подходит ближе,
Из-под корсета вынимая нож,
Хоть плещешься в ботинке с красной жижей,
Марат, ты в этот миг на короля похож.

Повсюду центр мира — страшный луч
В моем мизинце и в зрачке Сократа,
В трамвае, на луне, в разрыве мокрых туч
И в животе разорванном солдата.

Где в огненной розе поет Нерон
И перед зеркалом строит рожи,
Где в Луну Калигула так влюблен,
Что плачет и просит спуститься на ложе.

Где Клеопатра, ночной мотылек,
С россыпью звезд на крылах своих нежных,
Флот деревянный — магнит уволок,
Дикий, он тянет — что не железно.

Ах, он всех, он даже Петра любил,
Что Россию разрезал вдоль,
Черной икрой мужиков мостовые мостил,
Но душ не поймал их, вертких, как моль.

Ах, не он ли и Павлу валерьянку носил,
Просил — не ссылай хоть полками,
Но тот хрипел и тень поносил
И, как дитя, топотал ногами...

Он в комнате пустой — все унесли,
Его витраж разбили на осколки,
Пометы стерли, вынули иголку,
Что тень скрепляла с пустотой земли.

Но больше он любил в архивах находить,
Кого напрочь забыто имя —
При свете ярком странно так скрестить
Свои глаза с смеженными, слепыми,

Но благодарными, а сам он знал,
Что уж его наверно не вспомнят.
У входа, впрочем, душ един клубится вал,
А имена, как жребии, мы тянем.*

* Елена Шварц. Стороны света.— Л., 1989, с. 10—12.

В отставке
(Екатерина и Мамонов)

Идет гвардеец, как на битву.
Судьба дрожит, манит — Иди!
Шагает он, творя молитву,
И вот — мерцанье впереди.
Она! И третий глаз качнулся из рубина.
— Войди,— ему сказала Катерина.

Чрез десять лет, в задушенной малиной
Усадьбе, он зовет себя скотиной
И кроткую дубасит он жену
И вопиет, что любит он одну,
Кричит он в ночь безглазую, тоскую.
Ту мертвую, ту старую такую,
И юного себя, и царственный живот
И золотом ее струился пот,
Ее объятий медленную тину.
(Императрицу приобняв нагую,
Он ей признался — любит он другую,
И, побледнев, как новая перина,
— Женись — ему сказала Катерина.
Была на свадьбе крашеной павлина.)

Теперь казись, язвись же, дурачина.
Зрачок сиял — тяжелый, как держава,
И в униженьи оживала слава,
И, как страна, она внизу лежала,
Ее уж не скрывало одеяло —
Завивы вены, как изгиб реки,
Как рыбой полный серебристый Дон,
Урал пересекал ее ладонь,
Алмазные струились позвонки,
Торчали зубы острою короной.
Империя ли может быть влюбленной
И можно ли обнять страну,
Обнявши женщину одну?
И если мысленно продолжить
Ее раздвинутые ноги
(О ты — завершие равнин!)
То под одной пятой — Варшава,
А под другою — Сахалин.

Неугомонный истукан

Был ли когда столь уныл Петрополь?
Тополь серой шерстью исходит,
Падают дети в него, играя,
Как в холмы невесомые Рая.
В час — когда сумерки из-под земли сочатся,
Или мы сами, будто орех чернильный,
Растворяясь, ночь порождаем,
В час — как на мост далекий высокий
Ниткой янтарной скользнет трамвай,
Воздух пронзая в кровоподтеках,
Коим одет ты, мой мертвый рай.
В этот час, усыпив охрану,
Я пробираюсь сквозь темные залы —
В круглую комнату — кокон без окон,
Где мерцает лицо малярийное детское
Истукана одетого в платье немецкое.

Дергается восковая Персона,
С трона не встав и грудь растворяя:
— Нож возьми и достань скорее
Жизнь мою, как в яйце Кощея
Глеет она, душит и спать мешает —
Здесь она, где кончается шея.

Тусклое, влажное — будто дракона
Выводок в нем — я его достану,
Но посмею ль разбить о стену —
Закаменевшее — треснет крест-накрест —
Может, в нем задремал Антихрист?
Брызнет адское пламя?

— Разбей! Я успокоюсь скоро,
Вы по кусочкам этот город
В Эдем снесете на спине,
Он поплывет в высоком море —
Небесный Петербург теней.
Но он и так наполовину
Уже не здесь, уже он там,
А этот вянет, сохнет, стынет,
А тот — плывет по облакам.

Я тогда яйцо это в стену бросала —
Поутру поезда не нашли вокзала,
И рельсы в тумане кончились вдруг,
Где цвел и мерз Петербург.
(Деревья были мы и стали — уголь,
И отразили мы земли промерзший угол)

И бестелесных он заставит нас ишачить,
Как прежде муравьев-крестьян,
Рыть облака и небеса иначе,
Как шведов ангелов куда-то прогонять.
Как от Полтавы — от Венеры —
Зане они не нашей веры,
И корабли снастить и танцевать.

Что ж! Мостили небесные топи,
Наплавные мосты увели в океан,
Чтоб унес он свой город в пропасть,
Завернувши в зеленый кафтан.

1980

Достоевский и Плещеев
в Павловском парке
(фрагмент поэмы «Хьюмби»)

— Пора идти, мне надо в город.
Ну я пошел, пойду, иду.
— Я провожу вас.— Как угодно.
— Мы через парк здесь напрямиком.
— Мне нездоровится немного,
Припадок может вдруг случиться.
— Так заночуйте, ведь дорога...
— Нет, нет, мне надобно домой.
Через синий парк тревожный, вечеряющий, шуршащий.
Вот кузнечиком вдали показался Павел...
Обойдется, обойдется, мимо, мимо пронесется,
Может, в памятник ударит.
К этим сумеркам лиловым
Кровь подмешана лягавой,
Той, которую жестоко злой солдат трубой ударил.
Как она скулила, выла,
Бессильно плакал Павел.

Князь великий,
Горло, горло
Расширяется трубою —
Вот сейчас и я завою,
Или ангел воет мною?
Вот уж под руки схватили
Меня Павел и собака,
И зовут — Пойдем, писака,
Поплясать.

С ними трубы и лопаты, и корона, и порфира . . .

— Этот парк, он парк ужасный,

Здесь Конец ведь где-то мира?

— Да, вон там.

— Да, близко, близко.

Римских цезарей печальных жирный мрамор представляет.

Как пионы они дремлют,

Когда ночь повеет тенью,

В их пустых глазницах зренье

Туман вечерний обретает.

— Вот Нерон. Я был Нероном

И еще я буду, я буду.

— Вы не бредите ли, Федор?

— Да, как будто. Извините.

В голове немного . . . Одурь.—

Вот сейчас оно начнется.

Деревянными шагами он к скамейке.

— Федор, плохо?—

Ах, скамейка-зеленушка,

Твое тело деревянно,

Вдруг ты стала осиянна.

Он вцепился, задохнулся, мягко полуповалился.

И скамейка вся в припадке,

По морю плывет, вся в пене.

Ночной грозой расколот череп,

Молнии, ножи сверкают.

И ливень хлынул вдруг на мозг,

На скорчившийся, пестрый, голый,

Он расцветает, вырастает,

В нем небу тесно

И тюленем

Оно шевелится в мешке

Худом телесном.

Здесь — таинство.
Случается со всеми нами что-то в миг,
Когда надрывно эпилептик бьется.
К нам кто-то исподволь приник,
И нерожденный закричит, и мертвый тихо повернется.
Здесь операция, быть может,
И кто умело надрезает
И зелье едкое вливает?
Ужели я марионетка,
И мастер нитки подправляет?
Все под наркозом, под наркозом.
И сад из роз шумит, гиганты-розы.
(Я прислонился головой к стеблю
И лепестки высоко, так высоко)
Блаженство задувается, как свечка,
И он встает,
Тупой остриженной овечкой
К вокзалу шумному бредет.
(А боль и брага заперты в висках,
— Спасу кого могу от этой фляги —
Он будет убивать по голове
Всех тех, кого убьет — хоть на бумаге).
Фиалки запахом визжат
Ночные — о как жалки. Жалко.
Захлопнут череп, статуй ряд
Как лошадь под уздцы ведет аллею парка.
— Постойте, я вам воротник поправлю.
Вам, правда, лучше? Как я рад.—
И с плеч, шепча, сползает Павловск,
Как нашкодивший леопард.

Как Андрей Белый
чуть под трамвай не попал

Полежу ни о чем не думая,
Голову свою
Обниму,
Как отрубленную-ю.
Почему, почему
Вижу я
День осенний в Москве?

Видит ангел залетный с небес —
Некто к смерти бредет
(А еще не его черед),
Некто смерчеобразный,
У Покровских ворот,
Вот сейчас под трамвай,
Под холодный, звенящий
Трамвай
Попадет.

Почему? Почему вижу я
Тоже, будто с небес —
Захрипевший от страха трамвай
И фигурку внизу,
Что сверкнув,
Падает вверх и назад?

О козлиный прыжок! Долгий, долгий скачок!
Храм мелькнул перевернутый — Дорнах.
Альпы, Доктор, сияя, крутнулись шаром
И разбились в булыжниках черных.

Как простой акробат,
О почти, о почти —
Это сальто-мортале,
В быстрой мельнице крыльев
Колесо перевернутых ног,
Очищенья ожог.
Только руку сломал,
Облака напугал.
Ничего, заживется до смерти.
Поскорее к врачу,
Я потом заплачу,
Деньги дома забыл я, поверьте.
Руку нянчит — она ведь
Сейчас родилась,
Постовые извозчику машут.
Вот он едет, молчит
И неслышно скулит,
И колеса слегка подвывают.
На запятках его
Стоит существо —
Я не знаю, как звать,

Только крылья кольцом
Скрещены пред лицом,
Через глаза
Седока вылезают.
Или это лучи?
Трепет света и тьмы,
Нервность ночи?
Когда вдруг при луне,
Раскаленной луне,
Рыба воздух сжигает своим серебром,
Рвет губу и в прохладу уходит.

1985

Историческая шкатулка

В русском подполе, душном рае
Князья красивые такие —
Они совсем как горностаи
Или камня дорогие.
Из шкатулки их достану —
Из тьмы навозной, из алмазной —
Хотя бы Грозного,
Дьяка, приказных.
Я рассмотрю их, поверчу,
Булавкою пощечочу —
Какие куколки,
Марионетки!
Да были ли вы вправду,
Деточки?
Я постелю им шубку белую,
Насыплю жемчугу и пороху,
Дам мышь под хреном, каши гречневой,
Медового густого мороку.
Они пищат — да где Россея-то?
Она не нами ли засеяна?
Во тьму мы пали, чтоб росла.
Я их верну в ларец узорчатый,
Задерну полстью волчьей серою,
Как там темно, и как прекрасен
С клюкою царь (и неопасен),
Согнувшись маленькой химерою.

1985

Павел.

(Свидание венценосных родителей)

Три десятка и пара еще карет
Черных (по числу лет)
Лошади еще черней,
А еще чернее кавалеры
В черном бархате прямы и неподвижны
И везут на маленьких подушках
Ордена и орденские цепи.
Звезды по проспекту мчатся цугом.
В свете факелов мерцают только крупы,
Лошади скользнули друг за другом,
Будто рыбы под студеною водою,
Будто позвонки перебирают.
Это все на Невском и в России,
Или в позвоночнике у Павла,
В горле пузырями ходит речь,
И одно его желанье гложет —
Чтобы жертве и убийце вместе лечь
На подземном брачном вечном ложе.
Год за годом эту мысль копил,
Как медяк за медяком в заветной скрыне,
Чтобы выбросить вдруг четки лошадей
От Невы до Невской свят-пустыни.
Чтобы вырыть из земли нагие кости,
Эта погремущка был отец мне,
И к испачканной в крови припасть перчатке,
Чтобы с матушкой — убийцей вместе
В крепости зарыть под балдахином.
Вот фантом, что породил фантома —
Эта мысль на вороных конях
Протекает с медленной истомой,
Как мой сон в чужих глазах.
О зачем ты их свел? Свою пышную свежую мать
В склеп, где не ждет ее легкий гремящий отец?
Оправданий не нужно, и державу забыл-то как звать
Слишком давний Элизия скорбный жилец.

январь 1986

Г. Принцип и А. Соловьев
(Несколько немислей о теле террориста)

Любуясь солнцем сквозь стакан пивной,
Я вижу ясно — как приморским летом
Обутый гимназист и сатана босой
Стреляют медленно из пистолета.

И, как тянучка вылетает пуля,
От дула оторваться все не может,
И наконец — сей сгусток злобы, боли,
Со чмоканьем прижметя к нежной коже.

О Фердинанд, живи, я умоляю!
Из сердца роза алая всходила,
И осыпалась в небе для миллионов
Одним движением разрытая могила.

И замер где-нибудь немецкий пивовар,
И умер — хоть еще живой на вид.
Какой-нибудь пастух в деревне дальней
Пасет коров, не зная — что убит.

В извозчищем трактире хлопнет водки
(С утра уже прошел забытый год),
Сжимая жадно рукоятку револьвера,
Как руку мальчика слепец, она ведет

Через туман, на площадь, через весь
Метлой метущий город сонный,
Где наконец косая тень его
Столкнется с тенью ангела колонны.

Туда, где царь щас побежит, петляя,
А ты за ним — на миг такая власть.
За этот миг с разбегу умирая
Он прыгает в гноящуюся пасть.

«Кто дал вам револьвер? Не улыбайтесь!
Стрелять в царя — ведь это вам не шутки!
Я знаю все про вас — и даже то,
Что ночью были вы у проститутки».

Он отвечает что-то, он бормочет
Под нос себе бессвязно, сухо,
А государства ледяной алмаз
Уже провел черту от уха и до уха.

Рыба-то всплывет, конечно, вверх животом,
Но и сам рыбак попадает в сеть,
Террорист горит фитилем
Белой бомбы, что мечет смерть.

Его глаза к своим приставив, как бинокли,
Смерть смотрит или кто-то еще хуже,
И он шагает, легкий, чужая кровь,
Переплетеньем алых скользких кружев.

И выбран он ножом из тьмы ножей,
И если б я ему писала оду,
Сказала бы — он вправду всех острее,
Но не разделит он свободу с несвободой.

И, запахнув пальто, на площадь он ведет
Своих костей звенящие полки,
И видит царь — и дуло револьвера,
И Князя мира красные белки.

А он идет, а ветер говорит
Знакомую нечитаную повесть,
Что бомба в рукаве уже смердит,
И — знаешь? — смерть твоя уже не новость.

Сам террорист — орудие, а тело —
Орудие орудья — и во тьму
Спокойно он несет его и смело,
Чтоб бомбой кинуться к престолу Твоему.

март 1987

Вольная ода
философскому камню Петербурга
(с двумя отростками)

А. Кузнецовой

Почто, строитель многотрудный,
Построил ты сей город блудный,
Простудный, чудный, нудный, судный,
Как алхимический сосуд?
Смешал ты ром, и кровь, и камень,
Поднес к губам, но вдруг оставил
И кинулся в сей тигель сам.

Потом уж было не в новинку
И кинул каждый, как кровинку,
Жизнь свою в стиснутый простор
И каждый должен был у входа
Под зраком злобного мороза
Лизнуть топор.
И сотни языков упали
К твоим вокзалам и садам
И корчились, и щебетали
Грядущего ушам.

Я занялась игрой простецкой
И, может быть, немного детской,
Скажу тебе не по-турецки —
Где камень — клад.
Углем он гибнет в мгле подспудной,
Болотистой, багровой, рудной,
Пока мертвец.

Там, где убитый царь Распутин
В кафтане ярко-изумрудном
Грызет свой череп, а глазницы
Его задвижками закрыты,
За ними он — тот камень чудный,
Увядавший, сморщенный, разбитый.
Пройдусь вдоль милых я строений,
Вдоль долгих каменных растений,
Раздвину я бутоны их —
А там такие бродят тени,

И лепят бомбы, как дельмени,
И взрыва шум еще не стих.
Там поп, задушенный мозолистой рукой,
И кровь январская под Зимний
Течет и вертит, как ковчег.
Там Ксения, придя домой,
С босых ступней стряхает снег.

Что ж, долго я, как червь, лежал
И конь царев меня топтал,
Но голос Камня вдруг позвал
И вот я встал перед тобою
И от тебя не побежал.

Иди же, царь, в «дворец хрустальный»
С курсисткой стриженою пить,
Тебе меня не победить.
Я сердце подниму высоко
И выжму в тяжкий твой фиал,
Чтоб камень пил во тьме глубокой
И о себе пробормотал.

Для этого немного надо —
Вещицы мелкой или взгляда,
Совы, быть может, на углу,
Иль просто — чтобы силы ада
Крест начертили на снегу.

I

Растет, растет рассвет.
Заканчивая опус,
Я замечаю — что
Лечу давно уж в пропасть.

Сама ль оступилась,
Скользнула с краю,
Иль кто-то подкрался,
Толкнул — не знаю.

На главе моей тяжесть,
На тулове — сталь,

Лечу я, вращаясь,
Туда где — Грааль.

Унылых скал круженье,
Ущелье одиночества,
Но это не паденье,
А долгое паломничество.

Дома встают из тьмы,
Тяжелые, как башни,
В Святую землю мы
Летим и нам не страшно.

Рыцарь паденья
Каменных льдин
Перчатку творенья
Несет палладин.

2

Где может быть Камень

В глазу грифона,
В лапе сжатой льва-исполина,
В любви Сфинкса...
Вот идет человек,
Мозг его — пестрее павлина.
Вовсе ему не страшно,
Помнит себя и всех он,
Возьмет он и прыгнет с башни,
Исполняя судьбу ореха.

Петр Кожевников

ХУДОЖНИК

Полиэтиленовый мешок с яблоками он обозначил переходом от ничего к работе. Он ест сушеные фрукты, съест их и — начнет. Начнет ли? Но ведь что-то уже сделано и довольно много, хотя все это как-то так, точно начало, да и не начало, пожалуй, а подготовка к тому, чтобы начать.

Съест — и — начнет.

Большинство яблочных обрезков, превращенных в засохшие лепестки, имели на коже какие-то свои лишай и язвы, причем почти все куски попадались именно с кожей и только два, совершенно не стеснявшихся своего вида, огрызка. «Где же мякоть?» — подумалось ему, а еще пришло в голову то, что также и люди, подобные этим, казалось бы, несъедобным яблочкам, находят свое место в жизни, обретая совершенно безжизненную форму.

Конечно, я из тех, кто «делает вид». Да, именно так — делаю вид, что чего-то там изображаю, да и не изображаю, а совсем по-нищенски — могу. Симулирую потенцию. А есть ли? Что осталось, коли не испытываю давно тех мгновений, которые ловишь безрезультатно, отторгнутые к тому, что вызвало их — углу балкона, за которым пустырь дома с глазницами полыми, строящиеся (обратный порядок: от черепа, ослабившегося, к голове заселяемой), электричке, гул которой, приближение сулят тебе встречи неожиданные — с девушкой умершей: к ее окну прибежал ночью и суетился, зажав в ладони камушек: выходи!, ящеров из книг, любимых в детстве, существ по виду отнюдь не компанейских, но должных случиться сейчас вполне друзьями. И самое дивное, о чем нельзя говорить (но трепался, болтал же дурак!) — как летал, будучи птицей, но не только ей, а небом — красной беспредельностью над завалившимся солнцем — парил, зримый собою же черной неопределенностью, в которой, кажется, угадываешь контур.

Столько раз знал, ждал — жизнь оборвется: без участия моего, сама — такое должно наступить, потому что я — прожил, устал — болен. Было странно, когда стремление мое к здоровому уму, телу, больше телу, ибо оно та реальность, к которой можно (наконец-то!) прильнуть своим — телом, так вот — к телу стремился, веря, заряд его божественный и меня исцелит, но нет — было странно, когда жажда моя встречала нечто, еще более больное, чем все мое, весь я — было странно!

Ночи белые. Они — скоро. Неподготовленным к ним оказываюсь в этот год, как в прошлый, как — до него и — давно уже так — неподготовлен.

Сегодня потеряна форма и, забавно, само желание что-либо изобразить — потеряны даже слова, но почему-то вожу пером, чирикаю, упиваясь знанием того, что необходимость моя застать около себя вдруг, внезапно, кого-то, превратилась в иное, в то, что происходит, и — теряются слова.

Днем, возвращаясь от своих, ударил человека. Не слишком сильно, но и не расслабленно, а именно так, чтобы понять — могу.

На вокзале. Шел с электрички. Как всегда в таких случаях, заметил его издали: валун лица в оперении более плотного по серости колокола болоньи. Он шел, сталкивая встречных с их и своей траектории. Впереди пожилая чета. Протаранил. Я. Толчок во впадину между плечом и ключицей. Я — смещен. Двигается правым плечом (крылом своим) вперед — дальше. Выброшенный из ладьи своих странствий, останавливаюсь. Встречный читался вторым планом. Теперь, не занимая первый, своими действиями он пытался вызвать мои. Созерцая спину, я понял, что он вполне имеет в виду то, что могу его окликнуть. «Эй ты!» — «Чего?» — всей шириной плеч ко мне. Чем он занимался? Борьбой? Боксом? Тренер? Лет на десять старше. Чуть ниже. Возвратив секунды, я отчетливо увидел себя, удаляющегося. Захотелось окликнуть фигуру.

Какая-то речь. Моя и его. Угрожает. Мгновение, которое срывает предохранитель: знаю его, оно начинается, когда противник именно так смотрит — как? — не знаю — так без желания выстреливают детские ракетные установки, когда хранишь на них руку, перебирая детали, пока, невзначай, не спускаешь курок, что держит натянутую пружину: намерение ударить не возникло во мне, рука помимо разума вылетела снизу и сбоку по дуге через верх, сбила его, причем не сразу. Невычислимое время он стоял и даже смотрел на меня. Потом начал падать. Желавшие напасть первыми, руки дирижируют нечто-ничто, а сам (также «правым-вперед!») вращается, словно представляет тягучий материал, увлекаемый в воронку. Немая жалость — во мне. Молчу, когда тяжело подымается, словно он — другой, могущий, не задевая, пройти мимо, по частям собирает его — толкнувшего. Шатаюсь,

манит меня куда-то, где «разберемся». Иду, учитывая возможность атаки, мести. Сбоку кто-то: «Зря ты это сделал» — «А стариков сбивать?!» — я неровным голосом, все еще готовый бить.

Я не направился в метро, а, сбитый с пути происшествием, миновал каравай станции и зашагал, не имея цели. Так, блуждая, я забредаю в иные дни неизвестно куда.

Я шел с кем-то, впрочем, может быть, с самим собой, другим, который сопровождает порой меня в прогулках. Мы затерялись в каком-то безлюдье, где курсировали машины, повинуюсь вспышкам даже светофоров. Окружавшие здания со столь грязными стеклами, что видимость через них, очевидно, равнялась проницаемости стен, являлись, возможно, больницами, банями, тюрьмами, интернатами и всем прочим, что имеет один и тот же угнетающий психику вид. Безлюдность района не оживлялась, а подчеркивалась предположением, что в грохочущем транспорте запряты люди: мы каждый раз заново грустили по человечеству.

Проезд, как линия на погонах, делила черная двухмерность реки. Вода отражает небо — поднял я голову — небо оказалось неподражаемо голубым.

Мы свернули. Улицу пересекали параллели рельс, придавленные с двух сторон воротами. На каждую пару ворот у въезда прилепилась башня, в окне ее — голова, поделенная крестом рамы. Эта имитация жизни, такая же как и догадка о шоферах, напомнила пластмассовые куклы, приклеенные к детским игрушкам.

Одни из ворот оказались распахнутыми. Фигуры в них. Возятся около тележки. Вокруг катушки с кабелем, каменные глыбы. Ящики. По нашей стороне — стена. Решетки на ней с пиками. На одной из секций, где нет ограды, смазанные следы подметок — лезли.

На пути машина и трое. «Что здесь?» — «Боткинские бараки». Сзади — шум. Догоняют двое из тех, что управлялись с тележкой. На ней — мешки. «Освобождаем шкафы в раздевалке. Стекла на семьдесят рублей», — один с улыбкой. У него плохо с зубами.

Еще поворот. С каждым из них улицы все короче, будто движение наше — отсчет до нуля. Здесь в домах раскрыты окна. Каждое — рот. Все они, распахнутые, наполнены сажей непроницаемости. Никого.

Еще поворот и, проходя по совершенно малюсенькой улочке, упираемся в многолюдный проспект с очередями и компаниями на углах и возле парадных. Магазин. Хочется зайти, хотя не намечено никаких покупок (и всего пять копеек — на транспорт), кафе, в окнах их сидящие и смотрят вовне, на улицу: «Мы — здесь».

По проспекту — до площади. Теперь — к вокзалу. Там — метро. У перекрестка примыкает седой, пьяный, плотный в мятом черном костюме. Ему необходим гривенник. Не даем, продолжая движение. «Я вчера из лагеря освободился», — сообщает, указывая на чернильные узоры на руках своих и груди. «Я — тоже», — громким шепотом с придыханием. Поверит? «Мне до матери доехать, до Луги», — гладит мятлыми глазами, сам пока прикидывая, я сидел ли? «Небось на бутылку клянчишь?» — ему с улыбкой. Обижается. Чуть не плачет. Мы — идем. «Потому что мы с тобой одно и то же», — мне вдруг, обеими руками сгребает мою правую кисть и целует ее. Мы — идем. Мне непонятно, что это? Он говорит. Выпускает руку. Мы — в метро.

В проруби эскалатора — голос. Приглашает на работу. Вежлив и мягок он. Чешет за ухом. На финише спуска — дежурная. Еще лицо ее — светотень без линий, но ясна причастность к вещанию. Как бы она и декламирует в микрофон, хотя, бесспорно, не она, и это ей известно, и мне, но вот чувствую, как срывается она с голосом и тут же, за этим, прет вся ее жизнь, смертельно скучная — мне, не начавшаяся — для нее, вопреки (мы — близки — линии кромсают колобок лица) седине сквозь каштанную подколовку и негарантированному остатку существования в тайнописи морщин. Соскальзываю с рифлености эскалатора. Я — один.

В вагоне — безумная. Глаза ее воспалены, волосы вздыблены, одета неряшливо, на ногах — узлы вен. Замечаем друг друга. Мне понятно, что она — девочка маленькая и знает это, а теперь еще и то, что я — знаю. Восторг в глазах наших от встречи. Молчим, болтая. Куски жизни, года, столетия несутся мимо нас, а сами вращаемся в невесомости космоса. Она — безобразна, если оценивать ее как женщину, как объект. Она — потрясающа, она — ведьма, она владеет тем, чего лишены остальные пассажиры: им не услышать, не уловить нашей беседы. И еще. Она живая. Слоняется по вагону, переходя от одного сидения к другому, не теряет меня из виду. Следующая станция моя, когда приближается, но не садится рядом и даже не совсем близко подходит, будто нечто держит ее. Начинает бормотать. Слезы на глазах. Уже — рыдание. «Не дай вам Бог! Ой, Господи! Не дай Бог! Только не ходите... не ходите». — «Что? Что вы? Успокойтесь», — и, не в силах скрыть главного, тревожащего: «Что не дай Бог, куда не ходить?». Молчит. Замерла. Ужас в абрикосовых костях глаз, в которых — я. Что видит? Кого? Кто — я? Выхожу.

Сняв трубку, Леша встретил молчание, но, когда решил почти, что аппарат испорчен, тот заскулил. Он задался вопросом, с кем сейчас придется беседовать, но сигналы не прерывались чьим-либо голосом, так что возмож-

но было предположить, что телефон добивается связи с абонентом-учреждением. И в такое время (он оттянул рукав пиджака: двадцать тридцать шесть) большинство организаций — пусты. Беспокоило и то, что некто, вероятно, вот-вот снимет трубку, а Леша именно в тот момент, когда некто уже тянется к аппарату, положит. Несмотря на все это, трубку, безусловно, можно и положить, тогда, если снять ее через паузу, сигнал, очевидно, будет непрерывным. Но Леше представляется это нарушением чего-то незавершенного, и он продолжает фиксировать гудки. Наилучшим решением мыслится выяснение, с каким номером соединен телефон и чей это номер, но вряд ли в столь позднее время дают подобные справки. Может быть, просто не класть трубку? Тогда неизвестный (или группа их) на другом конце провода сам побеспокоится обо всем происходящем. И он, когда их разъединят, возможно, узнает этот номер телефона. Леша же его — нет. Никогда.

Подвал я сделаю глубоким — метра три. Да, пожалуй, глубже не надо. В нем размещу спортивный зал, склад красок, прочего художественного инвентаря, камеру хранения всяческих компотов, сиропов (будет сад!). Итак, три помещения: зал и две кладовые. Надо еще одно — для тайных утех. (Ты). Ты, Любовь! Единая во всех, несущих Тебя — мне! Еще ход секретный, подземный, тянущийся довольно далеко, к озеру, чтобы в скафандр и — нету.

Чудна постоянная планировка зала для тренировок — в подzemелье. Это — от недостатка средств, скованности в поступках и, увы, мыслях. Зал, безусловно, нужно разместить на первом этаже. Высота метров пять, площадь — тридцать: всевозможные снаряды, зеркала, подсветка. На первом этаже также: ванная (голубая эмаль, красный кафель, шампуни, в ней — Ты), естественно не та, что ставят в квартирах, а вмонтированная в пол, почти бассейн (где-то, Бог мой, все это есть и то, большее, на что неспособна моя социалистическая фантазия, подобная супу из пакетика, растертому в бесформенное, неживое).

На участке — пруд. Палки рогаза, шомполами проткнувшие гороховую сепию воды, под которой подразумевается нахождение почвы. Там же, наверняка, снуют какие-то твари, суетливая координация их должна походить на заполненные штрихом плоскости бумаги. Поплавками — лилии. Паровозиком — утки: детки за мамой, тревожа калейдоскоп ряски.

Мне не удастся продумать все от первого пункта — территории, до последнего — начала жизни в доме. Тороплюсь, перескакиваю. Думается, лучше всего построить замок или приобрести подходящий для моего существования. Так, чтобы в нем разместить все для комплекса бытия: наращивание физической и духовной базы, реализации творческой потенции. Недурно к тому же иметь и современный домишко, да еще конструкцию

в городе, но это уж суперсовременно. Сплошная автоматика, сверхфантастические удобства — дом. А еще — машину. Точнее — три. Шикарную, громоздкую: будет мять песок, плавно кружиться, выруливая по мощному дворику, слепя ночь. Вторую — самую модную, спортивную, отрывающую колеса от земли — такая скорость! Третью — для путешествий: фургончик, оборудованный для туризма. А еще собаку. Не одну — разных, хотя одну-то самую обожаемую. Это — эрдель — люблю их. Туркменские овчарки, бесспорно, самые мощные, бойцовые. Их — на вилле. В замке — доги. А, нет, соблазнительнее кого-нибудь хищного, к примеру, льва или — пантеру. Послушная, бесшумная, сливается с темнотой бесконечных коридоров. Чудо!

Стук в дверь. Надежда и страх в нем — кто? Надо обождать с открытием: недолго совсем, секунды, обманывая себя тем, что за этот интервал нежелательные визитеры отчаятся и уйдут, а те, кого ждешь — протомятся именно столько. Выдержав паузу, Леша отбрасывает крюк, фиксирующий дверь.

Аркаша неизменен: костюм, галстук, остроносые ботинки, зонт. Из всего — зонту внимание. Первоначальная ручка его — пластмассовая закорючка — сломалась, не успев, Леше, например, толком запомниться. Постоянно страшась неопределимых злых сил, облачающихся забияками-прохожими, контурами с красными повязками, Буков спроектировал и заказал столяру массивную лошадиную голову, призванную венчать зонтик. К обнове Аркаша выискивает фразу. Она произносится, когда Буков, зашторив веки, визирует зонтом пространство: «Не забалуешь!».

Аркаша бережет свое сожительство с оболочкой так же, как хранила бы, умея соображать, бабочка свои отношения с панцирем кокона, ведая, что суждено ей, его лишившись (обретя крылья), не только проморгать крылышками короткий век, но и служить мишенью для птичьих пород, и натуралистов, непогоды, что написано ей на роду жечь крылья о желанную лампочку и бесполезно переминаясь в затхлом гамаке паука.

Сохранение Буковым оболочки — самосохранение. Все в нем хрустит, подламывается, тает, лицо рулон газеты, ее поеденность шрифтом-червем, глаза (скажу — маки) — маки, их отчаяние алости, предельность — что завтра? последнее, что позволяет ему двигаться и разевать рот — оболочка, обманывая не только себя, других, но (вдруг?) саму жизнь.

Перед тем, как поздороваться, приятели производят традиционную неозвученную дуэль.

Буков (утвердительно): Будем пить.

Леша: Да ну к черту! Сколько можно? Что же это, всё?

Буков: Потом обсудим: только выпьем.

Леша: Нет. Я тебе объяснял.

Буков: Сколько у тебя?

Леша: Какое это имеет значение? (Пауза, во время которой Аркаша, подобно рефери на ринге или аукционеру на распродаже, считает, ожидая.)
Пятера.

Поздоровавшись, Буков проникает в мастерскую, но так, словно одной ногой, потому как быстро выскакивает на улицу и настигает магазин, где берет «что-нибудь злокачественное», теперь предусмотрительно забыв вторую ногу в мастерской, куда возвращается скоро, не обманув иллюзией своего отсутствия, похихикивает: «Взбодримся?».

— Ты знаешь, старик, у меня рос лук: я поместил несколько луковиц в форму из-под заливного, подложил марлю и периодически подливал воду. И все бы ничего, и ты убежден, не чувствуешь, какой ужас надвигается за моими словами, но вот представь себе, что лук рос, упругие трубки, зелень, борода корней, а я, знаешь, хватал скальпель, отсекал побеги и жрал их. А они — они снова росли.— Аркашин смех — вибрация ноздрей и верхней губы — так гудит он, не раскрывая рта. Что — лук, когда заботит его сейчас то, как раздобыть средств, чтобы как-то где-то достать выпить. Леша тоже непрочь, потому что, мнится, тоска лишь ком в горле — запей и провалится, но, представляется ему, что разжиться спиртным невысказанно.

— Старичок!— Вслед за обращением Буков затягивается, щурясь, и с мягким «ну-у-у» выпускает дым.— Ты хвастался, у тебя заначка на взнос? Давай до завтра. Сколько там? Треху наскоблишь?

— Да вроде того. А где возьмем?

— Были бы бабки. Пойдем поищем.

Они уходят.

— Аркаша, ты хоть и друг, но послушай.— Буков тарашится, словно отражая лешино безумие, дающее право не получать упрека за подобную фразу.— Тебе даже легче исповедоваться, чем лицу, хоть как-то пристрастному, потому что тебе настолько на все наплевать, что перед тобой теряешь всякий словесный стыд. Впрочем, тебе не то, что именно начихать, а просто для тебя чересчур сокращено разнообразие жизни, что в итоге одно и то же. Ты как лодка подводная, у которой из множества отсеков не затоплены несколько: ей и не всплыть, и не узнать, что наверху, и не сообщить о себе: тонем!— Аркаша манипулирует зонтом, не находя силы в средстве выражения мимикой того, как поражен он речью приятеля.— Так вот, коллега, поведаю тебе о ботиночках. Ты боишься одиночества? Да, что я?! В отсеке одиночество, плавают мебель, хотя, прости, одиночество, пожалуй, тонет

последним. С капитаном. Когда мы со своей старухой в очередной раз разбежались (я пил тогда лихо), она притаилась у своих, я — дома. Первые дни я поднимал бокалы за свое одиночество и его самое, единое, шевеля пальцами от восторга перед заваркой чая, жаркой яиц, закрыванием окон. Потом — тоска. Сновали мухи. Мало. Когда садились на пищу, я орал: «Убью!», махал рукой. Улыбался, — Аркаша молчит, словно время назад упустил возможность заговорить, точно пропустил ход, а теперь ему уже не вступить в игру и остается одно — слушать.

Сейчас они исчерпывают путь по набережной до моста, и вот уже перед ними Невский. На набережной народу вроде и вовсе нет, проспект, напротив, оживлен: так в лесу существуют тропинки, изобилующие муравьями, и другие, на взгляд ничуть не хуже, где один-два насекомых, встречая коих, убеждаешься, что они и ты — случайность.

— Хотя ожили все предметы, от этого не стало легче. Вещи — молчали. И как-то я придумал игру в кости. Бросаясь от холстов к рулонам обоев (оклеивать стены), раскапывая один из курганов барахла, я обнаружил с дюжину детских ботиночек: крохотных и разных — кожаных, матерчатых, зеленых, красных. Их я выстроил на половичке у входной двери. Мне мерещилось, что явится какая-то особа и, угадав, что меня посетили, улыбнется: «Гости?», а, прозвучав, слово превратится в факт: детишки будут куролесить в доме, но, знаешь, стало еще паршивее. Возвращаясь, я сам бормотал: «Гости?!» — а ведь никого не было. Обутки были моих сыновей.

Прятели замерли около витрины; в ней бесновались ломти стекла. Непривычность зрелища остановила их взгляды прежде, чем они сообразили, как в данной ситуации вести себя, и, пережив очень похожие мгновения, повернулись теперь, рассеянные, друг к другу.

— Я горбун, Аркаша, неповоротливый уродец. Уподобляет меня калеке не что иное, как мой талант, — начинает Леша тираду, но, ощутив неоткровенность в изъяснении столь важных вещей, задумывается, как достичь ее, в чем она? Почему когда, кажется, выложил всё, раскрыл все карты души, чувствует — соврал, хотя все — правда. А вот иногда мелет бессвязное и совсем не свое, как вдруг проговорился, выдал себя на пустяке, спохватывается — поздно. Он уподобляет откровенность подводному плаванию: так ведет себя собеседник — нырнул и нет его — это всерьез. Беседы с Буковым представляются обычным кролем: погрузилась рука, но, знаешь, появится, за ней — другая, так обе, сменяя друг друга, провоцируют возглас: «Скрылся!».

Туалет был не заперт, но закрыт уже, о чем горланила швабра, проткнувшая прямоугольник входа. Леша перешагнул древяно и кликнул Аркашу: тот сверлил зонтиком асфальт. Зашли. Та, что все-таки была женщиной, объяви-

да что-то, но вяло, не используя той сильной власти, которая дана человеку, когда он находится на рабочем месте. Привычно мочась, Леша ощутил на себе взор этого существа. Заметил также и то, что когда глаза туалетчицы, направлены на него, то, на самом деле, она на него не смотрит и, наоборот, расположившись к нему боком, видит всего. Лицо ее уподобилось фактуре дерева, точеной жуком, что напоминает чеканку. Крупные габариты же, именно головы, создавали монументальность, что в сравнении с мелким тельцем рождало подозрение, что голова не принадлежит телу, из которого вырастает, а собственность иного, отсутствующего.

Туалетчица начала что-то говорить. Из каких слов она строит речь, которую невозможно оказалось разделить на фразы, Леша не разбирал, но смысл его достиг — так под стук телетайпа и гомон телеграфисток выдавливается серпантин ленты: «Дайте денег — будет бутылка». Леша передал информацию Аркаше; тот не входил с туалетчицей в контакт, застыл в попытке ее рассмотреть, словно не человек перед ним, а дым сигареты, и неясно плавает в воздухе борода или нет ее, а когда почти уверен, чудится — есть. Опустошив карманы, они сложили деньги на малиновую ладонь туалетчицы: так высыпает человек мелочь на обшарпанную полочку аквариума телефона-автомата. Была еще речь, сообщавшая, что вино придется брать в ресторане, а им пока можно обождать в служебном помещении.

Помещение, как Леша уже сообразил, находилось между отделениями туалета, но вела из него еще третья дверь, куда — неизвестно. Это оказалось таинственно, это направило Лешу в детство, а детство сюда — во внутренности общественной уборной на углу Невского и Мойки, но он почувствовал, что они, он и детство, могут сегодня не дойти друг до друга, не дотянуться, как не мог соединить в детстве крепления железного стульчика с брезентовым сидением, почувствовал и — бабушка, наклоняющаяся к нему, когда спросил ее: «А мы уже жили, да?» и собака, его любимец-пудель, по мнению Леша, крокодилом подплывавший к нему во время их долгих купаний, и Люба, девочка из пионерлагеря: не вспомнить в каком году и отряде были, да и как-то недолго дружили, но вот запомнил — Люба — что-то должно было случиться, нечто совсем необычайное, да нет, не это! — непонятное даже сейчас, могло произойти тогда — могло, но почему-то не грянуло, хотя часто, когда вспоминает ее, неоформившуюся в девушку, нескладную, мальчишку, когда попадает вновь туда, в вольер, где жили горлицы и кролики, когда приближается к себе, стоящему против нее, сидящей: на плече — горлица, в руках — кролик... — это и многое, тоже детское, и после, отпрянуло, меняясь, обретая вид пугающий — оно ли? Так кирпичи настораживают.

когда привыкнув, вдруг видишь дыры, прямоугольные и сквозные, в них чернота.

За этим, через паузу, явилось еще одно, детское, потерявшее дату в хронологии жизни, но тоже — в лагере: играл с кем-то в теннис, что, собственно, самим теннисом можно ли назвать, поскольку вместо ракеток дощечки, вместо шарика — потрошенные кем-то сосновые шишки, солнце сквозь сосны. Товарищ учит подавать. Голос. Леша озирается. Ребята. Воспитатели. Никто не окликает больше. Кто звал? Улыбаются. С ним шутят?

В прохладной комнате-бытовке они встретили вторую туалетчицу, в чем удостоверял волчьего цвета халат, очень молоденькую, совсем девочку (Люба! Люба!). Речь ее понятна и вообще та, внимая которой, догадываешься: человек где-то учится: «Мы, собственно, не представились», — палец упер в плечо туалетчицы Буков. «Люба» — даже с улыбкой, будто возможно так кротко в этом подвале, но прохладна как вода, разъединившая себя с воздухом целлофаном льда. «Сидите, я пойду домой», — не спрашивая ни о чем, неплотно притворила дверь. Они услышали урчание струи, отрываемой шлангом — увидели ее, ступающую в чрезмерно больших (такими огромными в детстве представлялись Леше скороходы): резиновых сапогах, в луже, а шланг в ее руках — черный, лоснящийся, толще белых предплечий, выглядел одуряюще.

«Мама», — проник в комнату голосок, а за ним явилась девочка на пороге таинственной двери, в проеме которой молчали какие-то очертания, вялые от света малосвечовой лампы. «Мама», — громче и пересекает комнату, не реагируя на них, словно не относя к действительности таких, наверное, обычных здесь дядей, процарапалась в щель, оставленную в мужскую уборную, где туалетчица инструментом, состоящим из древка и резиновой лапши, зафиксированной проволокой, пробивает непроходимость нужников. «Поспала, доча?» — увлекая проволоку, вылезшую из сливного бачка, вниз. Проволоку венчает красный полиэтиленовый колпачок от винной бутылки, а Леше рисуется — кисточка, и не вода отвечает истерикой на движения туалетчицы, а торжественные шторы отбрасываются от многообещающего ложа, на которое падает, изнемогая, Люба — чистая, красивая, нагая. И чем нетерпеливее ее желание, тем медлительнее движение руки: так лучник не спешит натянуть тетиву, предвкушая молниеносный полет стрелы, частью которого становится он сам — лучник.

На лестнице, ведущей в подвал уборной — шаги. То же движение ног через мужской туалет и в комнату заходят женщина и мальчик. Хотя их двое, они создают впечатление количества гораздо большего, и, мало того, как бы тянут за собой еще каких-то людей.

«В ней было, конечно, в ней было . . . Из нее могло бы получиться», — глотает мысли Леша, глядя на пришедшую. Его, как всегда заново, удручает бездарность траты людьми своих сил, кажущихся безграничными, но на деле невосполняемыми для созидания своей личности, имеющей, быть может, предназначение, невыполнение которого, наверняка влечет, кроме всех неудач в жизни, какое-то непостижимое наказание.

С ней парень, бесспорно, годящийся в сыновья. Затянутый в ультрамарин школьный формы, опередивший физическим развитием возраст, он не растратил еще божественной силы, что дается человеку: это есть в нем, а еще — незагрубелость, свежесть даже, кожи, что в сочетании с бесконечно длинными конечностями демонстрирует избыток, именно ту неисчерпаемость, к которой припала пришедшая с ним, и если она пытается представиться бодрой, как старается расшевелить себя одолеваемый сном, то в нем присутствует та бодрость, которая, кажется, сейчас подымет в воздух, когда проснулся только, а уже свеж и прям. Если она лампочка, то он — напряжение сети, само электричество, рожденное мощью воды, и она, «пришедшая», постоянно проверяет это напряжение: как силачу необходимо шупать и любоваться мышцами, так она перемещает руку с бедра его к паху, а возвратив, впивается пальцами в колено. Как в зале тухнет свет, так он прикрывает глаза, отмеряя путь ее руки, раскрывает их вдруг, тогда Леше хочется сказать: «Ненормальный».

Она где-то учится и что-то ест. У нее есть или были родители. Как получилось, что она — здесь? Эта без возраста, без пола, напарница ее и, видимо, заправила всех тутошних дел, хотя, что ей может сниться? Какие у нее желания? Люба . . . Абсурд тянуть нить из детства в этот сортир: и не та, и ничего общего, впрочем, уже в том, что приходит мысль проследить что-то от того лета до теперешнего вечера — ночи, уже — смысл. Вдруг для того и явилась эта Люба, чтобы вспомнить мне ту, совсем непохожую (а ведь какая была? какой могла стать?) вспомнить себя и осознать, во что превратился . . . У нее удивленный взгляд. Ничего не знает? Можно ли в такой артели? С таким наставником? Или как раз можно, именно потому, что в данной компании, как с ядом — не действует, если чересчур много, как посреди болота: смрада и топи, на грани воды и воздуха — лилия. О чем думает? Чего хочет? Да ведь где-то учится — решил. А почему мы не

говорим? Или я так задумался? Нет, молчание. Аркаша — в сне. Ты — молчишь. (Ты. Она уже — Ты?) Гости. Где они? Дверь. Таинственный ход в неведомое. Они — там. Пойти? Посмотреть? Дракон? Он съел бы их. А может, и съел? Вдруг там комната для любви со всякими изощрениями? А если шайка? Убьют... Заговорить? У нее — дочка. Сама — Девочка. Почему думаю так, если — дочка? Думаю и не удивляюсь? Пьян?

Дверь в неизвестное помещение самостоятельно закрываться не умела и, открытая, манила. Леша поглядывал на нее, шарил глазами по щели, сосущей из помещения свет. Мягко повторяя корпусом углы косяка и двери, из неисследованных пределов выступила кошка, мурлыкая, виновато-беспечно (чтоб не обидели? полюбили?), коснулась зеленой медью глаз сидящих, и, втекая в пространство, отведя взгляд, но, сохраняя сидящих в поле зрения, заглянула в мужское отделение, где Люба, переговариваясь с дочкой, сбивала чавкающей струей с кафеля коричневую помаду. Люба выполняла обязанности, не задерживая взгляд на стенных росписях (надоели? безразличны?), точно их и вовсе не существовало.

Вначале она помнила их всех и добавляла нового, воскрешая впечатления, оказанные на нее каждым, причем впечатления эти совершенно менялись со временем: то, что ошарашивало, не вспоминалось с трепетом, и наоборот, совсем незаметное, деталь, прожигало. То, что она выглядела моложе своих лет, привлекало к ней мужчин, — знала это — и, порой, неопытные или пьяные, потея, они замирали: «Первый!». Чувствуя восторг их в движениях и взглядах, она усиливала его удивленным взглядом, как человека, в доме которого в отсутствии его все перевернули: «Что это?».

Она разделяла их на мужчин-зверей: требовательных, немногословных, рычащих, побаиваясь их, подобной учительской строгости, хотя знала, что с ними ее не ждет ничего непредвиденного; на мужчин-баб, те ждали чего-то от нее, но не понуждали, а томились, будто не ведали, что им надобно; на мужчин-детей, — они болтали без удержу, точно оттягивали то, за чем явились, а потом, вдруг, как, словно какую-то нелепость, быстро, нежно и совершенно обычно исполняли свое желание и, еще не начав одеваться, принимались болтать, болтать. К этим мужчинам-детям она относилась вначале зло, подозревая, что они пытаются своим поведением, как бы не замечая того, унижить ее, раздавить. Потом уже до нее дошли их неуверенность, внезапность того, чего сами ждут.

Она удивлялась себе, как вначале, после первых встреч, легко, даже с интересом и чем дальше, тем с большим азартом, искала новые неожиданности в своих встречах, которые чаще всего происходили за той таинствен-

ной дверью, столь впечатлившей Лешу. Постепенно, открывая цены тех форм радости, которые извела, узнавая стоимость своего тела и возраста, а еще стремления, но и презрения почему-то мужчин к некоторым, открытым ею вещам, она научилась упрямству и уклончивости во время безмолвных обычно торгах за то или иное удовольствие.

Ты нравишься мне. Я бы хотела... Да нет, не я, то есть я, но другая, которой уже почти нет, а теперешняя, которой больше гораздо во мне, целой — не хочется. Я бы сама подошла к тебе, стала на колени, склонила голову...

Загадочно молчащая, ты идешь, меня не замечая, и, кажется, чужда тебе суетность, хотя, знаю — такая же, как прочие, а прочие — как ты, но в бесчисленных отражениях, меня пленящих, ступаешь ты, загадочно молчащая.

Первая туалетчица все-таки вернулась, вбежала резво, а в запертую дверь уборной послышался оживленный стук. «Ну, сегодня будет!» — попыталась возразить речью. «А я тебе говорила!» — зная цену своей интуиции, молвила «пришедшая» и рука ее заторопилась по бедру школьника. Бутылка оказалась одна, что всех огорчило, направляя злость за удаляющимся словом «наценка». Леша кивнул Аркаше, что означало «нас кинули», тот приблизил плечи к ушам: «А ты чего ждал?». Первая туалетчица вышла с «пришедшей» в мужское отделение и, не подходя близко к входной двери, словно их могли достать через сантиметры дерева, они принялись пугать ломившихся милицией. «Сейчас телефон наберу — сразу приедут», — сурово проговорила «пришедшая». «А где у тебя телефон, в лохматке, что ли?» — отозвался голос задорно-устало: в нем не различалось ни желания дубасить в дверь, ни драться с возможными защитниками туалетчиц, а неосмысленное повиновение судьбе — именно сегодня, ровно в этот час барабанить в дверь общественной уборной, не имея возможности даже выразить потребность в такой необходимости отомкнуть ее как только: «Открывай!».

Отчаявшись успокоить неурочных посетителей, туалетчица и «пришедшая» возвращались, когда от местонахождения их по всему подвалу промчалось безутешное мычание и, пока никто не определил еще словесно, что это, словно все ждали повторения звуков для подтверждения своих выводов, «пришедшая» уже покашливала, обозначая смех: «Это я поднапряглась!».

Может быть, а кто знает, и наверняка, ему не стоило притрагиваться к принесенному. С него явно довольно. Дальше ждут только неприятные

ощущения. Он не сможет закрыть глаза (вот уже — не может!), потому что будет пугающе мутить. До чего завидует он подобным Аркаше: они в силах одолеть любое количество алкоголя, после чего беспечно завалиться спать до того времени, пока их порочный организм не потребует привести себя на исходные рубежи новой порции спиртного. Да, ему этого не дано. Он — мученик, и, хотя знает это, все равно пьет, значит тряпка и болван! (Так тебе!).

Первая туалетчица взглядывала на Лешу украдкой, улыбалась. Это — восторг и смущение — красивый! Короткий взгляд и она не несется даже, а молниеносно перемещается в очень далекое время — в детство, когда была такой же как все, равной, в том смысле, что все еще предстояло. Песочница у трехэтажного заводского дома, аккуратные игры ее, слова, которые произносила, каждое как-то подчеркнуто отдельно, с почтением, но и экономно, выдержанно, не поверишь, что та девочка (как звали ее?) сидит теперь здесь, упершись головой в ладони, локтями в колени, стопами на пол — она ли? (Глянь!) и воровски схватывает, давясь, изображение недолгого гостя.

Задумавшись, он находит себя в забытом парке, ставшем уже почти лесом, где сохранение следов парка создает тайну. Дорогу прерывает пруд, переходящий в болото. Можно проделать еще несколько шагов, сколько — неизвестно, потому что неясно, где под изумрудной травой захлюпает вода. Водоем отделяет Лешу от здания — не то дворца, не то церкви, что оказывается неопределимым в его фантазии, становясь попеременно тем и другим. Внешние стены здания в порядке в смысле ненарушения их целостности, внутренние же перегородки отсутствуют и дом представляется обманом: негде укрыться, неизвестно, что отвести под спальню, под кухню, если в нем — жить. Надписи на доме, выполненные в угле и краске, кажется ему, — сейчас прочтет — нет, не выходит. Внезапно в нем возбуждается желание самому изобразить что-нибудь на корпусе здания. Ему становятся смертельно понятны те, кто умудряется произвести самую дурацкую запись на кажущихся недоступными местах. Он ощущает их, видит, взглядевшись — одного, воплотившего всех, вскарабкивающегося, холодеющего — сорвусь! и не сам ли он, Леша, постигает этот путь?

Леша сидел рядом с первой туалетчицей, а она — рядом с ним, порядок же зависим от того, на ком мы хотим остановиться, так вот — Леша... Имея двумя опорами плоскость стола и восстановленный от нее перпендикуляр стены, жизнь туалетчиц играло зеркало, мутное и с пустотами в амальгаме, сквозь которые видна все та же волчьего цвета стена. Леша, не зная, в каком участке зеркала отражен, заглянул в него и не сразу понял, что встретился

не с собой, но до этого произошло следующее: взгляд его упал на унылую свеклу туалетчицы и, ожидая почему-то увидеть себя, он на какое-то время оказался абсолютно адекватен туалетнице, что пронзило его ужасом, когда вернулся в свою прежнюю оболочку и отыскал свое одуревшее лицо в ржавчине иллюзии.

Наконец-то я! Хотя как-то не сразу. Некоторое время чувствовал себя матерью, так же, как она, испугался чего-то и, чтоб не дать прочесть это на своем лице, засопел носом, его наморщив, что, показалось, еще больше выдало отвратительный страх и еще какую-то вдруг появившуюся неопределенность — кто я? — когда очутился вдруг отдельно от своего тела. Чтобы скрыть эти два неудобства, — насупился, вздохнул тяжело, исподлобья огляделся, словно совершил что-то неразрешенное, и теперь выясняя взглядом — заметили?

Вначале были: лицо, руки, голос. Это — мало. Человек дал жизнь слову. Теперь привычное «мама» — что в нем? И не оно ли дает жизнь человеку? Убрать его и что же? Что передо мной?

Как сразу ищущее слова здесь, в уборной, нарекая встречных «туалетчицами», «пришедшей», «гимназистом», чтобы обмануть себя, подменив неведомое, не имеющее времени, трафаретной сеткой слов. «Туалетчица» — и за ней множество других, виденных, а также уборщицы вообще, дворники, лужи, асфальт, резина, запах, стекла. «Пришедшая» — и налезая друг на друга, громоздясь, торговки пирожками и мороженым, какая-то женщина, когда-то зашедшая в вагон, где сидел я, другая, на берегу залива, загоравшая; еще — неясно, не подчиненное буквам. «Переросток» — и я сам, годами раньше, с женщиной, гораздо старше меня, так и неизвестной по имени: позвала с собой, не понял до последней минуты, что от меня потребуется (вот странно: знал об этом и, понятно, знал, зачем позвала, а в то же время — не знал) и испугался ее пьяной откровенности в комнате, где спал, как оказалось утром, и сын ее — тоже школьник. Я не смог, конечно, вести себя с ней, как этот парень, не в силах перебороть стеснительности, но до чего отчетливо чувствую себя — им.

Леша подумалось: «А почему бы не поселиться в этом сортире?». Причем желание его было обжить именно то, неизвестное помещение или ряд их, извергшее уже дочку туалетчицы, кормящую кошку (где-то там, Боже мой, и котятка!) и дважды поглотившее «пришедшую» с переростком. Действительно, он бы скромно обитал в подвале, встречал бы Любу после невозможной работы, да и первой туалетнице участливо кивал в ответ на ее безударное мямлянье.

— Не надо меня бояться.— Голос новый, старика, явившегося на пороге тайны хранящих пределов. Наверное, страшно ему, что говорит это — так лают собаки. Кто он? Как чудно! Первая туалетчица — просто ничто, пыль, а сколько нагородил он вокруг нее: что он, сумасшедший? Вторая — проста, как бумажный пакет — нет ни в ней, ни вокруг нее, ни где еще (хоть где-нибудь, Боже!) капли того, что мерещится ему. Откуда догадка, что знал ее, что она — не просто организм, а нечто сверхъестественное, нечто, следившее за ним всю его жизнь, могущее обрести иную форму?

Теперь — дед. Кеды без шнурков с материалом выцветшим, что делает их молодежными не только по назначению, но и по моде. Тренировочные брюки — двумя белесыми стручками, надавишь — зерна, так рельеф ног в них. Пиджак, под которым, видимо, одежды — никакой, потому что в щелях лацканов вздувшаяся резина тела. На пиджаке — награды. Блеск и позвякивание их — внезапность для гостей — как вести себя? Человек — герой в прошлом, другой — сейчас, видно это — пьяница и безумец, при чем тут остальные? Как обращаться к нему? Как обращаться с ним?

— Кто это?— касается Леша любимой руки.

— Дедушка.

— А что он?— жест рукой, просящий конкретности.

— Живет здесь.— В голосе нет желания удивить его. Та же краткость, с какой представилась им. («Как я люблю тебя! Мне хочется перецеловать тебя всю, даже эти грязные сапоги, просто умереть у тебя на глазах — что со мной?!»).

— А как он, родственник? Или вот, работает, может быть, сторожем, там?— Леше хочется ясности хоть в отношении дедушки: старик мочится, крихтя, совокупляться уж, конечно, не может, не пьет, а втягивает чай, по-стариковски жадно, словно пытаясь еще что-то получить от жизни; горящая спичка, укорачиваясь, не обжигает бесчувственных окончаний его пальцев.

Люба молчит. Или сказала что-нибудь. «Что?»— тянется к ней. Да, молчит. Ему все равно до конца не ясно, молчала она в то время, когда должна была сказать что-то, хочется спросить еще раз, но чувствует — не надо, такой вдруг сигнал: не повторять вопроса.

Дедушка время от времени признает: «А как?» или «Где-то, что-то». Леша настораживается, готовый услышать что-то, следующее за вступительными аккордами, но продолжение обесцвечивается молчанием — дед сопит, ерзает, кажется, засыпает, как вдруг: «А почему?»— это представляется Леше взведением курка у незаряженного на самом деле пистолета. «Бесплод-

ность», — косится Леша на старика. У того лукавые глаза, хотя лукавство их сродни тому, что начиняет таинственным смыслом морды забитых свиней, завершая весь их необъяснимый вид превосходства щелью полуулыбки. Леша вспоминает старуху, которую встречает в угловом магазине. Старуха после удара и шевелит только левой половиной своего организма, а неразговорчивым мудрецом (может ли произнести что-либо, кроме разного, впрочем, в интонациях «э — а») творит ее все та же свиная ухмылка.

То, что необходимо уйти, оформилось у Леша в слова после того, как проявилась некая сила, влекущая его из уборной, и оттого необходимость эта оказалась в прошедшем времени и было даже несколько приятно медлить, перекладывая слова и буквы ниспосланного решения, так можно медлить заткнуть кровоточащую рану, отчего-то вдруг затормозясь и находя наслаждение в созерцании раны.

Поскольку сегодня-вчерашняя игра окончилась, Аркаша оказывался больше ни к чему и Леша не стал будить увещанного слюнями коллегу. Первая туалетчица усталым голосом общалась с кем-то, доказывавшим свое существование только криками и вялыми ударами в дверь. Леша, щадя себя от встречи с мужскими особями по ту сторону, подошел к таинственной двери в неведомое, приблизил к ней ногу, потому что, как и все прочее здесь, она не была чиста, но даже любой предмет с надписью «стерильно» не вызвал бы в нём желание с ним контактировать в этом подвале. В детстве мать настолько запугала его всевозможными инфекциями, что он боялся на улице прикоснуться к предметам, притронувшись же к чему-либо, из чего наиболее страшными были поручни в транспорте, несколько дней переживал и как бы уже боролся с приставшей заразой.

Света хватало для угадывания очертаний предметов, что он заметил прежде, чем увидел переростка, лежащего, в общем-то, у входа. Оголенные части его тела воспринимались сейчас пустотами во всей фигуре. Он был освещен, и источник света двоился в его зрачках. И уже третьим этапом, хотя, казалось, все должно иметь обратную последовательность, Леша обнаружил «пришедшую» — она сидела рядом со школьником и получалось все так, словно мальчик и особенно «пришедшая», материализовались по его воле, подчинившей какое-то воспоминание.

Продвинувшись, Леша споткнулся, как догадался сразу, о веники: ими оказалась забита большая часть помещения, как понял он по шуршанию их, сползавших. В массе веников поблескивали ведра и, падая, веники кололи иглами веток цинк — был раздраженный звон жести.

Он уперся в дверь, нащупал ржавую (так шершава она) ручку, сквозь которую было продето топорщице. Вытаскивая его, Леша вспомнил, что так уже происходило в его жизни и, напрягая память, он продолжал освобождать для себя выход, распахнул дверь и вышел во двор, в левом конце которого расширился зрачок подворотни. Ощущение повторности исчезло, он очутился на набережной и теперь двигался, поглядывая на окна, будто ждал кого-то увидеть.

Впереди — фигура. Догнать, или сохранить темп, равный ее шагу? Лучше слегка ускорить ходьбу, провоцируя фигуру возможным опережением. Что она? Поравнявшись, можно взглянуть — характер взгляда, время его, определятся в те мгновения, когда окажусь почти на одной линии, и тогда же, после встречи глаз, станет ясно, как вести себя дальше: отстать ли, что явится выжиданием, шагать в ногу, что почти обяжет к общению, или набирать темп и дальше — до свидания!

Не догнав, но приблизившись, Леша определил идущую впереди фигуру. Лучше всего сбавить шаг, отстать, затеряться в одной из подворотен. Но поздно. Инерция влекла его, а также возможность того, что обернется и его увидит, чего ж прятаться? Как вести себя сейчас, когда настанет пора заговорить? Очевидно, предельно развязней, чтобы стать на одну ногу, чтобы внести ясность, о чем идет речь, хотя какие планы у фигуры? Те же? Он ляпнет, как штукатур пригоршню раствора, словно наугад, но зная, как размазать его, чтобы попало куда надо. Что-нибудь вроде: «Проветриться?», имея в виду, конечно, как и маляр — не оставляет на стене серый карбункул, совсем иное.

Он настагает. Тронуть за плечо? Надо ли? Да, все чувствует. Поворот головы. Улыбка. «Проветриться?» — спрашивает Люба.

— Кисанька моя, оранжерея (ему вспоминается теплица, мимо которой проезжал, когда жил дома, свет в ней за стеклами от белого до кругого медного купороса, растения, живущие в ней, упершие тыльные стороны листьев, подобно ладоням, в стекла, словно отодвигая от себя двухмиллиметровую близость зимней ночи. Запустив взгляд в оранжерею, ему мечталось оставить его там, надеясь приплюсовать к этой единице — взгляду — часть себя, вроде бы самую суть, а самому, остальному — бежать, бежать, бежать!). Сейчас ты — всё! Дай расцелую ручки твои, ножки. Нечистая? Ну и что?! Любимая моя! Ждал, как ждал! Ты ведь утетишь меня? Утетишь?

— Да, утешу, успокойся, тише. Что ты все кричишь? И дышишь так? Я же — здесь. Я сегодня какая-то новая, хотя столько уж прошла. Прости, говорю, ты же говоришь, и мне не хочется скрывать, такая я, да. Да ты знал.

правда ведь? Ну, чего молчишь? И, знаешь, будто что-то новое узнаю. В этом...

Она чувствует в нем и мужчину-зверя, и бабу, и ребенка: и говорит и ласкает, томится и требует, хочет. Каждый вздох — взмах крыльев и — полет, но видит себя на прежнем месте и снова — взмах. Поздно, непоправимо и поздно. Она — ничто, почему не тогда в белые ночи, в крепости, в больнице, как поняла потом — вонючей (теперь — привычный запах) и ведь не учится — врет. Да разве только это?! Парень прижал, а заманил, обещая показать вид на город неповторимый — поверила, а он обнял, дыша в шею и скреб руками, словно соскальзывал с такой же стены, над которой они боролись в тесном цилиндре больницы. Как был красив — вспомнила потом, как хотел ее — не ее — почти любую — тоже вспомнила, но всё могло образоваться потом, потом, после, а если бы и обманул, то она не винила бы, молясь на ошалелый взгляд, упершийся в сфантазированный вид города, небывалый, на волосы, пахнувшие паленым (листья, осень, дым), на скребущие неумелые руки — она бы молилась: и не он ли сейчас губами охотится за ее волосами, бормочет что-то сумасшедшее, а сколько нетерпения в звуке падающих вещей — отбрасывает, расшвыривает барахло — милый! Он, он! И не отпустит его — без него теперь — нельзя! Как все в нет то же, неужели бастион опрокинулся, потеряв из поля зрения неповторимый вид? Ты, ты это — ты! — кричу, плачу, и что же? — Предаю, предаю себя все то, что померещилось и дрожит сейчас, не зная о себе — есть ли? Пусть не останется мыслей, слов — одно падение мое. И, радуясь, кричу: «Прощай!».

— Милая, я говорю много, хотя всегда — молчу. Сегодня какой-то последний день. Не могу определить, какой, но важный, такие в календаре — красные. Ты не представляешь себе, сколько ждал я тебя, именно такую, как ты, замызанную туалетчицу, милую, трепанную, невинную, развратную — прости и не обижайся — я пьян, мне, может быть, завтра умереть, знаешь, это же внезапно и, хоть очень похоже на трепотню, кончается действием, когда, перед ним, кажется — знаю, задыхаешься, как сейчас безумствую перед твоим телом — восторг и возвратимость — всё! Я все вру, не слушай, это — не бред, а так, недержание, аукцион незавершенного, онанизм, хотя, видишь, люблю женщин, что доказал почти. Терпение. Ну, прости. Это, действительно, последнее. Завтра один свет — темнота.

Поцелуи — это землянички лесные, давящиеся о его лицо, шею, бедра... Как возвратиться оттуда, куда несет его вид ее тела, взгляд? Что за чудо в расстановке на свои места всего того, что почему-то именно сейчас крутится в черепе: правильное питание, исполнение плакатов по гражданс-

кой обороне, мама . . . дети. И почему болтает о том, что не подчинено словам, затем тараторит, словно оправдывается, ведь не совершил ничего?

— Ты знаешь, Люба, я чуть не откусил язык, когда открыл истину в грубых и будто бы искажающих естественные контуры линиях. Они — верны! И верны пропорции, утверждающие туловище к двум головам, а руки — к носу. Цвет. Два — это уже бездна открытий, теряющихся в непостижимости, когда можешь только ощутить, что оно, невыразимое, есть, так же, как муравей, обшаривая бесконечно малую часть поверхности гранитной глыбы, ощущает за ней присутствие невообразимо большего.

Наверняка не спит, а потчует меня обманом. Что ей, если изолгались и стены, и небо, и даже котлеты. Почему-то людей с похмелья стараются изобразить беспамятными. Не так. Писателям и прочим, наверное, странным кажется начать воспоминания пьяницы с самих событий. «Вчера я так нажрался, что вместе с грибами на зиму закатал в банку свою совесть!». Боятся изобразить некий отчет, поэтому разбегаются: «Что же я вчера натворил? Совесть? Где она?» — вот так. Я, например, совершенно отчетливо помню вчерашнее — безумный сортир и «старшую», и аркашин распад. Странно только, что он не возвратился в мастерскую, может быть, его увез бежевый слон? Бежевый слон — это сейчас, и пожалуй, ничего. Такое, вроде троянского коня — востимое, не без подвоха, в том плане, что с продолжением, раз «в толще веков», то есть юмором, ничего, мол, нечеловеческого, доставляем, отрезвляем — всё для вас. Цвет — вполне официальный, но не пугающий — не красный, не черный — нет в нем активности. А то, что слон — самое забавное — он же ведь уже наш слон, добродушный, с ушами-простынями и назвать его почему-то хочется Дружок или Шарик, а хобот какой — вещь серьезная, но тоже в основном для развлечения детишек — вот дядю Васю, служителя, водичкой полил из ведра, а очкарик и доволен, и щурится добро на питомца, а млекопитающий ему по копейке у посетителей с ладошек собирает и так нежно, осторожно.

Сейчас круг солнца с воткнутыми в него с двух сторон рыбами облаков напоминал компас, а по цвету оказывался похож на брошку: у лешиной матери была такая — рубин, окаймленный жемчужинками, и все это вставлено в золотую коронку, раскинувшую два изящных плечика. Замочек у брошки был неизменно сломан, хотя кто-то брался за ремонт, и — чинил. Но в исправности брошку Леша не помнил. Калечное украшение трудилось на семью: Леша видел его несколько недель в году, остальное время брошка гордо топырила плечики в ломбарде.

Он очутился в Крыму: так похож стал воздух, то же дрожание его и пыль в нем сладкая, а, главное, знание того, что так же, как годы вспять, зайдет сейчас в столовую и возьмет себе порцию творога, стакан кефира и кусок хлеба — худел, да и деньги...

Так же, как двенадцать лет назад, имея перед собой общепитовскую тарелку с морковью тертой и венчавшим ее глотком сметаны, орала и выла моя душа, разорвавшись вдруг от одиночества, а друг появился и предложил денег на обед — так же, постигая ступеньки — голос: «Может быть, останешься?» — и — вопль души, почему-то не умершей еще, крик от доли своей: «Один! Один!».

Друг рядом — ступеньки вниз. Дом. Он — может быть, со мной, если, может быть, то... Желание его быть где-то, где я, не зная воли Бога на печаль мою, на то, чтобы шел я до одра — один, один!

Поезд. То же безумие, что и в каждый праздник — во мне! Энергию всеобщую принимая, вот-вот перекалится мой рассудок, и забуду я день и имя свое, чувство грани безумия особенно остро в этот день, имеющей час, и час, имеющий минуту, последнюю минуту, секунду, мгновение! — Всё! Год кончился. И как хотелось мне куда-то, чтобы видеть кого-то, необходимого, так равнодушен я теперь ко всему, и, кажется, умер, но, нет, живу, дышу, и вижу, и (поверю ли?) хочу кого-то видеть. Но не сейчас.

Он чувствовал себя так, точно отоспался за все свои нелепые бессонные ночи. Шел и, чудилось, как давно — в детстве, взлетит. Знал, что не летал никогда, но мечталось, мог, и, начиная ворошить память, настораживался — «Не летал?». Леша сложился булавкой, упершись животом в грань перил и почувствовал себя полотенцем, почему-то махровым, перекинутым через гулкие перила балкона, крашенные, конечно, черной краской, халтурно, а потому местами сквозь нее — ржавчина. Вид представляется снизу, на балкон выходит, но он не успевает увидеть, как, только знает, молодая особа что-то такое производит и, даже, не столько желая обратить на себя внимание, сколько повинувшись вдруг приятному сигналу выйти. Потом в комнате, движение, а снизу, в пространстве, оставленном поеживающимся полотенцем — ноги: она ходит, а потом садится в кресло, которое рядом с балконной дверью (он не видит это, а знает), удобно (как ей мнится) устроившись, то есть наваясь на подлокотник, она закуривает. Дым. Поглядывает на потолок.

Отпрянув не резко, а полусонно от перил, Леша зашагал куда-то, где вскоре, должно быть, набережная соприкоснется с площадью (он это знает лет с пяти, просто дурачит самого себя), разъяв скрепленные на груди кисти,

он ныряет вместе с руками в карманы, где в правом пальцы приветливо встречаются с ключами, обожающими носиться наперегонки по проволочному кольцу: один, привычно входящий в свистящую скважину — от мастерской, второй — ригельный, по-сиротски оскалившийся, не нуждающийся в участии своего владельца, — от дома; левая рука, знающая коварство кармана, все же проваливается, чтобы не портить с ним отношений, в дыру. Художник замедляет шаги, зажмуривается и в нем (для нас), а вне его (для него) как-то вместе возникают изглоданные деревянные сваи, торчащие из кофейной воды на кладбищенской реке и замок (большой, настоящий, с тайнами и подвохами, и, что замечательно, его — лешин) где-то в горах, над которыми вспыхивает солнце (оно действительно вспыхивает совершенно внезапно, вспомните — не дожидаться, только радостная полоса, еще раз посмотрели — всё нет его, и вдруг — нате, горит, сияет, слепнешь!), а он прогуливается по каменным плитам, швыряет эхо шагов к высоким сводам, где свесились, испуганно покалывая его глазками, летучие мыши. Вслед за этими двумя картинками ему является чайник, найденный в шелесте чьих-то тетрадей и грусти брошенной мебели приговоренного к сносу дома: желтого металла чайник, очень неновый, который, если окружить его красными яблоками, уложенными на черную ткань, будет потрясающе корежить их отражение, рождая новую жизнь.

Клубника в пакете газетном. Тянешь носом. смотришь. Разной плотности цвет ягод, озорные дужки черенков. Вид ягод в пупырышках — рыцарский. Вспоминаешь наперсток, бабушку: платье, которое всегда длиннее спереди, чем сзади, что усиливает ее сутулость, хотя является всего лишь равным отражением, чулки цвета спелых желудей, такие же морщинистые на коленях, как овальные мордочки (коленки) желудей — осенью, что отмечал про себя «запас», туфли домашние, мягкие: серое поле с черной клеткой, что связывал почему-то с родиной ее, шепча: «Дания». Под туфлями — пол, половицы, каждую из них помнил. между ними — земля. блестящие чего-то, стекла.

Помыть ягоды? Или есть так? Мать пугала — нарочно ел немые — умру!

Ягоды похожи на нос мамин и бабушкин. Его? Нет. Пока без холмиков угрей.

Он, видимо, съест не всю клубнику, а часть ее и — начнет.

Всеволод Некрасов

27 ИЗ «37»*

Я помню чудное мгновенье
Невы державное течение

Люблю тебя Петра творенье

Кто написал стихотворенье

Я написал стихотворенье

* Эти стихи были опубликованы в ленинградском журнале «37» в 1978—1979 гг. тиражом 30 экземпляров. (В. Н.)

	Петербург	Петербург	
	Петроград	Петроград	
	Ленинград	Ленинград	
	правда		
И Мандельштам	и я так рад		
Мандельштам	все так рады	да брат Петроград	
		а брат Арбат-то	
И Пастернак	сразу раз раз раз	парадный подъезд	
Пастернак		не тот брат стал	
	паровоз паровоз	не свой теперь брат	
просто так	пароход пароход	не суй теперь нос	
Пастернак Мандельштам	телеграф		
	телефон	и все равно-с	
Спартак Динамо	футуризм футуризм		
	аппарат аппарат		
	переплет переплет	весь	
и даже так	бутерброт бутерброт		
	лабардан лабардан	ужас	
	водород кислород		
Мандельштам и Пастернак	шоколад мармелад	и все равно все равно-с	
Мейерхольд и Моссельпром			
	а народ-то		
	народ		
вот	авангард авангард		
парадный подъезд	кавардак кавардак		
— Ъ — ъ	парадокс парадокс		
	вот фрукт		
Санктъ			
Петербургъ	вот		
	продукт		
	сам		
твердый	объект		
знак			
Александр	сам		
Блок	субъект		

Город ровный
 Город водный
 Город

Город болотный

Колоссальный
 Капитальный
 Генеральный
 Легендарный
 Регулярный
 Параллельный

Перпендикулярный

Нет
 Не бесперспективный
 Да
 Небесперспективный
 Невский

а он все такой же
 главный
 самый главный
 известно

Главное и сам такой
 Весь как новый

Здравствуй
 Знакомый
 Здравствуй

Прямо
 Как настоящий

Знатный знатный
 Медный медный

Буржуазно дворянский
 Дворянско буржуазный

Строгий
 Стройный

Тихвинский

Бродский
 Бродский

Мой
 Московский
 Угол Новослободской

Трамвайный трамвайный	Детский
Трамвайный фонарный	детский детский
Фонарный квартирный	
Квартирный типичный	ну
Типичный кирпичный	
кирпичный копченый	детский
Изредка	
золоченый	«царский»
изредка золоченый	
	Детский
Тускловатый	снежный
	желтоватый
Оловянный	
	Зимний
вроде	
	и зимний и летний
как бы	
был деревянный	
	И Летний
До	
До	и летний и зимний
довоенный	
Да	папин и мамин
до	
досоветский	и папин
До-	
осто-	мамин
Достоевский	Пушкин
* * *	
Воля ваша	Огни Как бы
	какие там тогда
Страшноватая	
	могли быть огни)
все-таки наша страна	
	(Огни Большо Города
(Еще бы	
Белые ночи	Города Желтого Дьявола
Но еще	какие могут быть
И черные дни	города

да	Имени
и имена могут быть	Голода
именно	
какие угодно	Имени
	Холода
имени Желтого Дьявола	
-"- Максима Горького	Города
-"- Культуры и Отдыха	Имени Ленина)
-"- Кирова	Москва столица страны
-"- оперы и балета	а Ленинград была столица войны
-"- не одного	но война была ведь шагом где
так другого	везде война вроде
имени	Ну а в Ленинграде Нева
	Нева Сева
и	Нева по словам мамы

* * *

Уже заело	зловоние
Уже железно	Самославие
Заело	Мордодержавие
Йе йе	Народность
	Партийность
	Страсть
Ваше драгоценное	
Наше драгоценное	То есть
иррациональное	то есть ё —
И опять же	келеменепересете
то же самое всё	
	При всей его
добровольное	Красоте

* * *

Выход
 да здесь везде
 выход*
 в воздух

воздух есть воздух

есть
 воздух
 есть Господь Бог**
 как бы это сказать

это
 не должно повториться

повторяю

это
 не должно повториться
 повторяю

это
 не должно повториться

* выход здесь
 а только мы
 так отвыкли

выход здесь
 а где мы
 где вы

** а Господь Бог
 у нас здесь
 редкость

это
 не должно повториться

это
 не должно повториться

повторяю

* * *

О это О

О

О

О

О

Это поэт

Это понятно

А то и вовсе О

О

эта пОэзия
 ревОлюции

Ах что же это
 за пОэма экстОза

И О РОссия

Если так говорить

О РОссии
 и о пОэзии

и. о. поэзии

известный союз

пОэтизм
 с деспотизмом-с

Этого вот я и боюсь —
 если вы не боитесь

Живи уж так

А то хуже будет

Смотри
 А дальше так же пойдет

Какой-нибудь тогда внук
Правнук

Кандидат наук
Кожинов тоже такой
Некоторый
молодой человек
До того доживет
Пожалуй что
Про нас с тобой же

* * *

Пушкин-то

Уж и тут Пушкин
И тут Пушкин
И тут

Пушкин
И Ленин

Пушкин
И Сталин

Пушкин
И Холин

Так кто
Ваш любимый поэт

Пушкин
и Винни-Пух

И скажет

Еще так
— О Боже —
Скажет —
Какой был век
Ведь золотой же
Был век!

Это точно

к

п

р

с

т

ф

х

ц

ч

ш

щ

что

вы так испугались

речь

ночью

можно так сказать

речь

как она есть

иначе говоря

речь

чего она хочет

Гос-поди

Прости ты

Опять спасать Россию

Опять эти ужаси

— Спасай Россию

А потом

Спасайся кто может

А кто может спасти

Спасителей

Да от спасителей же

Кто может

Спасти

Было

сорок четыре храма

эх мы

от кого ж это

ты так пострадала

а

Кострома —

не от Костромы?

с другой стороны

Кострома

смотрится

и вообще

Нас тьмы

и тьмы и тьмы

и тьмы и тьмыитьмыть мыть и мыть

сволочь ты

что ты простой человек

этот номер вряд ли проскочит

постой чуточку

во всяком случае

уж если ты простой человек

то я уже

человек проще простого

может

и не везде это место

может именно как раз

в Костроме

дома

дрова

дома ладно

а ты смотри

гляди

слова-то какие

правдивые

тОрговые

ряды

***	собака лает	— Всеволод Николаич
собака лает	ветер носит*	— Всеволод Николаич
ветер носит	* страна зовет черт знает	— Всеволод Николаич
Всю ночь	как это она лает	

Можно только верить

Только верить

Он и верит

Верить он и верить

Верить он и верить

Верить он и верить

А потом

Шарах

Ах

Ах ах ах

ах

Ах ах

Все не так

Все наоборот

Шиворот навыворот

Задом наперед

Вот

Народ

Такой народ

Такой народ

Такой народ*

Верить значит

Значит верить

Верить значит верить

И обратно верить?

Верить

И обратно верить?

Верить

И обратно верить

Верить

И обратно верить

* Такой народ

Такой народ

Народный народный

а громадный

и уже весь сплошь

грамотный

(Только верить можно

только только верить

можно только в бога

да и то)

вот кто
виноваты

разговоры разговоры
интеллигенты интеллигенты
чемберлены чемберлены
разгильдяи разгильдяи
инциденты инциденты
эпизоды эпизоды
экземпляры экземпляры
элементы элементы
симулянты
спекулянты
белофинны
контрабандисты
конкуренты конкуренты
интуристы интуристы
менделисты органисты
формалисты
космополиты
мейерхольды мейерхольды
мандельштамы мандельштамы
буратины буратины
чебурашки чебурашки
интервенты интервенты
антиподы

оппоненты
супостаты
басурманы
виноваты
фантомасы
виноваты масоны

там где все-таки брат твой

Мандельштам тот же самый

где?

— Господи, ты от нас отстал
Господи, ты хоть статью-то читал
Гений
и какое понятие
ведял иметь об этом предмете
в Союзе и в Комитете
Господи читал нет?

я неграмотный

и как ты не понимаешь

каин

политически неграмотный я

Быть

Хоть каким-нибудь

Самый легкий путь

Каким-нибудь

Тогда ведь и будешь
 таким

деревенским городским международным женским
языческим еще есть какие кто так не может
может скажет еще чего кто знает не то слышал чего-
нибудь удивительное и с таким видом
почему бы не попробовать быть
античным вечным прямо сразу совсем классическим
можно сказать почти аттическим или уже византийским
не говори а еще лучше скажи дорическим это еще что
доисторическим арийским россистским может
может китайским сталинским пролетарским татарским
царским тартуским там ленинградским халдейским
мало того молодым молодогвардейским

да хоть каким

таким только ходким

Уж хочешь быть
Хоть уж будь

Не каким-нибудь

И не дай Бог

Не дай Бог

П.....м

ТАК

На трех китах

кит китом

Взаимно питается

И потом

Местами меняется

Так полагается

Это

Сексот

Сектант

И сексучка

во всяком случае

сексучая

революционность

как по всей по Тверце

как по всей по Тверце
отворятся церквикак по всей по Тверце
отворятся церквикак по всей по Тверце
отворятся церкви
и ответственные лица
переменятся в лице

Опять О

О красивый
Счастливый
Народный
Свободный
Великий
Могучий

в одну кучу

Хоть бы в будущем

там еще было кому
читать писать на нем
великом могучемВеликому
и могучемукороче чем могу
помогуХоть
помолчу лучшеА сказать
можетИ то
думаюУж как-нибудь я скажу
не хуже вашего по-русски

Даровая моя
Больница

Дорогая моя война

Моя
Больная мама

Идет война голодная

Большая яма
Больше чем я

Великая Отечественная
Война Иосифовна

Война ой воняла

Иосифовна
Родная страна

Я не думаю
Что я все это пройду
Снова

Даже если ты и скажешь мне
Слово

Даже если ты и скажешь мне
Слово
БАМ

Даже если ты и скажешь мне
Слово
БАМ

И амба

сады
солнце движется

все выше и выше
леса
из леса выйти если
травы
травы
сразу

и из травы
и Сестра

и сестра ее
Истра

все ниже и ниже
здесь
и сказала ель
свое
еловое слово

и непонятно
не то темно
не то не темно

на Замятино
не на Замятино

идти
нет
не идти

Льву Кропивницкому

выпустили свет
 на свежий воздух
 выпустили всех нас
 на свет
 наконец-таки
 сейчас только
 и поосвещаться
 это счастье
 это что сейчас*
 фонари горят
 смотри говорят
 все по лавочкам сидят
 и на лампочки глядят
 (пока по карточкам едят)
 освещаются
 и обещаются все
 не забывать
 счастье есть
 есть счастье есть
 вообще есть счастье
 вообще в Москве
 в электричестве
 и в сливочном масле

 и электричество
 увеличивается

и увеличивается

иллюминация
 администрация
 галлюцинация**
 Третьяковская галерея

не война
 вольно
 ноль часов
 ровно

бой часов
 спасай Россию
 не бойся

* до войны жили
 не удивительно
 вот а после войны
 сплошное было что
 спасибо большое
 совершенно
 небывалое что-то
 выдающееся
 достижение
 жить

** на почве эвакуации
 мне
 и сейчас тебе
 тебе еще
 счастье

* * *

в то же время
здесь
время-то прошло

здесь
сделалось весело

здесь
перестало быть страшно

чуть что
я сюда

еще и мама жива была

и желал бы
тебе я
быть всегда
и так сиять
как сияла

как бы то ни было

этого не доставало

стало быть

это же всё.

здесь

то есть где-то

это
я

света взвидел

Вообще конечно
наверно верно
тоже верно
конечно
не очень точно
но ничего
ничего
насколько скоро
насколько скользко
не так-то просто
как это ни странно
почти что чисто
довольно вольно
немножко можно
немножко больше
того что можно
может
еще немножко
а сколько можно
что ж тут можно
сказать

белеет парус
играют волны
сидим у моря
да ждем погоды
собака лает
когда-то будет
контора пишет
бумага терпит
чем черт не шутит
Лимонов скажет
а я молчит
пусть Пушкин пишет
Пушкин
все спишет
Денис Давыдов
Давид Самойлов

другим наука
отец солдатам

сосед соседа-
сестра таланта
(сестра таланта —
Мария Павловна
Чехова)
тебе и выборы
ни мяса ни рыбы
сказать неложно
забыть так скоро
отборный Бродский
роскошный Кушнер
кусочек Сочи
кусочек
неизвестно чего

Москва столица
зеница ока
рука владыка
сестра хозяйка
защита мира
долива пива
ума палата
машина Волга
газета Правда
кому что нужно
капуста лук
идет работа
одну минуту
тогда конечно
одна надежда
неизвестно на что

давай Бог ноги
отцы и дети
Агата Кристи
Барклай де Толли
фрегат Паллада
сказало злато
уже тлетворный

нерукотворный
чего же боле
простой советский
советско-русский
словарь
хоть стой хоть падай

Кашей бессмертный
слуга покорный
Голодный Бедный
Буденный Горький
большой ученый
великий кормчий
и гениальнейший
зодчий
проект проспекта
субъект со съезда
отсюда вывод

любимый город
веселый ветер
воздушный шарик
клюквенный кисель
друзья Белинский
и Баратынский
кого я вижу
впервые слышу
кого я вижу
прошу прощенья
прошу прощенья
вообще

нет уж пожалуйста
скажи спасибо
учи ученых
решайте смело

смотрите сами
глядя глазами
а не ушами
концы с концами
игра словами

только
не у нас с вами

хотите верьте
охотно верю

охота
пуще неволи
И вся Европа
И вся Европа
не по его
дурак директор
дикарь редактор
дурак редактор
дикарь директор
такой какой-то
другой бы спорил
а ну его
он такой какой-то
как я

а я-то думал
подумать только
пути и судьбы
навстречу жизни
сильнее смерти
за тех кто в море
за что боролись
всюду люди живут
по-моему тоже
как будто утро
такой же дождик
не то что дождик
а так
оно конечно
конечно лестно
конечно лестно бы
зайти в этот лес
берем березу
допустим кустик
туда дорога
туда обратно
а то и вовсе
покой и воля
едва ли воля

но такой
какой-то покой
оно и лучше
одно и то же
не то так это
уже неважно
немножко лучше
немножко хуже
живу и вижу
живу
неужто
это возможно
а что такого
пойти на убыль
а почему бы
и нет
не ваше дело

не вышло дышло
что-то вышло
но что
чего-то вышло
то и вышло
что вы
идет навстречу
пошел на пользу
идем на принцип
идешь на принцип
идем

давай не будем
потом мы помним
так тогда
и запишем
пиши пропало
ума хватало
потом квартира
утихомирила
не тут-то было

начнем сначала
сначала было

смешно
смешное место
смешного мало
вообще-то нет
ничего смешного
вообще-то нет
но иногда да
да я так думаю
а вы разве нет
как интересно
ужасно страшно

но совершенно
напрасно
привыкли к мысли
во вкусе Руси
с какой-то стати
на нервной почве
по крайней мере
покойной ночи
концерт окончен
молодой человек
не нынче завтра
какого черта
восьмого марта
какого надо
такого года
тогда
охота было
была такая
попытка лета
очередная
еще одна
и еще одна
зато мы дома
бывает хуже
живут же люди
ни ге ни бе
вздохнуть да охнуть
начать кончить
тихонько

чего-то вечно
чего-то нет
ничто не тошно
насколько точно
насчет того что
ничто не вечно
и в то же время
ничто не ново
все время время
теперь не время
все в свое время
такое чувство
такое чувство
что у
при чем тут это
и в самом деле
само-то самое-то
это дело-то
где
другое дело
готово дело
не в курсе дела
не в этом дело
не это важно
не тот Некрасов
не спорь с начальством
начать с того
не нас не станет
на фунт изюму
не кот наплакал
не вор не пойман
закон не писан
нет Кремль не дремлет
еще что скажешь
то и скажу
не верь не в Бога

скажи-ка дядя
и я так думал
засомневались
а то давай
пока погода
покуда лето

не передумало
а разве можно
и мы пахали
и плохо ли
Адис Аббеба
Одесса мама
свобода слова*
слава Богу

дошло
вышло
дождливо
ладно
неважно
слышишь
как дело пошло
шлеп шлеп шлеп
а что

такой же дождик
такой хороший
картошкин дождь

* (свобода слова —
измена Родине)

Виктор ЕРОФЕЕВ

РОМАН

(Рассказ в восьми главах)

1

— Да!— с жаром согласилась Лидия Ивановна.

— Нам не хватает не больше, не меньше, как эвка...

— Осторожно!— шепнула Лидия Ивановна.

Прошел Глинка.

Прошел Никитин.

Прошла Шурова-Потапова.

Прошли Удальцов и Нехлебов.

Пробежала Бондаренко. Она всегда вприпрыжку.

—... как эвкалиптовых рощ,— заключил Богаткин, иронически глядя сквозь очки вслед Бондаренко.

Прошел Кутузов.

За ним — Арутюнов, Харкевич и Жданов.

Бежала назад Бондаренко.

— Богаткин, не видели Усова?

— Он болен.

— Знал, когда заболеть!— злилась, убегая, Бондаренко.

Кутузов тоже воротился и задал несущественный вопрос.

— Цыплят по осени считают!— иронически ответил Богаткин.

— Вас погубит ваша ирония,— шепнула Лидия Ивановна, когда Кутузов отошел.

— Надоели они мне все,— шепнул ей в ответ Богаткин.

2

Будучи человеком военным муж Лидии Ивановны подполковник Сайтанов часто уезжал маневрировать и маневрировал нестерпимо долго, от менструации до менструации, так что Лидия Ивановна встречала его с отчаяньем в голосе: «Сегодня как назло нельзя!» и ни о чем не спрашивала, хотя по отороженным ушам или авоське с кокосовыми орехами, или по трофейной

вазочке из дивного хрусталя она смутно догадывалась... но ни о чем не расспрашивала.

Раз подполковник вернулся веселый, загорелый, с простреленной щекой. В кровати при свете ночника он показал Лидии Ивановне таинственный орден, одну часть которого полагается носить на шее, а другую — на животе.

3

Летом Москва катастрофически глупеет. Она становится глупее Тулы и Астрахани, и даже жены Богаткина Киры Васильевны, бабы совсем уже вздорной.

Кира Васильевна сказала своей школьной подруге, что член ее мужа похож на дирижабль. Но хорошо ли это или плохо, оскорбительно ли сравнение для Богаткина или оно оскорбительно для старомодного воздухоплавательного аппарата, которого теперь не встретишь ни в небе, ни в спущенном виде,— понять из ее слов было невозможно.

4

Исторической ошибкой Петра, обошедшейся России в миллионы человеческих жизней, явившейся причиной последующих неурядиц, неурожаев, мятежей и повального пьянства, нанесшей непоправимые удары по русской национальной физиономии (носы расквасились), считал Богаткин триумфальное покорение финских болот, отвратительное совокупление с фригидным Севером. Ну что ему стоило, этому императору, пройти, зажавши нос, по помету татарской степи и, выйдя к теплему морю, заложить там — назло голландцам — субтропическую столицу, утопающую в мандариновых садах, богатстве и творческой неге! Жаркое сердце столицы согрело бы Новгород и Кострому, Читу и белорусов, мордву и Сахалин. Но когда вместо сердца февральский сквозняк... э, да что там говорить!..

— Я, наверное, вас утомил разговором,— спохватился Богаткин.

Они сидели на уединенной скамейке в Парке культуры. Поодаль с воем проносились снаряды заграничных аттракционов.

— Ну что вы, Юрий Тарасович! Я вам признаюсь, что вы — самый умный человек из всех, кого я встретила в жизни.

— Я пригласил бы вас в кино,— сконфузился Богаткин,— но в кино хамство, дурацкие комментарии, спертый воздух, заплеванной пол. Билетов нет ни на сегодня, ни на завтра. Нужен блат, связи, наборы шоколадных конфет. С кафе то же самое...

— Тише!— вскрикнула Лидия Ивановна.

Непонятно откуда взявшись, мимо них прошли Арутюнов, Харкевич и Жданов. В воздухе пахло лещем и пивом.

— Засекли,— сказала Лидия Ивановна.

— Сволочи,— сказал Богаткин.

— Я сильнее, чем вы думаете,— посмотрела ему в глаза Лидия Ивановна.

— Я думаю о вас хорошо,— заверил ее Богаткин.

— Если бы вы вместо ваших очков носили пенсне, то, извините, вы бы были похожи — знаете, на кого?— На Чехова!

— Может быть, я и есть Чехов,— загадочно улыбнулся Юрий Тарасович.

5

— Есть колбаса, сыр, яйца, земляничное варенье, бутылка чачи... Да! Как я могла забыть!— лицо Лидии Ивановны исказил неподдельный ужас.— Есть кусок холодной телятины!

— Я вовсе не голоден,— мягко сказал Юрий Тарасович.— Вот если бы чайку...

— Чайник сейчас закипит. А к чаю? Земляничное варенье будете?— Страшная горечь отразилась на лице Лидии Ивановны:— Правда, оно прошлогоднее...

— Я не любитель сладкого.

— Тогда рюмочку чачи. Я тоже за компанию...

— Нет, лучше чаю.

— И чаю, и чачи... Она, правда...— судорога испуга пробежала по лицу Лидии Ивановны,— с запахом.

Богаткин сидит в мягком кресле. Вокруг чистота, цветы в горшках, горит люстра. И ни следа подполковника. Кажется, в общей сложности три комнаты.

— А может быть, вы — кофейник?— вдруг встрепенулась Лидия Ивановна.— То есть я имею в виду... люди делятся на чайников и кофейников.

— Я — чайник!— объявил Богаткин.

Лидия Ивановна поставила Моцарта. Пластинка шипела.

— Должна вам сказать,— сказала Лидия Ивановна, кусая губы,— что я — глубоко несчастный человек.

Богаткин понимающе закивал головой. Прошло минут пять. Он все кивал и кивал. Перестав, сказал почти с восхищением:

— Моя жена Кира Васильевна — фантастическая дура!

— Не надо, так, Юра,— сказала Лидия Ивановна.

Они помолчали, прислушиваясь к Моцарту.

— И все-таки в жизни есть Моцарт, цветы и даже...— Лидия Ивановна вдруг рассмеялась несчастным смехом.— представьте себе, *любовь*.

При слове *любовь* Богаткин встал, не зная, что делать с руками. Лидия Ивановна застонала и кинулась к Моцарту:

— Не те обороты!

6

Подполковник Сайтанов сидел в кресле, повесив на ручки кресла голые ноги, обутые в офицерские сапоги.

— Это же прямо слов таких не сыщешь!— трепетала перед ним совершенно голая Кира Васильевна, на шее которой болтался пышный лисий воротник с ослабившейся мордой.— Я даже теряюсь, с чем сравнить? с кабачком? торпедой? дирижаблем?

— Пусть будет дирижабль...— рассудил подполковник Сайтанов и ласково шлепнул Киру Васильевну дирижаблем по носу.

7

— Что???— вылупилась блеклая блондинка с черными корешками волос, приподнимая тяжелое сорокапятилетнее тело из горячей ванны.

— Иначе — не получится,— печально сказал Юрий Тарасович, сидя в ванне напротив нее.

— Ты соображаешь, что ты мне предлагаешь?!

Вода капала с обвислых сосков.

— Но иначе...

— Что значит и н а ч е? Ты сказал: т а м холодно. Ладно. Хотя, Юра, т а м, в постели, было тепло. Пошли сюда. Здесь Африка!!! Я первый раз в жизни сию с мужчиной в одной ванне. Ты сказал, что любишь меня...

— Сказал.

— Можно ли любить женщину, Юра, и предлагать ей т а к у ю вещь? Я не знаю, почему я тебя не волную... Мой муж, допустим, мужик и подонок, но я ничего подобного от него не слышала... Это же, Юра, пойми меня правильно — з в е р с т в о. Как ты мог такое предложить мне, Юра?

— Прости,— сказал Богаткин.

— И ты своей жене тоже *такое* предлагаешь?

— Предлагаю... Она сама просит,— честно ответил Богаткин.

Озадаченная, Лидия Ивановна снова погрузилась в воду.

— Чудовищно...— пробормотала она.— А мы всегда в темноте, совестся... Мой муж вообще человек стыдливый, на пляже стесняется перодеться. Ходит, ищет кусты погуще...

— Монах,— засмеялся Богаткин.

— Нет, в этом смысле он ч и с т ы й человек... Ты себе не представляешь, к а к ты меня унизил!

Она заплакала.

— Ты меня любишь?

Богаткин помедлил с ответом.

— Почему ты молчишь?

Богаткин молчал.

— Юра, ты меня любишь?

— Прости,— сказал Богаткин.— Я тебя не люблю.

Лидия Ивановна перестала плакать.

— Уходи. Немедленно,— сказала она мертвым голосом.

Богаткин с шумом встал из воды, пряча стыд в горсти, как детскую соску-пустышку.

8

Проскакал с песнею подполковник Сайтанов.

Прошел Федот Губернаторов, положительный персонаж моего романа.

Прошли Шверник и Шварцман.

Прошёл и Глинка. Коварный тип.

Промчалась Бондаренко. Метнула на ходу:

— Усова не видели?

Прошла Сайтанова с припухшими железами.

— Ну что, вставил ей?— спросил Арутюнов, все еще пахнувший лещем и пивом.

— Вставил,— сказал Богаткин.

— Ну и как?— поинтересовался миниатюрный Харкевич.

— Кричала,— сказал Богаткин.

— Это хорошо,— одобрил Арутюнов.

— А где ваш друг Жданов?— спросил Богаткин.

— Отравился,— ответили Харкевич и Арутюнов.

Прошел отравившийся Жданов.

Богаткин оглушительно чихнул.

«Любопытная вещь,— подумал Богаткин сморкаясь.— С виду Лидия Ивановна такая интеллигентная, такая деликатная женщина, а в жопе у нее растут густые черные волосы...»

— Парадокс,— прошептал Богаткин. Он был простужен и меланхоличен.

Июль 78 г.

ИГОРЬ БУРИХИН

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Пять стихотворений.*

У ЦЕРКВИ

1

Орфическое

Как церковь между домами
прячется, оставаясь на месте,
покуда петляю я по реке,

как мать, что повсюду с нами,
остаётся всегда в невесте,
да и все мы в Божьей руке,

как Дух из тоски по Деве
падает на адамову отрасль,
оставаясь Святым внутри,

так, верный себе, Господеви
припадает отрок! И образ
делится на два и на три.

* поются наподобие псалмов

Уже багровая луна,
как бы свалившаяся сверху,
оламывает от ствола
свою тяжестью ветку.

Зажав ладонями глаза,
отгаиваю их от боли.
Мороз, замешанный со зла,
фотографирует избою

глядящуюся в окна смерть.
Чего бы почитать из греков
под этот сумеречный смех
давящих на стекло гротесков.

В изекилевой ли ржи
колеса попадают в спицы
иль заторможенный: по лжи
не жить!— буксует Солженицын.

А конь выходит на узде,
покуда ты по ветру лаешь
да жизнью платишь по нужде,
да воду пьешь, да в дыру лазишь.

Вода ломает жернова.
И будь ты сильный или слабый,
но христианкой рождена
для этого ль душа? И самый

отечественный гуманизм
происхождения блатного,
проистекающий все из
противоречия благого,

ища отверзтия душой
для слова, что от века юно,
лишь отлетает от ушей.
Но через делание умно,

в страстях отслаивая Я,
мученье да скорбей не множит!
И церковь Божия моя
пускай хоть в этом мне поможет.

3

Христиане, солнце светит,
по углам гоняя зайца.
Травы блещут. Ветер вертит
философию хозяйства.
И по таинстве высококом
посылает снег на землю
и тебе махнет иссопом
по губам да по везенью,
чтоб текло да не пропало,
чтобы помнил, что прощен
в реках крови, кем попало —
только Духом не крещен!

Христиане, солнце светит,
хоть не так уже, как прежде.
И лукавый, ноги свесив,
неопознанный по плещи,
утверждается по правде.
Лишь в девичестве диакон,
вняв на проповедь во аде,
говорит ему: д и а в о л,—
в силу искренности. Поршень,
разбиваясь о Христа,
детонирует о горшем,
чем несение креста!

Христиане, солнце светит,
растворяясь во вселенной.
Мы не знаем, что нас встретит
за соборною сиреной.
Ради Матери священник,
в чем довольно мало детства,
изощренным остращеньем
проповедует младенца.
Христиане, пойте Бога

через смертное ничто.
Здесь же бойтесь только, чтобы
там не встретил вас Никто!

4

Начало упирается в конец,
как блудный сын в знакомые ворота.
Кому охота отдавать венец,
убив царя. И такова порода

вообще людей. Одни стяжают Дух.
Другие чем-то жертвуют Отчизне.
Ночь происходит в диалоге двух.
А Троица — для продолженья жизни.

Никто не верит просто в чудеса,
в грехопаденьи протирая вещьность.
Творенья мира длится полчаса.
Итогом — смерть. И под чертою — вечность.

Таков исход, которого боюсь.
Россия ждет рассеяния. В короне
Иерусалима загнивает Русь.
Рабы наук пророчествам покорней.

И возвращаясь магией Руси
к огнепоклонству, и за все в ответе,
мы повторяем: свят, свят, свят еси —
да будет взрыв! И будем мы как дети.

С минувшим веком снова не в ладу
мы жаждем жизни будущего века.
Трепещет тварь, а мы горим в аду.
И Божий страх есть страх за человека.

Так выпив жидкость бытия на вес,
теперь мы чаем воскресенья мертвых!
В конце концов, желанье Бога есть
желанье Бога,— и свобода смертных.

Под снегом ничего не спрячешь.
И в теле не остудишь кровь.
В святой ночи я слышал голос прачек,
святой смывающих покров
с земли, которая перстов
не утаила. Ибо плачешь,
крестясь, и в оттепель отсель
видны береза или ель.

Так я на Рождестве Христовом,
бежавши в храм, долбил мозги,
утробу, плечи, дабы словом
питаться вышним и ни зги
не видеть, кроме той звезды,
которой, будто арестован,
кто не раскаялся — не съест.
Так выдал и меня мой крест.

И ополчаясь со двора
цветными волнами на судно
дымящей церкви и дрова
считая, что пошли на скудно
там отзвучавшие слова,
земля течет. И все абсурдно
и суетно внутри жилья.
Абсурдно, ибо верю я.

И все же, Господи, я вот.
Под оттепель крещу подробно
мой выдающийся живот
— и медный лоб, и место лобно —
в земле, что Обрезанья ждет.
И церковь облаком плывет,
что даже неправдоподобно.
Пусти ж мя в исповедь, пусти!
И если хочешь, причасти.

Псков. Порхов. Подклинье.
Январь 76.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕМОН

Демон, кто в прихотях зла,
по любви к мирскому.

Баллада*

Пока летаешь по земле
да ищешь силою вовне,
куда бы возвратиться мне,
привыкшему к жилищам бранным,
и в теле, как на поле бранном,
витаешь звуком, паки данным
быть может всех ничтожней в нас
духовных сил (не пробил час
и целым делается часть,
связующая с мирозданьем!),

аз одиночеством томим
и чудом от всего таим,
что делать с будущим моим.

1

Опять кончается зима.
И начинается весна.
И требуется новизна,
утраченная было в женском,
чтоб в этом делании земском
ещё неведомым блаженством
перебеситься, потому
что приближается уму
непостижимое ему,
но обеспеченное жестом
одно виденье. Ибо свет
во сне все тот же светит свет.
А в этом утешенья нет.

* на мотив с элементами церковного пения и речитатива

Метель весомее, чем твердь.
Не начинается четверг.
И Церковь, очевидно, сверх
того, чем выплеснулась бездна.
И что в Ней выпренно и бедно,
на небе прыгает победно,
покуда высится январь
и оглашается февраль,
выстраивая календарь.
И устремляется обедня
к посту. И тает под метель,
усиленную от смертей.
И делается все светлей.

А в храме тесно и пестро,
аки пустынно в метро.
Иначе кажется мертво
само дыхание, что в теле
не хвалит Господа на деле
со стадом посреди недели,
с которым призван ты постись.
А в одиночку не спастись.
И сколько тут уж не постись,
вдруг обретаешься на деве,
молясь, не закрывая глаз,
о том, чтоб не в последний раз
«сегодня я увидел Вас»!

2

Пусть видно птицу по перу.
Спасаться велено в миру.
Уснув, я, может быть, умру.
Пускай звучит слепая флейта
на половинчатого фрейда —
последополуденная лепта,
которую получит пан
и у христовых панславян,
как цезарь мира, где, словам
ответствуя лишь мимолетно,
твои интимные черты
невероятнее, чем ты —
у Богоматери чисты!

И приникая к красоте,
как привыкают к высоте,
к пареню тела в пустоте,
ужаленный стрелой дрожи
в утробу, и секундой позже
досадуя на эти дрожжи,
вздымающие плоть на плоть,
я чувствую любовный плод
и даже постигаю под
свободой воли искру Божью!
И небо значит, что не Бог,
Который, может быть, любовь,
а может — и Ничто Из Слов.

Зачем же ты стремишься в дом —
обосноваться ни на чем,
где третий служит лишь мечом.
Почти что золотою рыбкой
она скрывается под юбкой
с загадочной своей улыбкой.
И скачет всадник до суда.
И это, видимо, судьба —
выпрыгивая из себя,
в тебя вторгаешься улиткой.
Ах, рыцарь бедный и поэт!
Наверное, что смерти нет.
И все же суета — сует.

3

Кончается двадцатый век.
Зачем-то нужен человек,
записанный на черновик,
чтобы явиться с ним на Страшный
последний суд и самый страстный
разрушить храм. И лишь прекрасный
останется какой-то звук
от тела брэнна, что без мук
не может, якобы без рук,
и дышит прелестью напрасной.
Поскольку и родитель пел
при созидании наших тел.
А после и Господь терпел.

Придется с веком наравне,
как в просвещении и мне
стоять пред Господом — и не
досадуя, что о России
судить возможно лишь по силе,
с которою она по сыне
беспамятствует, чтобы в пра,
как в право, славии с одра
— удвоенным: пора, пора —
ответить по его кончине,
в котором из московских царств
и некоторых государств
последнюю нам силу даст!—

Бежать все дальше от царей
туда, где голова целей,
а значит, и от их церквей —
туда, где чувствуешь особость
и культивируешь не совесть,
а собственную лишь бесовость.
И оказаться лишь в избе,
как в заповеданном гнезде
подбитой птицей, что везде
наследует свою весомость.
И все же силою любви
с гнездом подняться от земли,
Сам Господи, благослави!

.....*

Мораль у песни не ясна.
Когда воскреснет ото сна,
Россия вспомнит имена,
А не меня. У этой чтицы
не имут памятников птицы —
её намерения чисты,
как и любовь её не зла
во имя Господа Христа.
Певец, упавший из гнезда,
да удостоится Отчизны!

Подайте ж днесь ему, друзья,
за всё услышанное зря.

А следовать ему нельзя. Л — д. Никольский собор. Февраль — март 76.

* поется без слов

ПРО УТОПЛЕННИЦУ

Баллада

Меняю два города, города
На Царствие, значит, Небесное.
Меня моя милая, гордая, горничная
не дождалась неизвестно где.

Отношения наши, по-видимому, изменятся...
А по сути останутся пуще прежних...
Будем глубже хранить теперь нашу тайну...
А какими мы были, никто не знает.

Полетела, сказала, было в Украину.
Потому, мол, потому, потому-то.
Или за море, или там кто украл ю.
Или, Бог весть на чем ещё, бес попутал.

С её любопытством к мужскому корню.
И с выпадавшей на теле любовной какой-то корью.
И со всей ею холодной кровью.
И с иудейски горячей скорбью.

И с неумением окончить ссорою
ссору, как будто волна волною.
И с нетерпеньем войти в Историю,
хоть между Питером и Москвою.

И с «нелучшею частью» её — для юбок
длинных, чтоб бежать от лягавого.
И со всем, что я вспомню об этом, убо
все это от беса лукавого.

Меняю два города, города
на Царствие, значит, Небесное.
И да будет скорее, что будет скоро. И да
произойдет неизбежное.

Отношения наши тогда изменятся.
Потому ли, потому, потому-то
неохота бежать далеко от мельницы.
Перемелится в муках — русалкой будто —

станешь являться чужому князю
светлому из-под толик подводных,
делаясь девой от раза к разу —
уже в плечах и все шире в бедрах.

Вот и родишь ты ему ребенка
неизвестно от кого, неизвестно.
В водах памяти, памяти, ай, Ребекка,
сладко ли падать водой на весла?
О ты Ундина моя, Ундина!
Лорелея ты моя, Лорелея!
Ночь.....
Влажная.....

Не пойти ли теперь помолиться Богу
за тебя и за всех, кто с тобою спился.
Восклицание песни подобно вздоху —
за меня бы кто, грешного, помолился.

Восклицание песни подобно вздоху —
за меня бы кто, грешного, помолился.

Май 76

ПРО ФИЛЕМОНА С ЕГО БАВКИДОЙ

Баллада

Дети кричат за окном, как птицы.
На деревьях стеной вырастает зелень.
Милая с видом самоубийцы
смотрит в окно, как из склянки с зельем.

Глаз выполняет свою округлость
и пронимает окраску листьев
легче, чем весь горизонт — окружность
в городе на телефонный выстрел.

Скрытое терпит скорей огласку,
чем обладает вояве тайным.
Мы порастаем бельмом. И глазу
трудно светиться за этим ставнем.

Как разрослись города и мысли
долу и дому, где на поверку
лучше не знать ни двора, ни миски
и не держать над тобою верха.

И не читать ни с которого места книги.
И не цепляться за жизнь, как форму.
И не спать, не раздевшись, под чьи-то крики.
И не вскакивать к телефону.

Петел поёт, потому что влюбчив.
И начинает бояться юбок.
Семя гниет в языке. А лучше б —
в юбки, чем в громокипящий кубок.

Два петуха, очевидно, пара.
Ветер на плеве колышет плевел.
Чистым все чисто. А дева стара.
Как говорил не апостол Павел.

Что ж ты грозишь мне своею смертью
из-за твоих вообще соперниц.
На огороде с любовной снедью
за бузиною маячит перец.

Сколько ж любее ты любодеек
и охотниц за мужьями чужими.
Кто ищет славы, а кто даст денег
дабы паче уничижили.

Уничиженье равно у Бога
паче аж смелости и гордыни.
Только сердце толчется с другого бока —
требует власти над городами.

Сколько же лучше ты натюрморта
урбанистского и даже ландшафта.
А вот лежишь ни жива, ни мертва.

И не узнаешь, что будет завтра.

О немому ли сравнить с неметчиной!
А плоть не вылезит вообще из зверства.
Будь мне женою, хотя невенчанной.
Остальное нам неизвестно.

Господи Боже, хочу, как будет!
Как тяжело под твоею дланью.
Только и чуда, что не обидит
всякого, Боже мой, по желанью.

Что же нам может быть здесь обидно,
это ли исполнение болью?! . . .
Так и жили Филемон и Бавкида.
И была у них любовница, ой-ли,

родила, говорят, уродца.
Ну а если б у тебя?— Ну а если б
звезды Божии из колодца
вычерпать, будто слова из песни?

Каждая звезда — человек
с пятиконечной его судьбой. Но
вот и шумит, поелику нечем:
во еже пети, что есть достойно.
Во еже пети, сгорает Феникс!

.....*

Что же ты плачешь, моя красавица,
якобы обо мне недостойном,
в мире, который лишь нас касается,
в доме, что стоит недостроен.

Май 76

ИЗ ЦИКЛА: МЕЖДУМЕСЯЦЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЙ К АБСОЛЮТНО БЕЛОМУ

В бабье лето — торчком — сентябрьское
расстояние до облака берут, как на пушку,
церковки, венчая холмы, засоренные еще листвою гребни
тополей, неподъемны журавли строительства, кресты
электроразверток, подсвеченные осенним жаром
в крепостных руинах букеты роц, выбегающие
подышать из их слиянности одиночки — на тесаке
крыш, вестфальская чешуя закалялась в Рейне, коровы
в повороте жующих памятников, железною саранчой
тракторы по гребню за стадом — ветром
подбиваемых — косуль; застывшие на подъеме,
как шкафы на муравьиной автотропе, фургоны
грузовых богов, боевые слоны и рыцарство
индустрии, тростник непомерной рамы
над мостом их триумфа, подставкою для пищали
показавшийся собор и разрывы солнечных
попаданий на стекла высотных, многочислых
башен города, еще в полусонной дымке, ступающего
на зеленый пояс и в реку... Ездок выныривает
со своей рыбой в шершавых ладонях стен.
Тень, напитанная от теплой
крови света, холодеет, как плоть
разрешившаяся в страсти. Сия гипербола,
возвращающе начало пути во взгляде
на сентябрьское облако, пресекается,
как подкованное на счастье сердце.
Дождь охладит разженье тела — с бабья
стекая лета, на прохладных лезвиях
в тени уже витавшего привиденно.
Дождь зазвенит в колоколах паденья
ночного неба, пробивая сны
своей морзянкой. Северная Леда
утеплит утро отблеском зимы,
дохнет в испарину земли, завяжет
в узлы белья, назначенного в стирку, туманы.
Дождь пощадит, помилует, поможет за год забывшие,
как раздеваться от щекотки плоти — кусты, деревья.
Потеребит, послушает запасы их покаянья. Пожнет, посеет

твои сомнения в их очертаньях привычных, близких.
Сотрет, покажет на горизонте их, отбывающих
в страну рассеянья. И только помыслишь родина
в далеком смысле, накажет сияньем бедер
во вспыхнувшем кусте — увязшей на поле, будто
на юбке, брошенной одним куском, бордовой изнанкой —
Христовой Вербы, кошачьей розы. И поцарапает
по амальгаме стекла, вернувшегося в дожде да сумерках
с твоим в нее углубленьем, согбеньем — начальной летописи
заглавной буквой, всем телом, сложенным, как в персты
отпущения — просола желаний — дождем по белому
ожиданию, чтоб ХЕРУВИМЫ ПИСАТИ

ЧУТЬ СВЕТ — ЧУТЬ ТЬМА

Сумерки — с тобой сочетанья.
Рассветы тоже Светает
Свертывается Сочится
Свет-тьма-свет...
Тьмой прорастает, и весь в цвету.
Светит и в ней, как сказано,
И уже вовне, обнимая,
Голубь и Мрак Отечный!
Свет сворачивается. Во тьме
течет тьмой. На свету
тает светом. На реках
холодно так ранней весной.
Бесконечно, — упрямо сказала длинная
девочка у школьной доски, — и значит —
до посинения. Желто — уже тепло.
Тлеет в залипшем слове.

Тьма и вовне греет.
Благодаря ей тело.
накаляемое слишком прямым лучом,
пожевав его, отдает обратно
запыленным, будто в облаке зла,
злачную пылью, проявляя души
нерожденных невестным флером
радужных испарений.

Свет и в себе — тьма.
Слепнет Глохнет и Бродит,

внутреннее свое
образующее с нее отпечатком.
Липнет в углы своих
горниц — еще пустых
внутренних органов. Наконец —
Сердце Сердце! . .

Познай себя! хоть на слой
соскальзывания эпидермы к другому слою.
С соска, сказавши, темнеет
и алеет. Во тьму проливаясь мутным
светоносным кристаллом. И не взорвись.
Глубже влижешься в суть
сумерек, где светает.

Что ж тут в бочке за обручами
сердце пить — целовать, почки клочить,
путать легкий кишечник дыхания
с лабиринтом жующего солнца,
в оболочке вдыхать розу внутренностей
материнского аэротата,
селезенку ловить: Секси Секси!?
Все свое, Друг Другая Другого
Уважаемый милая.
Господи Боже моя.

Но ревность есть. Так не есть
и первородной змее ягненка,
устраивая себе
внутренность Исава. Небытию
так не Ничтожествовать, торжествуя
близость зарождения. Как ты тут не мудри
с тем, что Ревность — Верность. Что все свое
внутри света. И пожирают ее те веснушки само
непознания, как черви, если ее сейчас
кто-то не целует. И все накопленное
все равно в помойку. Но свет исходит.

И только слеза по коже
прощекочет зимним ознобом
призрачно прозрачная глазу
проницательно теплой и темней.

Лучше всего чувствуешь на кончиках пальцев,
когда тело изжевано жестким нетерпением ласки.
После После — сперва работа —
завязь Голубого цветка, самых страшных
милых энергий, когда, пульсируя уже полу
обморочно на пике покоя, больно уж
сладко, вытекает из сердца желчный
червячок тоски. И Печаль Печаль
в твой челнок по реке, где церковным басом.
Лучше б не родиться, думаешь, мне совсем.
Снова ноет пустота о рожденье, покуда Свет
Свербит Сверкает Сворачивается. И все снова
заметет, если произносить их быстро,
как напоследок.

Игорь Бурихин родился в 1943 году, до 1978 года жил в Ленинграде, сейчас живет в Кельне.

Начав писать стихи рано, Бурихин какое-то время обретался в бесплодных областях пародийно-эстетских экзерсисов. И лишь потом обрел свой живой и самобытный голос. Причина этому, может быть, в том, что исконно поэтическое недоверие к внешнему облику вещей, скрывающему истинные формы, развитое у Бурихина почти маниакально, заставило его выворачивать наизнанку слепки натуры, выявляя внутренние объемы.

Стремление осознать земное как соединение заоблачного с подпочвенным, уплотнить метафизику физиологией, заставляет его творить медлительную оргию разрушения конечных смыслов. Закольцованная парадоксом причинности следствий и следственности причин, грамматика приходит в замешательство при виде глаголов, перетекающих в имена, и имен — в глаголы.

Сети синтаксиса сквозят разрывами неформального эллипсиса. Однако особенности поэтической речи Бурихина прежде всего в интонации, в чередовании взлетов и падений, ускорений и замедлений, ритмический рисунок которых в записи почти неуловим, но обнаруживает себя в авторском чтении-распеве. Эта манера — не прием, но потребность стиха, полностью осознаваемого лишь когда он выпет, как бы выстроен псалмической мелодией. Только возродив эту мелодию, читатель сможет услышать тайное, то есть полное звучание слова.

М. Ш.

Юрий МАМЛЕЕВ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Много, много чудес на свете. Вот снег запорошил все черненькие нарциссицирующие домики, покрыл больные деревья. Кое-кому стало страшно. Только не деду Матвею. Не для таких страхов рожден. Веселый был дед, бессознательный. Больше всего любил в прорубь нырять. Вылезал быстро, как змея человекья, и голый на гармошке играл. В пляс пускался. Собиралось около него шестеро-семеро деток малых и зыряли на его простодушие.

— Кто много видел деда? Да почти никто, хотя внучат у него было видимо-невидимо.

Лик свой скрывал, зато сам был стремительный. Мимо дорожки и вокруг леса часто бегал. Туда-сюда. Туда-сюда. Всегда ему было как-то не по себе. Жизнь свою он проморгал в какое-то бездонное, бездонное болото.

Любил на картинках лук резать, девочкам зубы считать. Были периоды, когда некоторые полагали, что он вообще перестал существовать.

Но потом Матвей опять о себе напоминал. С годами нарастала у него нечеловеческая активность: то всей деревне дров нарубит, наколет, то просто о себе задумается. Думал по вечерам, смурно, чихая в тьму, или думавши долго часами напряженно простаивал на одном месте у крыльца с топором в руках.

Но никто не считал, что он кого-то ожидает. Да и до ожиданий ли ему было? Часто видели, как он идет быстро-быстро по безлюдному, заснеженному полю, один, на глазах у всей деревни, точно спешит куда-то и вдруг: просто поворачивает и бросает вверх — высоко, высоко в небо — свою драную меховую шапку.

— Физкультурник, — шептались тогда о нем соседи.

Никто не обижал также его жену — смазливую, хоть и в летах, бабенку, прятанную где-то по норам.

Летом она иногда выходила из леса прямо на людей и смущала их заднее чувство.

Угрюмый, живущий на подаянье у церквей, психиатр объяснял всем, что люди пугаются Матвеевну в основном от ее полного несоответствия чему-ли-

бо. Возражая самому себе, психиатр, правда, говорил, что как же она тогда рожала.

Но начальство слышало, что Матвей, когда имел свою жену, то словно кол ей осиновый в чрево вбивал, как будто она упырь.

Странно только, что от такого соития рождались вполне дикие, прямолинейные дети.

— Много тут было недосмотра, — мутно говорило начальство.

Деревня жила святой, малопомешанной жизнью; кто с трактором спал, как с бабою; кто бензин в моторе заговаривал; кто зубы блаженным духом лечил. И кругом была масса, масса телевизоров.

Деревенские телевизор любили не за содержание программ, а за причудливые бестелесные телодвижения в нем.

— Как на том свете будем, — уверяла всех психиатрова жена старушка Авдотьевна.

На тот свет, правда, стремились все до умопомешательства. Но так как никто не знал, как туда попасть, то вместо действия это стремление выражалось в массовом долгом всенародном скулении на луну по ночам на скамейках. Или просто в нудных и бесконечных разговорах о том свете во всех подробностях, как все равно о банке.

— Чтой-то мне не тово . . . Ик . . . Как бы на том свете скулу не разворотило, — говорила та же психиатрова жена.

В основном же это были простые, незаметные люди. Только Матвей выделялся среди них. Как только к нему приближались — все индивидуальности стирались перед ним, как будто ихние индивидуальности были массового характера, а его, Матвея — всамделишная.

Любил дед портки штопать; скажут, какая же здесь индивидуальность? А смех, смех, которым он раздражался посреди шитья, смех ни с того, ни с сего? . . . Смеялся дед, как волк, скорее даже жрал что-то невидимо со смехом, чем просто смеялся.

Одиноко ему, конечно, было еще с малолетства и одиноко, главным образом, от присутствия людей. Труден он был для понимания.

Все поступки свои квазинелепые он и сам не мог объяснить, и поэтому оно не только на него, но даже нее антисущество, которое было связано с ним одной веревочкой. Но было одно состояние, которое он мог объяснить, и поэтому оно не только на него, но даже на всех остальных действовало реально пугающе. Но, конечно, это было тоже квазиобъяснение.

Дед плясать любил; не только после того, как он весело — крикливо нырял в прорубь, выпрыгивая пред детьми; это просто походило на чуть потустороннее развлечение. Дед любил также плясать перед пустотой; без всякого присутствия, только разве что совсем дальнего. Дело происходило так. Дед шел, шел одиноко себе по тропинке и вдруг чувствовал, что сознание выпрыгивает из него и оказывается перед ним в пустоте, как некое зеркальце. Дед тогда завсегда пред ним, пред незримым сознанием своим в пляс

пускался и корчил ему невысказанные, даже чуть детские рожицы... И так продолжалось подолгу, по полчаса, пока сознание не впрыгивало в деда, и он не опоминался.

Самое удивительное, что этот прыг-скок чистого «я» происходил все время на одном и том же месте, неподалеку от общей уборной и паршивенькой березки... И дед вместо того, чтобы обходить это место, всегда норовил туда лезть. Правда, не по своему желанию.

Активность в нем между тем все нарастала и нарастала. Он уже бескорыстно ездил колоть дрова даже в соседние деревни. И стал так часто пропадать по всей области, от одной деревни к другой.

Но давешних привычек своих не забывал.

С топором на страже пред невидимым по-прежнему стоял.

Кончил он жизнь свою тяжело и противоестественно. Сначала за несколько дней ожирел, в темноте, ворочаясь под плотным воздухом; а ожирев, стал помирать. Одна жена окаянная рядом с ним тенью не разлучалась.

А как совсем уже помирал, в агонии, то вдруг стал мочиться, да так весь в мочу и вышел. Смотрит жена, а на смертном одре пусто, только матрац весь пропитан терпкой, словно каменной мочой. И такой тяжелый, словно Матвей туда ушел.

А как же сознание?

Да разве жена может знать. И хоронить-то некого. Матрац, правда, намертво высушили во дворе, на ветру.

А на следующий день в деревню вошла процессия обнаженных высоких стариков со скрипками: они остановились как раз около того места, где выскакивало сознание Матвея, и, повернувшись лицом к видимой пустоте, молча заиграли на скрипках.

Кончив, повернулись и скрылись в лесу.

ВОСПОМИНАНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ

Маргарита Волошина

ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ История одной жизни

Перевод публикуемых ниже глав из книги воспоминаний Маргариты Васильевны Сабашниковой (Волошиной) (1882—1973) — художницы, в 1906—1907 гг. жены Максимилиана Волошина, адресата многих его стихотворений (см. раздел «Amog amaga sacrum» в сб. «Стихотворения. 1900—1910» М., 1910), писательницы (книга «Святой Серафим», М., 1910) и переводчицы («Избранные проповеди» Майстера Экхарта, М., 1912) — выполнен по изданию: Margarita Woloschina. Die grüne Schlange. Lebenserinnerungen. Vierte Auflage. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1968.

Работа над переводом воспоминаний стала своеобразным знаком верности определенному духовному пути, обозначенному М. В. Сабашниковой гетевским символом Змеи — «земного Я, идущего через опыты земной жизни».

В связи с этим представляется важным сказать несколько слов о незаурядной личности переводчицы — Марии Николаевны Жемчужниковой (1898—1988). Юношеское увлечение современной литературой и философией (Вл. Соловьев, Метерлинк), знакомство с трудами Р. Штейнера в 1917 г. привело М. Н. Жемчужникову в Московское Антропософское общество, где она участвовала в духовно-научных семинарах, слушала циклы лекций. (Как в Москве, так и в Петрограде Антропософское общество прекратило существование в 1923 г., получив в числе множества других общественных организаций отказ в навязанной им регистрации.) В 1918—1919 гг. М. Н. Жемчужникова участвовала в гегелевском семинаре И. А. Ильина. Была близко знакома с Львом Шестовым. В 40-х гг. была репрессирована и провела в лагерях около десяти лет. Помимо перевода «Зеленой Змеи» М. В. Волошиной ей принадлежат переводы с немецкого целого ряда лекций Р. Штейнера, а также оригинальные работы: «Учение Р. Штейнера о трехчленности социального организма» (1960-е гг.), «Воспоминания о Московском Антропософском обществе» (1975 г.), «Воображаемый разговор с автором «Розы Мира»» (1976—1977 гг.).

Пути и перепутья

Зима 1905 года, когда мы с Нюшей жили в Париже, проходила под знаком революционных событий в России. Вел. кн. Сергей, генерал-губернатор Москвы, был убит социал-революционером Каляевым. В нашем пансионе жил старый эмигрант Натансон. В освещении этого фанатика революции события в России начали рисоваться мне иначе, чем до сих пор. Из Москвы мне писали, что Вел. кн. Елисавета, вдова убитого, посетила убийцу в тюрьме, прося его разрешения ходатайствовать у царя о помиловании, но получила отказ. О христианском поступке великой княгини я рассказала Натансону. Он поднял ее на смех, заявляя, что преступники — великие князья — не заслуживают никакого сожаления. Радикальная логика этого, вообще столь почтенного и добродушного человека сбивала меня с толку. Я не могла не видеть, что положение народа в царской России невыносимо. Революционеры вели справедливую борьбу за народ. Террористические акты, совершаемые отдельными лицами, стоили им жизни. Это была жертва. И все же их революционную «тактику» мое непосредственное чувство не принимало.

Я все еще грезила. Духовную науку я не могла еще связать с жизнью. Величественные перспективы мировой эволюции и мрачное настоящее оставались в моем сознании разрозненными.

Удручала меня также необходимость сообщить теперь родителям мое решение выйти замуж за Макса. Я боялась гнева моей матери. Я чувствовала свою внутреннюю зависимость от нее и, может быть, именно поэтому во многих случаях поступала ей наперекор, стремясь утвердить свою самостоятельность. Я находилась под влиянием Минцловой, которая внушала мне, что Макс и я предназначены друг другу. Было странно только, что я совсем не чувствовала себя счастливой. Тем не менее мое сообщение, посланное родителям, было так решительно, что мама не протестовала. Этому способствовало участие Екатерины Алексеевны Бальмонт; она всегда чрезвычайно любила и высоко ценила Макса. Письмо отца дышало любовью и доверием. Только наши три девушки — Маша, Поля и Акулина, узнав о моей помолвке, сели за стол и в голос «запричитали» хором. Они мечтали для меня о другом женихе. Он должен был быть по меньшей мере принцем, Макс не отвечал их идеалу.

В апреле я уехала в Москву, Макс вскоре последовал за мной. Все это время я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было мне чуждо. Я как будто отсутствовала, и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, я воспринимала как сон; несколько меня не затрагивающий.

После свадебного торжества мы тотчас же уехали в Париж, куда Р. Штейнер должен был приехать в ближайшие дни. Минцлова ехала с нами в одном купе, что страшно возмутило мою тетю Александру Алексеевну: она ее терпеть не могла и называла «Анна-пророчица».

В Париже мы несколько дней прожили в мастерской Макса, пока не устроили маленькую солнечную квартирку в Пасси; несколько диванов, покрытых коврами и множество полок для библиотеки Макса. Лучшим украшением нашего жилища была копия в натуральную величину гигантской головы египетской царевны Теиах, изображенной в виде сфинкса.

Мы еще не переехали, когда однажды утром пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде Р. Штейнера с друзьями. Так как он не хотел жить в отеле, мы нашли для него меблированную квартиру недалеко от нас. Дамы, приехавшие с ним, сами вели хозяйство, и Минцлова священнодействовала, вытирая посуду.

Штейнер приехал тогда в Париж на Теософский конгресс. Полковник Олькотт тоже присутствовал. Мы слышали, что в этом кругу Штейнер не был понят. Он шел новым путем, путем точного ясновидческого познания, являющегося развитием естественно-научных методов. Остальные же жили атавистическими, отчасти даже медиумическими способностями, в традициях, нередко искаженных, восточной мудрости. Ему ставили в вину, что он рассматривал событие Голгофы как центральное событие человеческой эволюции. В этом видели односторонность, нечто вроде пристрастия человека западной культуры к христианству.

Для небольшого круга Штейнер тогда читал в своей квартире на Рю Ренуар цикл лекций, первоначально предназначавшийся для русских слушателей. Но в этих собраниях принял участие также Эдуард Шюре, автор «Великих Посвященных». Он тогда впервые встретился со Штейнером и в нем, как он сказал, «признал своего учителя». Благоговейное отношение к Штейнеру со стороны Шюре, старшего по возрасту и знаменитого, свидетельствовало о величии его души. Шюре принадлежал к кругу Р. Вагнера, к кругу тех, кто принес с собой смутное прозрение в существо древних мистерий и выражал это в художественной форме. Мне лично произведения Шюре казались журналистски поверхностными, но многим они позволили впервые прикоснуться к тайнам мистерий. Кроме Шюре постепенно и другие участники конгресса стали появляться на этих собраниях, так что слушателям приходилось очень тесниться в гостиной и даже в спальне.

Мережковский со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус и с их другом Философовым тоже были в то время в Париже. Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог

бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала Штейнера как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса.—«Мы бедны, наги и жаждем,— восклицал он,— мы томимся по истине». Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, но, напротив, убеждены, что владеют истиной.

«Откройте нам последнюю тайну»,— кричал Мережковский, на что Штейнер ответил: «Если вы сначала откроете мне предпоследнюю». «Можно ли спастись вне церкви?»— слышала я крик Мережковского. В ответ Штейнер указал на одного известного средневекового мистика, осужденного церковью, как на пример человека, вне церкви нашедшего путь ко Христу.

Я не могу сейчас припомнить все подробности этого вечера, но знаю, что негодование Марии Яковлевны против Мережковского придало разговору полемический характер. Р. Штейнер, считавший полемику бесплодной, подошел ко мне, не принимавшей участия в разгоревшейся битве. Рассматривая прекрасную репродукцию родэновского Кентавра, он сказал, что в образе кентавра имажинативно представлена определенная ступень эволюции человека. Человек тогда был еще связан с силами Земли и обладал инстинктивной мудростью. Потому-то кентаврам приписывалась мудрость врачей-лечителей. Когда я задала вопрос, всегда меня очень занимавший: что это значит, когда говорят о духе какого-либо ландшафта, о духе дерева и т. п., он объяснил мне это подробно и приветливо. Р. Штейнер никогда не уставал давать там, где его хотели слышать. Поэт Минский подошел к нам и, указывая на голову египетской царевны Таиах, спросил: «Что означает улыбка сфинкса?», на что Штейнер ответил: «Сфинкс смотрит в далекое будущее, когда трагедия будет побеждена». Лишь позднее я поняла, что он этим хотел сказать.

Вскоре Штейнер ушел в сопровождении своих негодующих дам.

Из 18-ти лекций, в которых Штейнер описывал нам мировую эволюцию, я приведу только один факт, могущий служить доказательством истинности духовновидческих исследований. Он сказал, что в кометах законы прежних эпох мирового развития, несколько модифицированные современными условиями, еще действуют и в наше время. Существа тех эпох нуждались в азотных соединениях, как теперешние земные существа нуждаются в кислороде. В 1910 году в научных журналах появились сообщения, что в спектрах комет обнаружена синильная кислота. Таким образом, данные духовновидческих исследований через четыре года были подтверждены научным естествознанием.

Под впечатлением личности Р. Штейнера, мы решили поселиться близ него. Будучи корреспондентом журнала «Весь», Макс мог жить в Мюнхене. Мы передали нашу квартиру Бальмонтам и Нюше, намереваясь зимой переехать в Мюнхен. Но прежде мы решили съездить в Крым, где моя свекровь ждала нас. Так как я была тогда очень слабого здоровья, Макс думал, что путешествие водой будет для меня менее утомительно. Поэтому мы поехали из Линца вниз по Дунаю в Констанцу.

Осенью мы поехали в Москву к родителям, а оттуда собирались переселиться в Мюнхен. Но все сложилось совсем иначе. Макс поехал в Петербург для переговоров со своим издателем. Там он познакомился с кругом поэтов, философов и художников, духовный уровень которого он сравнивал с обществом александрийской эпохи. Центром этого круга был Вячеслав Иванов. В угловой башне большого дома, высоко над Таврическим садом, в полукруглой мансарде велись значительнейшие беседы. Макс писал мне, что этажом ниже есть для нас две свободные маленькие комнатки; прилегающую большую комнату мы тоже сможем со временем занять. Он спрашивал меня — не поселиться ли нам на эту зиму в Петербурге, где он может по заказу своего издателя писать статьи по вопросам искусства.

Вячеслав Иванов в Петербурге! его стихи давно уже открыли мне мир, в котором я находила свою духовную родину! Большинство его стихов я знала наизусть, многим они не нравились из-за непривычных античных ритмов и архаичного, сакрального и в то же время философского содержания. Еще недавно я с восхищением читала его книгу «Религия страдающего бога», где он как научный исследователь, как религиозный философ и как поэт говорит о различных дионисических культах Греции. В мировоззрении Вяч. Иванова соединяется греческое восприятие духовности в природе с христианством. В этом отношении он стоял в моих глазах выше Ницше, чье «Рождение трагедии из духа музыки» оказало на меня решающее влияние.

Что Вяч. Иванов, много лет живший с семьей в Женеве, теперь в Петербурге, что скоро я могу с ним познакомиться и даже жить в одном доме, — от такой перспективы дух захватывало! Разумеется, я хочу пожить некоторое время в Петербурге! И в восторге я телеграфировала: «Да».

А Мюнхен? А духовная наука? Тогда мне было достаточно знать, что она существует. Так прекрасно было жить в мощных образах мировой эволюции, знать, что все в мире имеет смысл и что существует путь к познанию духовных миров, на который и я, конечно, когда-нибудь вступлю. Странно, что я, почти с детства усиленно и последовательно искавшая этот путь, затем внезапно успокоилась, узнав, что такой путь действительно существует и что

у меня есть время на него вступить. Макс и я, мы шли по жизни, взявшись за руки, как играющие дети.

Хотя мне неприятно говорить о чисто личном, но я расскажу о последующем периоде моей жизни потому, что эти переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, симптоматичными для той «люциферической»* культуры, которая, по моему мнению, в России достигла высшего расцвета, именно в России, в рамках косного самодержавного бюрократизма, в котором никто — если только он не избирал путь революционера — ничего не мог изменить. Эта оторванность от практической деятельности, это парение в собственном, независимом от реальности, мире идей и чувств, влюбленность в эту независимость от реальной действительности, переоценка собственной личности, чудачества всякого рода — все это в такой степени и с такой красочностью могло развиваться только в интеллектуальных кругах России.

В этот субъективный мир я была целиком и полностью погружена; мне казалось — хотя я и не признавалась в этом — что я выше практической жизни, в которой я была до смешного беспомощна. Перевес мира чувств, перед которым я была беззащитна, не ограниченного и не покоренного целесознательной волей, создавал сверхчувствительность, гипертрофию духовных переживаний, разрушающих тело. Макс в своей самоотверженности был далек от того, чтобы порицать мою отчужденность от мира, находил мою слабость трогательной и милой и относился ко мне с нежной заботой. Я страдала от этой отчужденности, часто сама себе казалась какой-то блуждающей тенью.

Башня

Холодным ноябрьским утром, когда сильный ветер с моря пронесся над крепко замерзшей Невой, мы приехали в Петербург. Мы заняли две крохотные комнатки; большую, обещанную нам, мы так никогда и не получили. В моей, похожей на коридор комнатке, где я спала на узенькой кушетке, — оставалось место только для небольшого столика, на котором мы ели. Комнатка Макса была еще меньше — просто каюта с одним диваном. Письменным столом ему служил широкий подоконник. Через огромные окна

* «Люциферической» — в антропософском понимании этого образа, не совпадающем с традиционной прямолинейной его трактовкой, как единого владыки всего темного царства — дьявола, сатаны. (Здесь и далее — прим. перевод.)

открывалось серое петербургское небо. Но теснота меня не огорчила — что значит теснота, если прямо над нами боги справляют свои пиры!

Первыми посетителями, появившимися у нас сразу же посленашего приезда, были: молодой поэт Дикс (настоящее имя — Борис Леман) и его белокурая, похожая на мальчика и на птичку кузина Ольга Анненкова* . У Бориса странная внешность: темноволосая, чрезвычайно узкая голова, оливковый цвет лица, гортанный голос. Что-то от Древнего Египта соединялось в нем с ультрамодерновой манерой держаться. В нем чувствовалось нечто таинственное, что можно, вероятно, объяснить врожденной способностью «второго лица». Он служил в каком-то министерстве, где, собственно, ничем не был занят. Он и Ольга были экзальтированными почитателями Макса и немедленно принялись в один голос декламировать его «Stella Maria». Это звучало настоящей литанией, и я не могла удержаться от смеха.

На другой день мы были приглашены в театр-студию В. Ф. Комиссаржевской. Артисты разучили хоры из греческой драмы «Тантал» Вяч. Иванова и хотели в этот вечер его поразить. Здесь я впервые услышала хоровую декламацию и была глубоко захвачена мощью этого вида художественного чтения. Произведение большого поэта приобретало в таком исполнении огромную силу. В перерыве я в первый раз увидела Вяч. Иванова. Он благодарил артистов и Комиссаржевскую и был, казалось, очень тронут. Но я испугалась: не был ли он совершенно похож на «злого жреца» из одного моего сна? Согнувшись, он входил ко мне через маленькую дверцу в низенькую сводчатую комнату; я с тех пор не могла его забыть. Я не хотела верить, что человек, стоящий передо мной, — тот поэт, в мире поэзии которого я жила, как в своем собственном.

Вячеславу Иванову было тогда около 42 лет. Высокого роста и стройный, легкие рыжевато-белокурые волосы падали отдельными маленькими завитками по обеим сторонам высокого лба, образуя вокруг него некую орифламмку. Лицо с остроконечной бородкой, окрашенное в теплые тона, казалось совершенно прозрачным; небольшие серые глаза смотрели хищно; его тонкая — слишком тонкая — улыбка, а также высокий носовой тембр голоса показались мне тогда слишком женственными. Говоря, он всякий слог сопровождал выдохом, что придавало его речи своеобразную торжественность, сакральность.

* Ольга Николаевна Анненкова — впоследствии ученица Штейнера, участница постройки Гетеанума в Дорнахе, одна из основательниц Русского Антропософского Общества. От Штейнера она получила права «гаранта», т. е. право принимать в Общество. Кроме нее таким правом был наделен Борис Павлович Григоров, председатель Общества.

Ах, — думала я в страхе, — как бы мне проснуться от того сна и в действительной жизни заново узнать настоящего Вячеслава Иванова! Но это был не сон.

Его жену — Лидию Зиновьеву-Аннибал мне когда-то описывали как «мощную женщину с громким голосом, которая любого Диониса швырнет себе под ноги». Ее лицо походило на лицо Сивиллы Микельанджело. В посадке головы было что-то львиное; крепкая прямая шея, отважный взгляд, а также маленькие, плотно прилегающие уши усиливали сходство со львом. Но наибольшим своеобразием отличались тона ее окраски: волосы белокурые с розовым отливом, а кожа смуглая, благодаря чему особенно выделялись блестящие белки ее серых глаз. Она происходила из рода абиссинца Аннибала, знаменитого «арапа Петра Великого», потомком которого был и Пушкин. Лидия и в повседневной жизни носила тунику, а свои сильные красивые руки драпировала тогой. Сочетания тонов всегда были очень смелыми. Так, в тот вечер белое с оранжевым производило впечатление большой торжественности. Макс, уже целиком находившийся под обаянием Вяч. Иванова, был огорчен, что я с первого взгляда не пришла от него в восторг.

В первые же дни по приезде мы побывали у Алексея Михайловича Ремизова с женой. Тогда он начинал писать стихи в своем, им впервые введенном, стиле, пользуясь русским народным языком во всей его красочности, во всем своеобразии его мелодий и ритмов. В его легендах и апокрифах, полуязыческих, полухристианских, впервые в современной поэзии появляются разнообразные стихийные духи, которыми так богата Россия, и целый мир небесных воинств. Для меня в моих поисках русского стиля уже его первые прозаические произведения были откровением.

Теперь мы встретились с ним самим. Он зябко кутается в вязаный дырявый платок. Голова, запавшая между высоко вздернутыми плечами, выглядывает из них, как цыпленок из гнезда. Очень близорукие глаза распахнуты, будто в испуге. Но рот при этом улыбается насмешливо и добродушно. У него нос Сократа, а лоб такой, какой можно видеть на изображениях китайских философов; волосы пучками торчат вверх.

Дырявый платок и сутулые плечи — принадлежность его своеобразного стиля, равно как и преувеличенно московский говор, где все слова выговариваются медленно и внушительно. Однажды я спросила Ремизова — как может выглядеть кикимора — женский стихийный дух, которым пугают детей. Он ответил поучительно: «Как раз как я, так выглядит кикимора».

Хотя ему было тогда только 26 лет, он показался мне много старше — древним мудрецом. Ремизов — москвич, родом из полуобразованного, старого

православного купечества, обитающего в Замоскворечье. Там царили еще патриархальные нравы, глава семьи пользовался подлинно деспотической властью над всеми домочадцами, особенно же над бедными родственниками, зависимыми от богачей; этот быт изображен Островским в его классических драмах. Из такой угнетенной и униженной семьи, жившей милостями богатых родственников, происходил и Ремизов. Во время Ходынской катастрофы в день коронации Николая II он был еще гимназистом и попал в давку; его вытеснили вверх, и он шел по головам толпы, пока не наткнулся на конного жандарма; за него он и уцепился. Тот обвинил его в «противоправительственном поведении». Он был арестован, исключен из гимназии, как революционер и сослан в маленький северный городок. Так как ни к какой революционной партии он не принадлежал и никому из тамошних политических ссыльных не был известен, то они сочли его агентом полиции и всячески оскорбляли. А к тому же хозяйка, у которой он жил, обвинила его в краже серебряной ложки. Рассказывали даже, что его теперешняя жена, тогда молоденькая и гордая Серафима Довгелло, тоже сосланная как революционерка, дала ему однажды пощечину. Правда это или нет — я не знаю. Во всяком случае отношения между ними были несколько странны. Они не говорили друг другу «ты», а называли полным именем — «Серафима Павловна» и «Алексей Михайлович», что в интеллигентских кругах не было принято. Рядом с этой красивой женщиной из знатного литовского рода, «к дочерям которого сватались польские короли», как она однажды мимоходом заметила, Ремизов выглядел невзрачно. Он говорил с ней с величайшим почтением. Серафима Павловна высокого роста, позднее она была чрезмерно полна. Круглое, открытое лицо, обрамленное белокурыми локонами, цветущий цвет лица, громкий голос низкого тембра. Она не стеснялась говорить все напрямик, если дело касалось истины. Я очень полюбила ее за честность и открытость. Она знала, что хорошо и что плохо. Ремизовы были бедны, непрактичны, и длительное безденежье нередко доходило до размеров катастрофы. Поэтому их маленькая дочка воспитывалась в замке Довгелло. Из-за случая на Ходынке он не мог окончить гимназии и не мог поэтому получить и высшего образования, что закрывало для него путь к лучшему устройству. В то время, когда мы с ними познакомились, он зарабатывал подсчетом собак в Петербурге. Он ходил по дворам и собирал статистический материал. Но это тоже шло к его стилю. В 1906—07 гг. Ремизов был восходящей звездой в литературном мире. Нередко он читал свои произведения в «Башне» Вяч. Иванова. Он читал их в очень своеобразном музыкально подвижном ритме. Для того, кто не слышал его самого, но только читал его стихи, они много теряют в своем своеобразном очаровании.

Ремизовы приняли нас очень сердечно и после чая показали свои «сокровища» — фигурки из древесных корешков или сучков, искусственно сделанные или естественно получившиеся — всякие стихийные духи и чертики, висевшие над его письменным столом — пестрый, неприятный, живой мир. По-видимому, они были нужны ему для вдохновения в работе. Ремизов показывал их очень серьезно, называл по именам и рассказывал об их характерах и повадках. «Сокровища» же его жены состояли из различных старинных вышитых жемчугом предметов из замка Довгелло. По-видимому, они были для нее не менее важны, чем ее мужу — его чертики.

Мне было понятно, что Ремизов стремился укрыть свою раненую и сверхчувствительную душу в спасительную оболочку своего особого «стиля», к которому принадлежал также его стилизованный вычурный почерк. В глубоком проникновении в существо русской народности, которую он знал как никто другой, ему открывались тайны духовных реальностей, и в этом направлении он угадывал до удивления много. В языке своих произведений он любил и разрабатывал прежде всего все народное, подвижное, оригинальное, классический же академический язык был ему ненавистен как нечто бескровное, обедненное. В духе этого живого языка он воспитывал и молодых писателей; среди них М. Пришвин впоследствии получил большую известность.

Но Ремизову был знаком и ад в себе и в мире; несомненно, у него была некоторая склонность к извращенному, отвратительному, даже губительному. И в своем творчестве он постепенно впадал в манерность, а когда я его под конец видела в 1937 году в Париже, эта манерность выродилась в настоящий гротеск. Я так и не могла вызвать его на настоящую, естественную беседу, а ведь мы были с ним очень хорошими друзьями. В Париже он жил на пенсию, предоставленную сербским королем шести известнейшим русским писателям-эмигрантам. Но Ремизов больше ничего не писал, потому что в эмиграции не мог ничего печатать. Он проводил много времени за изготовлением каких-то фантастических коробочек, вставляемых одна в другую; в них он хранил каллиграфически написанные почетные дипломы членов «Обезьяньего клуба», учрежденного еще в Петербурге. Таким я увидела его через 30 лет после нашего первого знакомства, прошедшего через мартириум большевистской революции и эмиграции.

Однажды Макс и я были приглашены вечером к художнику Сомову, его мы знали еще в Париже. Комната, в которой он нас принял, была убрана просто и с большим вкусом. Здесь же он писал и свои картины. Василькового цвета обои, немного старинной мебели красного дерева, хрустальная люстра в стиле бидермейер, и как единственное украшение — драгоценная фарфоро-

вая статуэтка на комоде: белый Дионис с гроздьёю синего винограда среди неправдоподобно зеленой листвы. Художник был, как всегда, скромн и прост; во всем его существе чувствовалась какая-то 'задушевная покорность. Он любил старину и смотрел только назад без всякой надежды на истинную культуру в будущем. Поздно вечером явился поэт Кузмин, оба, казалось, были просто счастливы встретить друг друга. Из каких эпох пришел к нам этот удивительный человек? Даже наружность его необычайна: маленькая хилая фигурка, а лицо с огромными, черными, миндалевидными глазами напоминает фэйюмские портреты из саркофагов мумий; также и образы русских икон приходили на память при виде этого аскетического лица с темной бородкой. Однако святым он совсем не хотел ни быть, ни казаться, да и все его обхождение было крайне просто, непритязательно. С беспримерной откровенностью и невинностью он время от времени читал друзьям, к кругу которых и я впоследствии принадлежала, свои дневники без всяких сокращений, не стремясь ничего в своей жизни изобразить иначе, чем это было на самом деле. Страсти к друзьям он подчинялся как высшей силе и несказанно страдал при всяком разрыве. При этом он был искренно набожен, и эта набожность носила строго православный характер. К своим утонченным стихам он сам сочинял музыку и пел их, аккомпанируя себе на рояле. Я восхищалась его «Александрийскими песнями». Все в нем было свободно от всякой позы, естественно, даже по-детски безыскусственно. В нем в удивительном смешении встретилась фривольность 18-го века, знатоком которого он был, как и Сомов, российское православие и Александрийская Греция.

На другой день, когда я одна сидела в Максовой «каюте», пришел Вячеслав Иванов. Мы говорили о вечере в студии Комиссаржевской, и по этому случаю я сказала ему, как много значили для меня его стихи. Сборник «Кормчие звезды» я знала почти весь наизусть, особенно же любила «Дриады», так верно передающие сновидческую космическую жизнь деревьев, их потустороннее чувство осязания земных пространств. Маленькие глазки Вяч. Иванова широко открылись; я чувствовала, как его взгляд в меня впивается. Несколько минут он молчал. Наконец сказал взволнованно: «Мои стихи серьезны, они очень трудны и даже если меня когда-нибудь станут чтить, они собственно встретят мало понимания, я поражен...»

Он пришел пригласить нас на ближайшую среду: философ Бердяев будет говорить о Эросе в виде вступления к общей беседе на эту тему. Во второй части вечера поэты, как обычно, будут читать свои новые произведения. Но сейчас он хочет немедленно повести меня наверх к Лидии.

Ивановы уже год жили в Петербурге. Их дети со своей воспитательницей оставались в Женеве, где они учились в школе. Их квартира представляла собой, как я уже говорила, башню. Во всех комнатах стены были круглые или косые. В комнате Лидии, куда он меня ввел, обои были ярко-оранжевые. Здесь стояли только два очень низеньких дивана и странный высокий деревянный сосуд, пестро окрашенный, в котором она хранила в виде свитков, свои рукописи. Комната Вячеслава была узка, с огненно-красными стенами, так что в нее входили, как в раскаленную печь. Быт их для тогдашней России был очень необычен. Все женщины нашего круга держали по меньшей мере кухарку. Лидия же, помимо своих литературных работ и приема множества посетителей, делала все сама, так как не терпела в своем жилище человека, не разделяющего полностью их жизни.

Придя к ним, я почувствовала себя зайчиком, попавшим в пещеру пары львов. Я видела, что Лидия по оригинальности и силе переживаний не уступает моему мужу. Они встретили меня с необычайным интересом; этот интенсивный интерес к людям был свойствен им обоим. «Вячеслав и я,— сказала Лидия,— мы любим в лицах людей видеть сны». Казалось, что в моем лице они видят какой-то сон, который им нравится. И я только боялась, как бы проснувшись, они не были бы слишком разочарованы.

Вяч. Иванов был тогда центром духовной жизни Петербурга. Легко вдохновляясь и обладая даром проникновения, он умел усиливать творчество других; так одному он подсказывал тему, других зажигал, хвалил или порицал, иногда чрезмерно, в каждом пробуждал ему самому неведомый мир, еще дремавший в нем, и вел, как Дионис, жрецом которого он мне явился, хор не столько вакханок, сколько вакхантов.

И не только в творчестве — он был своего рода инспиратором и в личной жизни окружавших его людей.— В его огненную пещеру приходили с исповедью и за советом. Распорядок дня у него был необычен: около двух часов дня он только вставал, принимал посетителей и работал ночью. Но в ту зиму, честно говоря, он работал не слишком много.

При этом первом посещении я почувствовала только исключительно интенсивную, для меня еще загадочную, жизнь их обоих. Из своего сообщества они вынесли что-то новое, своей жизнью хотели показать что-то другим — идею, страстно осознаваемую. «Что же это?»— задавала я себе вопрос.

Заколдованный сад

Пришла ожидаемая среда. В большой полукруглой комнате башни, днем освещавшейся только одним маленьким окошечком, горели в золотом

канделябре свечи; в их свете блестели маленькие золотые лилии на серых обоях и золотые волосы хозяина. В этом обществе было больше мужчин, чем женщин, и среди них — кроме Лидии — ни одной сколько-нибудь выдающейся. Среди гостей я видела Сомова, Кузмина, художника Бакста, молодого поэта Городецкого; затем пришли Ремизовы, Борис Леман с кузиной, писатель Чулков, только что выступивший со своим «мистическим анархизмом», студент Гофман* ; автор книги «Соборный индивидуализм», несколько литераторов и режиссеров. Философа Бердяева я встретила здесь впервые, позднее я много с ним общалась в Москве. Высокий и широкоплечий — импозантная фигура, красивая наружность; черные волосы и остроконечная борода. Очень заметно проступало романское происхождение — его мать была француженка. Но сначала меня оттолкнули и даже испугали нервные судороги, от которых его лицо то и дело подергивалось, а время от времени открывался рот и высовывался язык. Но это, казалось, ни ему, ни окружающим ничуть не мешало.

Из его вступительного реферата я теперь ничего не помню, равно как и из речей других собеседников. Знаю лишь, что мысли об Эросе явились для меня совершенно новыми и глубокими, восхищению моему не было границ. На большом сером столе, отодвинутом к дверям, чтобы высвободить место для многочисленных гостей, сидели Лидия, Сомов и Городецкий и представляли «галерею». Если оратор, по их мнению, говорил слишком абстрактно, они обстреливали его апельсинами. Городецкому тогда было 24 года; очень высокий и худощавый, он своим птичьим лицом походил на египетского бога Анубиса. В его юношеской свежести и непосредственности, в его юморе было что-то очень привлекательное. Тогда он начинал свою поэтическую карьеру под крылом Вяч. Иванова. Во второй части вечера поэты декламировали свои произведения. Вячеслав прочитал из своей новой книги «Эрос» «Вызывание Вакха», представлявшего ему полуюношей-полуптицей, и другие стихи, действовавшие на меня почти магически. Но эти стихи отличались от тех, которые я знала раньше. Это был цикл переживаний, говоривших о страсти, страдании, даже о печали и смирении. С глубоким сочувствием размышляла я о причинах этой скорби, так как я ведь ощущала прекраснейшую гармонию между ним и Лидией. Затем Городецкий читал свои народные, такие оригинальные по ритму стихи. Мне показалось, что Вяч. Иванов критикует его слишком резко; между учителем и учеником сгущалась натянутость; ее я истолковала так, что Вяч. Иванов глубоко

* Гофман Модест Людвигович — поэт и литературовед. Известны его работы по Пушкину, с 1923 г. — в эмиграции. Книга «Соборный индивидуализм» вышла в 1907 г.

разочарован в своем ученике, потому что тот не может идти с ним в ногу и отходит от него. Лишь много позднее я поняла очень личную причину этого расхождения. Ремизов прочел свою «Медвежью колыбельную», Кузмин — грациозную «Любовь этого лета»* . Рядом со всеми этими стихами стихи Макса казались слишком ювелирными, малолиричными, даже, может быть, несколько риторичными. Чувствовалось французское влияние.

Когда гости группами разошлись по комнатам, Вяч. Иванов подошел ко мне и мы обменялись впечатлениями. Я заметила, что мои простодушные отзывы опять его странно взволновали. Помолчав немного, он сказал: «Через вас я чувствую себя за много вознагражденным». Это было мне совсем непонятно.

Лидия работала тогда над книгой «Трагический зверинец» — сборник связанных между собой небольших рассказов**, в каждом — воспоминание из ее детства, встречи с тем или иным животным. В это же время и я для журнала, издававшегося Поликсеной Сергеевной Соловьевой, написала рассказ для детей. Лидия находила мою манеру более художественной, выразительной по форме и более богатой оттенками, чем ее собственная, мне же ее стиль, хотя несколько запутанный и тяжелый из-за нагромождения вводных предложений, казался более динамичным. В этой книге открывалась ее сильная, жаждущая истины, натура, ее буйный неистовый темперамент; независимый, мятежный характер: — «Одним всецелым умирима, и безусловной синевой» — сказано о ней в стихотворении Вяч. Иванова*** . «Трагический зверинец» изображает путь из рая в земной мир к новому союзу с Божеством, путь каждого ребенка, повторяющего историю всего человечества. Рассказы поражали силой чувственных восприятий: вы вдыхали ароматы земли, согретой солнцем листья, ощупывали вещи, чувствовали жесты в своих собственных членах, воспринимали земное бытие во всей его полноте. Я вижу Лидию, сидящую с ногами на диване, она исписывала маленькие отдельные листочки своим крупным, косым, немного дрожащим, но все же уверенным почерком. Как различны были эти два человека — можно было видеть уже по их почеркам. У Вяч. Иванова — каждая буква жемчужно ясна и окрылена, строчки летели легкие, как все его движения. Говоря, он то поднимался на цыпочки, то делал шаг вперед, то назад, так что вся его фигура как бы танцевала перед слушателем; рука, сначала сжатая,

* Кузмин Михаил Алексеевич. «Любовь этого лета» — цикл стихотворений в сборнике «Сети». Изд. «Скорпион», 1908.

** Книга вышла. Зиновьева-Аннибал Л. Д. «Трагический зверинец». Рассказы. Изд. «Оры», 1907.

*** Заключительные строки из стихотворения «Ты — море» в сборнике «Прозрачность», изд. «Скорпион», 1904.

затем открывалась, как цветок, поднималась вверх с той же брызжущей легкостью. В Лидии же, как я говорила, была микельанджеловская тяжело-весность, громкий голос — когда-то она готовилась стать певицей. Говорила она сначала как бы нащупывая, затем — неожиданно резко. У Вячеслава же — напротив — речь совершенная по форме, мысли чеканны; почти по-византийски запутанные фразы озарялись пламенем воодушевления или негодования. Творческое напряжение — как бы поединок — я всегда чувствовала между этими двумя крепко связанными людьми. Теперь я держусь того мнения, что именно она вносила в этот союз его духовную субстанцию, а он лишь давал ей форму, художественную и мыслительную. Там, где она следовала за ним на извилистых путях спекуляции, нередко состоящей на службе его страстей, — она впадала в заблуждение; не только менее сильные духом, но и она, для которой так много значила истина, могли ослепляться многокрасочным сверканием его огней. Я и теперь еще слышу, как она сказала: «В конце концов Вячеслав всегда прав» — это было сказано в момент, когда такое утверждение требовало от нее величайшей жертвы.

Ко мне оба выказывали необычайный интерес. У нее это выражалось в бурной сердечности; его обращение переливалось всеми красками — то насмешливо провоцирующее, любопытное, то — как я уже говорила, — охваченное волнением, которое меня пугало. Он напоминал мне иногда золотую пчелку, когда она осторожно, но настойчиво высасывает мед у цветка.

Макс был очень занят своей журнальной работой; он совсем погрузился в новые для него впечатления Петербурга. Так, мы, Ивановы и я, часто оставались втроем. Оба охотно посвящали меня в историю своей жизни. По поводу создания ранних стихотворений, о которых они рассказывали, я много узнавала об их богатой бурями жизни в Англии, Париже и, главным образом, в Италии. Для обоих этот брак был вторым. Он оставил любившую его жену и дочку, чтобы соединиться с Лидией. Рассказывали они и о теперешних встречах с людьми, и о своей жизни после переезда в Петербург. Однако прошло много времени, пока я полностью поняла существо столь импониовавшего мне интереса, с каким мужчины этого круга относились друг к другу. О том, что мы здесь находимся среди людей, у которых жизнь чувств шла аномальными путями, — мы — Макс и я — в своей наивности не имели ни малейшего представления. У Ивановых я видела прежде всего поиски новых живых отношений между людьми. Из новых человеческих созвучий должна — как они уповали, возрасти новая духовность и облечься в плоть и кровь будущей общины; для нее они искали людей. Так, Вячеслав устраивал вечера с участием только мужчин, Лидия же, со своей стороны, хотела собрать закрытый круг женщин, некую констелля-

цию, которая поможет каждой душе свободно раскрыть что-то исконно свое. Она пригласила и меня. На этих собраниях мы должны были называться другими именами, носить другие одежды, чтобы создать атмосферу, поднимающую нас над повседневностью. Лидия называлась Диотима, мне дали имя Примavera из-за предполагаемого сходства с фигурами Ботичелли. Кроме простодушной, безобидной жены писателя Чулкова и одной учительницы из народной школы, которая, превратно понимая суть дела, вела себя несколько вакхически, не нашлось женщин, которые пожелали бы принять участие в этих сборищах. Вечер протекал скучно, и никакой новой духовности не родилось. Вскоре от этих опытов отказались.

В то время я начала писать портрет Лидии; в своей оранжевой комнате она лежит против меня в позе сфинкса, опираясь на локти. Я писала ее en face. Но при петербургском декабрьском освещении работа шла медленно. Затем она тяжело заболела воспалением легких и ей пришлось лечь в больницу. Во время ее болезни у нас появилась Минцлова. Мы представили ей наших новых друзей, и в присутствии этой Сивиллы наша жизнь, сама по себе уже достаточно фантастичная, стала еще фантастичнее. Как всегда, вокруг нее возникали вихри; особенно же в ее встречах с Вяч. Ивановым разражались настоящие духовные грозы. От нее он впервые узнал о пути в духовный мир. Он был захвачен жадой знания, тягой к нему и одновременно — протестом. Благоговей, наблюдала я эти духовные турниры и взрывы. Сама же Сивилла была в восхищении от поэта, и это слово еще слишком слабо, чтобы выразить накал ее чувств.

Я тогда страдала непонятным для врачей упадком сил, и Макс повез меня на несколько недель в Финляндию. Пансион располагался среди засыпанных снегом лесов и озер; в двух часах езды от Петербурга. От Макса письма приходили ежедневно. Он сообщил, что Ивановы собираются уехать в Женеву, где Лидия может лучше поправиться после воспаления легких; на это время они предлагают нам свою квартиру в башне, но сейчас Лидия еще больна воспалением вен и должна лежать.

Я уже скучала по Максy, когда же узнала, что Ивановы скоро уедут, — ничто меня больше не удерживало. Никого не предупредив, я сбежала в Петербург. Я думала застать Макса за ужином, но когда я в радостном нетерпении пришла в нашу квартиру, там было темно и пусто. Я оставила Максy записку и поднялась этажом выше. Ивановых я застала как раз за столом, они встретили меня очень радостно. Лидия сидела, вытянув больные ноги, в кресле; на его высокой красной спинке, прямо над ее головой, очень декоративно восседала великолепная пестрая кошка. Как хорошо было мне опять очутиться в огненной стихии этих людей! Вячеслав, как всегда, шутил

со мной, поддразнивая, провоцируя; Лидия, которая во время своей тяжелой болезни побывала на пороге смерти, была теперь очень сердечна, но серьезна. Часы летели в оживленной беседе. Но я все время прислушивалась ожидая Макса. Когда же он, наконец, очень поздно позвонил, и Вячеслав пошел открывать дверь, я побежала за ним. И правда — это был Макс. Я бросилась к нему навстречу, но Вячеслав обернулся и преградил мне дорогу. Я прыгнула направо, — он сделал то же, я — налево, и он снова оказался между нами. Мы смеялись шутке, но она, как я позднее поняла, была совсем уж не такой безобидной.

Ночная скиталица

Совместная жизнь — мы жили теперь в одной квартире — для всех четверых была так увлекательна, что Ивановы совсем и не думали уезжать. Мать Макса приехала к нам из Коктебеля, жила внизу и была пятым членом нашего союза. Вячеславом она восторгалась с юношеским наивным энтузиазмом. Большинство знакомых думали, что Ивановы уехали, так как собрания по средам прекратились; только самые близкие друзья бывали в башне, так что мы жили очень уединенно.

Однажды Александр Блок читал у нас свои новые стихи «Кубок метелей»*. Уже внешность поэта говорила о большой внутренней значительности. Лицо — как вырезано из мрамора, профиль средневекового рыцаря. Его большие светлые глаза смотрели вдаль; голос звучал как бы из сжатой гортани; в его несколько монотонной музыкальной манере декламации чувствовалась сдержанная страстность. Создавалось впечатление, что этот рыцарь заблудился в нашей эпохе, он не находит здесь того, что ищет — божественный женский образ, воспеваемый им в многообразнейших ритмах. В стихах звучало томление и отчаяние до цинизма. Для тех лет было вообще характерно, что в душах людей жило томление, не находившее удовлетворения в застое буржуазной культуры. Они жаждали осуществить свои грезы, а Люцифер морочил их иллюзорными переживаниями, имя которых эрос. И в жизни почти каждого художника, кого я тогда встречала, происходили

* Это ошибка: под таким названием у Блока стихов нет. «Кубок метелей» — название «4-й симфонии» А. Белого. Блок же, вероятно, читал стихи из цикла «Снежная маска», посвященного Н. Н. Волоховой и написанного как раз в это время — зимой 1907 г. Как известно, Блок сначала высоко ценил творчество Вяч. Иванова, статья о нем написана в 1905 г. Но уже в 1907 году в Записной книжке (27 августа) есть запись: «Неприятен мне его душевный эротизм и противноватая легкость».

драмы такого рода. Супружеская верность была большой редкостью, а когда встречались такие пары, другие их даже несколько презирали.

Один художественный журнал заказал мне портреты Ремизова и Кузмина. Я рисовала углем Ремизова — кутающегося в свой платок, с его всяческими чертиками на заднем плане, в манере натуралистического гротеска; Кузмин стилизован под фыйюмский портрет. Оба рисунка в натуральную величину удались, но Вяч. Иванов слишком носился с ними, показывал всем, когда они еще не были закончены и говорил такие громкие слова, что мне стало невмоготу, и один рисунок я почти насильно у него отняла; в шутку рассердившись, я побежала в свою мансарду, чтобы спрятать рисунок; он побежал за мной, схватил за руку и глубоко взволнованный умолял: «Пожалуйста, будьте добры ко мне, не оставляйте меня!». Что это могло значить? Я рассказала Макс, он не меньше меня был удивлен этой сценой.

Вячеслав много времени уделял моему образованию. Он читал со мной «Цветочки Франциска Ассизского» в итальянском оригинале. Рассказ о том, как святой Франциск и святая Клара встретились в церкви св. Ангела за трапезой, за которой «меньше ели, а больше беседовали о святых вещах», как от этой беседы над всей местностью разлился такой свет, что крестьяне Перуджии приняли его за зарево лесного пожара и прибежали тушить и увидели, что это духовный огонь,— этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Он отвечал моему интимнейшему идеалу любви. Истинная любовь, казалось мне, только та, где в беседе любящих возникает нечто духовное, но имеющее в мире объективное бытие.

За чтением Евангелия Вячеслав знакомил меня с греческим языком; также и вторую часть «Фауста» я впервые услышала в его прочтении. Помню, как при словах Самаритянки: «у колодца, к которому еще праотец Авраам пригонял свои стада, с ведром, из которого Спаситель освежил свои уста . . .», он не совладал с волнением. Он закрыл лицо руками и заплакал. «И это о Гете говорят, как о холодном олимпийце! Да ведь здесь всякое слово прокалено, просветлено Христовой любовью, даже ведро просветлено!».

Интерес и одобрение со стороны Вяч. Иванова к моим стихотворным опытам, которые я до сих пор никогда особенно не ценила, внушили мне желание писать новые стихи. Сонет об осени, который я тогда написала, он заставлял меня читать на разных поэтических собраниях, что при моей застенчивости требовало от меня большой победы над собой. Но его взгляд принуждал, я была в его власти. Он хотел ввести меня в искусство поэтического слова, и из его объяснений вырос систематический курс; слушателями были только Макс, Лидия и я; позднее эти уроки легли в основу его публичного семинара. Эти занятия вдохновляли; он говорил как поэт и вместе с тем как ученый. Опираясь на свои обширные познания в области греческих мистерий

и культов, он истолковывал существо различных метров и ритмов, приводя примеры из античных и новых классиков на языках оригиналов, потому что он в совершенстве владел и древними и новыми языками. Эти занятия оплодотворяли и обогащали также и поэтику Макса.

(...)

В конце февраля мой милый отец приехал на несколько дней по делам в Петербург; я была совершенно счастлива. Я много времени проводила с ним в гостинице, и он несколько раз был приглашен на обед в башне. Ивановы принимали его в высшей степени сердечно. Мы все были удивительно созвучны друг другу. «Твой отец разливает вокруг себя тихое волшебство», — сказал Вячеслав. Лидия тоже была очарована этим скромным, милым человеком, и добряк сиял свойственной ему тихой радостью, счастливый тем, что видит меня такой счастливой и так всеми любимой. Вспоминая это время, я вспоминаю, что, засыпая, я как будто погружалась в море света и просыпалась в потоках того же света, благодарная, что новый день несет мне новую встречу с друзьями. А впереди, думала я, — будет еще прекрасней!

Родители согласились, что лето мы проведем вместе с Ивановыми в нашем имении Богдановщине. Вячеслав увидит эти дорогие мне места, творчеством поэта он даст этой немой душе дар слова, освободит ее из заколдованного плена! Как много это для меня значило! Как будто все, чего жаждала душа, готовилось осуществиться!

Однажды, когда отец отлучился на несколько часов по делам, и я ждала его в гостинице, на меня внезапно напала тоска по друзьям. Я взяла санки и поскорей поехала домой. Но в башне все было тихо и пусто. Я сидела одна в большой, при дневном свете сумрачной, столовой и слушала тишину; она вся была таинственной жизнью. Я знала, что слышу само бытие. И я испугалась того, что здесь готовилось совершиться. Счастье исчезло, гонимое неотвратимой судьбой. В ознобе я вернулась к отцу, никого не встретив.

Однажды вечером Вячеслав сказал мне: «Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует». Этот ответ был мне понятен, я ведь знала, как Макс любил и чтит Вячеслава; он сказал чистую правду, он действительно так чувствовал. Но постепенно я стала замечать, что сам Вячеслав не терпит моей близости с Максом. Он все резче критиковал его сочинения, его мысли. Объективно я часто должна была соглашаться с Вячеславом: Макс слишком любил парадоксы, увлекался игрой мысли. Но душе было больно. Нередко, возражая мне, Вячеслав утверждал, что Макс и я — люди разной духовной породы, разных «вероисповеданий», по его выражению, и что брак между

«иноверцами» недействителен. В глубине души у меня самой было это чувство. Вячеслав только облекал его в слова.

После доклада Макса об Эросе, имевшего успех скандала, и сделанного «*rouge erater le bourgeois*», с которым я в глубине души не могла согласиться, я открыла, что не могу больше о себе и Максе сказать «мы». Это было нелегкое узнавание; оно стало выносимо, может быть, только потому, что меня наполняло и воодушевляло счастливое чувство дружбы с Лидией и Вячеславом; с ними-то я считала себя в полном единстве.

Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит. Я сказала об этом Лидии, прибавив: «Я должна уехать». Но для нее это было уже давно ясно и она ответила: «Ты вошла в нашу жизнь и принадлежишь нам. Если ты уйдешь, между нами навсегда останется нечто мертвое. Мы оба уже не можем без тебя». Потом мы говорили втроем. У них была странная идея: когда двое так слились воедино, как они, оба могут любить третьего. Это вроде маски: пригодная для двоих, она может подойти и третьему. Такая любовь есть начало новой человеческой общины, даже церкви, в которой Эрос воплощается в плоть и кровь. Так вот в чем их новое учение! «А Макс?» — спросила я. — «Нет, он не подходит». — «Но я ведь не могу его оставить». — «Ты должна выбрать, — сказала Лидия, — ты любишь Вячеслава, а не его». Да, я любила Вячеслава, но эта любовь была такова, что я не понимала — почему Макс должен быть из нее исключен. Я чувствовала себя такой детски беспомощной перед этими двумя сильными людьми, так боялась вызвать их неудовольствие, что уже не могла себя чувствовать безмятежно счастливой, как раньше. То же было и с Максом. О моем конфликте я говорила с Минцловой. Она подняла меня на смех: «Они полагают, что из кратера вулкана потечет чистая водичка!». И в своем сивиллином стиле заговорила о «земном огне», через который я должна пройти. Я же думала о «*fuoco spirituale*» — духовном огне, озарившем леса Перуджии. Должна ли я отказаться от этого идеала.

Весной мать Макса, горячо участвовавшая в нашей жизни, впала в меланхолию; подобные депрессивные состояния у нее время от времени бывали. Почувствовала ли она беду? Она решила вернуться в Коктебель, тем более что в связи с началом сезона ее присутствие дома было необходимо. Макс не хотел отпустить ее в таком состоянии одну и поехал с ней. Может быть он — фанатик свободы! — считал, что он должен предоставить мне полную свободу решений? Но была ли я свободна?

Вячеслав требовал от меня послушания, в правильности его идей я не должна сомневаться. В одном из сонетов, написанном им в то время для меня, он предостерегает Психею, подносящую светильник к лицу возлюбленного:

Держа в руке свой пламенник опасный,
Зачем, дрожа, ты крадешься, Психея,—
Мой лик узнать? Запрет нарушить смея,
Несешь в опочивальню свет напрасный?
Желаньем и сомнением болея,
Почто не веришь сердца вести ясной,—
Лампаде тусклой веришь? Бог прекрасный
Я пред тобой и не похож на змея.
Но светлого единый миг супруга
Ты видела . . . Отныне страстью жадной
Пронзенная с неведомою силой,

Скитаться будешь по земле немилрой,
Перстами заградишь елей лампадный,
И близкого в разлуке клича друга.*

А Лидия? Действительно ли она верила в возможность союза трех, или она видела в этом единственный способ остаться спутницей мужа на всех его путях? И она, казалось, страдала, так как сказала мне как-то: «Когда я тебя не вижу, во мне поднимается протест против тебя, но когда мы вместе — все опять хорошо и я спокойна».

Когда Макс уехал в Коктебель, я не хотела оставаться одна в башне и решила отдохнуть в Царском Селе — летней резиденции царей. Окна моей комнаты выходили в старинный парк, где прошли детство и юность Пушкина, и в доме, где я жила, он часто бывал, и вся обстановка, до мелочей, еще напоминала о нем. В старинном липовом парке я много гуляла одна. Стихи, там написанные, были напечатаны той же весной в альманахе «Цветник Ор». Была ранняя весна — время таяния снегов, с нежными зелено-голубыми красками неба, блестящими желто-зелеными прядями мха на стволах старых деревьев и тем удивительно живым воздухом, который на севере в это время года овеивает так маняще, зовет и вдохновляет. Единственная неприятная сторона царскосельской жизни — агенты тайной полиции, торчавшие на всех углах и сопровождавшие мало знакомых им посетителей — господа, отличавшиеся старомодными усами, котелками и пальто горохового цвета. В давние времена им придумали такое одеяние, чтобы они не отличались по виду от обывателей. Но мода давно изменилась, а их «форма» оставалась прежней, так что теперь они всем бросались в глаза. Их так и называли — «гороховое пальто». Но они мне мало мешали, я была погружена в свою работу и радовалась, что могу показать свои достижения Макс и Ивановым. Так наивна я тогда была, что вовсе не осознавала всего значения конфликта, вошедшего в мою жизнь. Я думала: все опять наладит-

* Стихотворение VIII из цикла «Золотые завесы», «Cor ardens», Кн. 1, изд. «Скорпион», 1911 г.

ся, когда мы четверо соберемся в нашем имении и будем вместе жить и работать.

Один раз ко мне приезжала Лидия, другой раз — Вячеслав. Мы бродили по парку, и он рассказывал о своем плане нового журнала; средства для этого издания предложила одна его почитательница, чтобы — по ее выражению — «его гений получил широкое поле деятельности». Его идея заключалась в том, чтобы в общей работе узкого круга писателей создать полное единство; тогда в этом кругу разных индивидуальностей может заговорить единый дух. Он напоминал о средневековых соборах, которые именно так и строились. Теперь эти идеи кажутся мне порядочно иллюзорными, но тогда они для меня были огонь и пламя!

Как всегда в его присутствии мне приходили удачные мысли и образы, так что он, взволнованный, сказал: «А ты на носу нашего корабля будешь крылатой Нике!» Бедная Нике! Как скоро были оборваны ее крылышки — что и всегда бывает с крыльями иллюзий!

На Пасху я собиралась поехать к родителям в Москву. Но до того провела некоторое время в башне. В странной окраске вспоминаются эти дни! Весенние ночи светлы, мы в башне бодрствовали до утренней зари. Между супругами происходили бурные объяснения, в которых каждый хотел привлечь меня на свою сторону. Из этих гроз оба выходили освеженными, я же чувствовала себя опустошенной, потому что не понимала настоящей причины. Но одно было мне ясно: Лидия упрекала мужа в бездеятельности. «Я не хочу больше видеть твою праздную жизнь,— кричала она.— Что создал ты за эту зиму? Книжечку стихов «Эрос» и 12 сонетов Маргарите — и это все. Я стосковалась по строгой трудовой жизни!».

Была Страстная неделя. Я ходила на все церковные службы, хотела причаститься, надеялась получить просветление и укрепление душевных сил. В эти дни Ремизов прочитал нам свою новую поэму «Страсти Господни». С огромной мощью слов и ритма в этом произведении представлены демонические силы мира. И как будто сам автор, ликуя, отождествляется с силами зла. Заключительные слова: «Но у креста стояла Мать, Звезда Надзвездная...»* не создавали достаточного противовеса. Ад торжествовал. Когда Ремизов кончил, Вячеслав встал и, негодуя, воскликнул: «Это кощунство, я протестую!». Ремизов, и без того уже согбенный и раненый жизнью, еще больше сгорбился и молча ушел вместе с женой.

* В печатных изданиях это произведение не нашлось. Было ли оно напечатано?

Макс прислал новый цикл очень хороших стихов — «Киммерийские сумерки». Они написаны в редких античных размерах, взятых им у Вячеслава. Но Вячеслав очень резко раскритиковал стихи.

Я удивлялась, что Макс мне не пишет, но думала, что он хочет предоставить мне полную свободу. К тому же ведь мы скоро должны встретиться! Однако позднее я узнала, что все его письма, посланные тогда в Петербург, переадресовывались на какой-то незнакомый адрес в Берлин; в этих трогательных письмах Макс звал меня приехать, он ужасно страдал, а все его письма через некоторое время возвращались к нему из Берлина! Что это было? Чья-то непостижимая ошибка, недосмотр? Или сознательная воля, хотевшая нас разлучить? Лишь много позднее пришел мне на ум этот второй вопрос, но я и теперь не могу на него ответить. Конечно, я бы поехала к Максусу! Но я поехала к родителям в Москву, с тем, что вскоре мы соберемся в нашем имении.

Когда ночная скиталица явилась в добропорядочный родительский дом, она почувствовала себя по чести обязанной объяснить матери обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама пришла в неопикуемый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через ее труп, и она была в таком состоянии, что можно было поверить в этот труп. Я написала Ивановым, они немедленно ответили, что при таких обстоятельствах они, само собой разумеется, в Богдановщину не поедут; они наймут помещение в имении в одной из западных губерний и там всегда будут рады меня видеть. Тем временем их дети вместе со своей воспитательницей вернулись из Женевы в Петербург.

Это время в Москве я вспоминаю с ужасом; я сама себя видела преступницей, всякое решение казалось мне невозможным, так как любой шаг, который я сделаю или не сделаю, причинит страдание кому-либо из моих самых близких и дорогих людей. Я совсем потеряла сон, так как решиться все же было необходимо. Бабушкин дом, старая патриархальная семейная мораль, отчаяние мамы — все давило на меня нестерпимо; часто мне становилось физически нехорошо от этого качания между решениями; едва приду к одному, тотчас же другое начинает представляться более правильным.

Чтобы положить конец этому ужасному состоянию, я решила уехать к Максусу в Коктебель, но по дороге, без ведома мамы, захватить к Ивановым; на это требовалось приблизительно два лишних дня.

Друзья встретили меня в просторных, солнечных, овейных ароматами полей, комнатах деревенского дома. Я нашла, что они выглядят моложе и свежее, чем в башне. Лидия — в серьезном, строгом состоянии духа.

Окруженная детьми, она, казалось, покоилась в своей мощи. Она находилась в творческом настроении и работала над большим драматическим произведением. Вячеслав читал свои новые стихи; я рассказывала о своих открытиях: математические законы в молитве «Отче наш» — работа, спасавшая меня эти последние недели от полного отчаяния. Вячеслав был очень нежен, с оттенком отеческой любви, и это было мне так отрадно! Никогда еще не был он мне ближе, я чувствовала себя вернувшейся на родину. Этот день у Ивановых прошел, как блаженный сон, хотя я чувствовала недоброе отношение к себе со стороны старшей дочери Лидии — Веры и ее воспитательницы. Эта 18-летняя красивая блондинка была, казалось, теперь третьим членом союза. В здравомыслии Веры Ивановы находили глубокую мудрость и видели в ней «меру вещей». Лидия по отношению ко мне была сдержанней, чем раньше. Она не могла понять моей беспомощности. «Настоящая любовь не размышляет, это — категорический императив!» — Но последние ее слова были: «Будем жить и доверять жизни!». Они обещали вскоре приехать в Коктебель. Но они не приехали, и все мои письма оставались без ответа.

Трогательным вниманием встретил меня Макс, которому я заранее сообщила о своем заезде к Ивановым. Белые оштукатуренные стены его дома к моему приезду были украшены гирляндами полыни. Цветов в этой местности нет. Мы вместе бродили по окрестностям, так им любимым. Теперь только я ощутила их суровое величие. Но невыразимо печальны были наши встречи. Между ним и мною стоял фантом, державший меня в плену. Скоро в Коктебель приехали обе кузины и вместе с ними Минцлова. В конце лета пришла телеграмма от Вячеслава Минцловой: «С Лидией сочетался браком через ее смерть». Она умерла в три дня от скарлатины. Моим первым движением было — немедленно ехать к нему! Но Минцлова, которой я безгранично верила, воспротивилась и поехала одна, обещав мне телеграфировать, как только понадобится мой приезд. Но никаких известий от нее я так и не получила. Лишь позднее я узнала, что она обещала моей матери помешать моему возвращению к Ивановым. А кроме того, она сама хотела выступить в роли утешительницы.

ТЕНЬ ВЕЛИКАНА

Взбаламученное отечество

В Россию надо было ехать через Париж, Лондон и Скандинавию. Т. Г. Трапезников, тяжело переживавший свою вынужденную разлуку с Дорнахом, — Россия его страшила — считал мое решение легкомыслием. Всегда ко мне дружески расположенный, он был теперь раздражен и неприветлив.

В тумане морозного утра я увидела так мне знакомые силуэты Парижа, но это были призраки: это была тень Парижа в царстве Гадеса. Все часы показывали разное время. На улицах редко встречался автомобиль, лишь старомодные пролетки с хромающими лошадьми. Почти на всех дамах — длинные траурные вуали, немногочисленные мужчины — либо раненые, либо отпусники. Поэтому везде видно много черного. Для жизнерадостных французов необычайна была молчаливость людей в трамваях и ресторанах. В их глазах я видела решимость и серьезность, вокруг рта — складка ожесточенной воли. Из-за плохой организации Париж в ту, особенно холодную, зиму оставался без угля. Женщины, занятые непривычной мужской работой по очистке улиц, на транспорте и почте, выполняли ее терпеливо и самоотверженно — качества, вообще не свойственные французским женщинам этого слоя. В бедствии обнаружилось теперь благородство древней героической нации.

В день нашего приезда Германия объявила полную блокаду. Из-за опасностей морского путешествия женщинам не давали виз в Англию. Трапезников уехал в Лондон один. Недели пришлось мне ждать разрешения вернуться в Швейцарию. Когда же оно было наконец получено, я поехала не в Дорнах, так как Штейнера там не было, а в Энгадин. Впервые видела я эту любимую страну зимой. Над снегами, сиявшими ослепительной белизной, разверзлась бездна неба, темно-синяя, почти грозная. Замерзшие водопады образовали неподвижные складки, как на одеждах архаических греческих статуй. С детства я помнила Сент Мориц как маленькую деревушку с одной скромной гостиницей. Теперь я увидела мертвый город. Из-за войны гигантские отели были закрыты и походили на ассирийские мавзолеи. Мне казалось, что с тех пор прошло не 23, а 230 лет, и я стала свидетелем возникновения и гибели целой цивилизации. Я сама была здесь как бы вырвана из жизни и перенесена к границам бытия, в безмолвие вечности.

И в этот замерзший мир газеты принесли невероятную весть: в России — революция, самодержавие свергнуто. Я не поверила первым сообщениям и ждала опровержений. Но газеты продолжали сообщать о неслыханных событиях. Я читала о решениях Думы, об отречении царя, об образовании

Временного правительства с председателем князем Львовым. Я надеялась: теперь скоро будет заключен мир!

В маленьком пансионе кроме меня жила семья немецкого офицера, который был на фронте. Дамы обсуждали события только с одной стороны: могут ли они приблизить мир. Больше их ничто не интересовало. Вечное безмолвие гор вокруг меня при той буре в душе, которую вызывали эти известия, стало мне невыносимо. Я часто заходила в таверну, где обедали кучера почтовых экипажей. Здесь я встречала совсем другое отношение к происходившему. Здесь спорили и много расспрашивали о России.

Весной я получила через Швецию письмо от отца. «У нас чудеса! В один миг русский народ отказался от водки. В один миг исчезло самодержавие. Россия свободна! Люди на улицах, как братья, обнимаются и целуются, как на Пасхе. Поздравляют друг друга с Великой, бескровной Русской Революцией!». А я здесь совершенно отрезана от России!

Приятельница из Дорнаха написала мне, что скоро из Цюриха через Германию и Швецию отправляется в Петербург экстерриториальный поезд для тех, кто выступал против войны. Два таких поезда с эмигрантами уже отправлены. Я пошла по указанному адресу. «Есть ли у вас заслуги перед революцией?» — спросили меня. — «Нет, насколько я знаю». — «Тогда вы не можете ехать». В огорчении я ушла, но тотчас же вернулась и сказала: «Я вспомнила: у меня есть заслуга перед революцией, если вы сочтете это заслугой. Пользуясь знакомством с генерал-губернатором Джунковским, я смогла освободить нескольких политических заключенных из тюрьмы». Ссылка на генерал-губернатора Джунковского была в данном случае, может быть, не очень уместна, но этим людям было важно включить в состав уезжающих несколько частных лиц, не принадлежащих к партии и могущих оплатить проезд за свой счет. Так мои заслуги были признаны.

На вокзале — толкучка уезжающих и провожающих. Швейцарский социалист Гримм ехал с нами в поезде в качестве представителя нейтральной страны. На границе вошли восемь немецких солдат — нас охранять. С глубоким волнением смотрела я на эту страну Германию, ставшую для меня священной. В те летние дни она предстала мне чудесным садом. На лугах я видела русских военнопленных, работающих на покосе; на станциях, мимо которых мы проезжали, не было ни души: по строгому распоряжению военных властей к нам никого не допускали. На обед солдаты приносили нам бесплатно хороший мясной суп с хлебом, вероятно, для того, чтобы в России мы могли засвидетельствовать, что в Германии не голодают. Об историческом значении этого поезда и о причинах, побудивших Людендорфа организовать это путешествие, я в то время не имела ни малейшего представления.

Я не знала, что с первым из этих поездов в Россию уехал Ленин и другие большевистские лидеры. В нашем поезде ехали отставшие, с семьями, большей частью грязные, нервные и дерзкие люди; это было как бы прелюдией к предстоящим переживаниям.

Со шведской границы, где нас покинул Grimm и немецкие солдаты, началась нужда. Ни на одной из маленьких станций, где мы останавливались на запасных путях, нельзя было достать ничего съестного. Так начались бессонные ночи и голодные дни. Только в двух больших городах мы, как возвращающиеся на родину социалисты, были встречены с почетом. На перроне нас ждала прекрасно сервированная еда, и красивые высокие голубоглазые шведы-социалисты произносили торжественные речи. Наша публика — все эти изголодавшиеся, невымытые, небритые, растрепанные люди набросились, как дикари, на еду. О благодарственной речи в ответ на приветствия и помина не было. Мне было стыдно ужасно, но пришлось ограничиться только тем, что лично поблагодарить этих господ.

Наше путешествие в вагонах 4-го класса, прицепляемых к товарным поездам, длилось много дней и ночей. В Стокгольме из русского консульства сообщили, что нам не дадут разрешения на въезд в Россию. Там ветер переменялся: Керенский готовил наступление. Знакомые шведы, с которыми я повиделась, советовали мне вернуться или остаться здесь, так как они слышали, что в России голод. Нет, этого я никак не хотела!

Наконец, разрешение было все же получено. И возобновилось наше мучение. Перед финской границей мои спутники организовали хор и репетировали Интернационал, так как ожидалась торжественная встреча.

Хапаранда! — Финляндия, русская граница! Ночью светло, как днем. На перроне — высокие бородатые солдаты-сибиряки. Все они, как они мне сказали, тоскуют по родине. «Что это за страна! Даже ночи настоящей нет!». Нервный фанатичный товарищ начинает из окна вагона выступать против войны, выкрикивает заученные пропагандистские лозунги. Но у солдат он наталкивается на возмущение, скоро возрастающее до настоящей бури. Внезапно прорывается: «Вот они, эти черти, кто разваливает наш фронт! Мы кровь проливаем за святую Русь, а они нас предают! Бей проклятых подстрекателей!». Наверно, произошел бы погром, если бы поезд в этот самый момент не отправили. В догонку нам неслась ругань.

Желая отдохнуть от своих спутников, я ушла в вагон-ресторан. Трое элегантных мужчин очень солидного вида сидели за столиком и обсуждали инцидент. Из их разговора я поняла, что они едут с поручением Временного правительства. «Мы не пустим их в Петроград, телеграфируем, — было названо имя, отчество Керенского. — чтобы на границе их арестовали

и отправили прямо в Петропавловскую крепость. Они нам только вредят, эти мерзавцы!».

Можно себе представить, какие чувства не давали мне спать эту последнюю ночь нашего путешествия. На границе нас не арестовали, но и торжественной встречи тоже не было.

Оказалось, что весь мой багаж в багажном вагоне пропал. При обмене валюты вместо денег мне выдали почтовые марки.

Пока я ждала известий из Москвы, мои друзья Борис Леман и Васильевы рассказывали мне подробности революционных событий последних месяцев. Наконец, пришел ответ. Однако это было совсем не просто — сесть в поезд! Солдаты, стихийно разъезжающиеся с фронта, на всех поездах висели гроздьями. Летней ночью, через открытые окна, я слышала разговоры, которые велись на крыше нашего вагона. Молодые, энергичные голоса, никогда раньше в России неслыханные: «Мы перестроим нашу страну так, что все смогут жить, как братья. Все, кто хочет, сможет получить образование, самое высшее, неограниченное!». Потом: «Полиция? Зачем же полиция? Если у всех все в достатке, никто не будет ни красть, ни убивать. Подумай только — никакой ненависти не будет!». — «Но ведь буржуи не отдадут все это добровольно», — возразил кто-то. «А почему ты знаешь — может быть, они так и поступят. А потом — ведь это же будет просто закон. Ах, братцы, как прекрасна будет новая жизнь без тюрем, без насилия!». Все снова и снова я слышала эти молодые голоса, захлебывающиеся радостью: «Как великолепно построим мы новую Россию!». И так продолжалось всю светлую теплую ночь, пока не настал день, и я приехала в Москву.

Бледными и измученными выглядели люди в лохмотьях, стоявшие на улицах в длинных «хвостах» у магазинов. Ожесточенные, даже ненависть на лицах. Таких злых лиц я никогда не видела в России — как будто все, кто прежде, униженные и угнетенные, теснились в подвалах, теперь вышли на свет.

Я вхожу в квартиру, обнимаю Полю. — «Чем же мы будем вас кормить?» — говорит она и не может поэтому по-настоящему радоваться. Когда мама услышала, что я проехала через Германию, ее радость померкла. «Боже мой, да ведь это государственная измена! Никто не должен об этом знать!». «Подумай, — говорит отец, — крестьяне попросту вырубают наш лес! Я послал несколько телеграмм министру внутренних дел Щепкину с просьбой взять наши имения под охрану. Он ничего не делает». Позднее я подружилась со Щепкиным. Он сказал мне: «Мой стол был завален такими телеграммами. Что я мог сделать? У нас не было власти, царила полная анархия».

«И два вагона дров на зиму у нас украли, мы будем мерзнуть». Мама рассказала, что ее без всяких объяснений отстранили от должности попечительницы библиотек, ей там больше нельзя и появляться, и ее ученики не могли ее защитить. Как раз в этот момент я взглянула через окно на задний двор. Лошадь с возом дров падает и издыхает. Тотчас же из подвалов и кухонь выскакивают бешеные женщины с ножами и ссорятся у трупов, стараясь отхватить себе кусок мяса побольше. Теперь мне ясно стало, каковы у нас дела.

Встречаясь с родными и друзьями, я ужасалась лживости пропаганды против Германии. Но и я, конечно, не была беспристрастной; моя ошибка была в том, что духовную миссию Германии и глубокие причины войны я не умела отделить от оценки тогдашних правителей Германии.

Москва в то время представляла удивительную картину: повсюду серые солдатские шинели. Солдаты шли по улицам, солдаты сидели и лежали во всех заведениях и садах, солдаты висели гроздьями на трамваях, ехали на крышах. Все поезда приходили обвешанные солдатами. Во всех магазинах и лавках толпились солдаты. На фронте Керенский произносил речи, стремясь воодушевить армию и двинуть ее в наступление. А в то же время со стихийной силой шла фактическая демобилизация под действием волшебного лозунга большевиков: «Мир и землю!». Солдаты грабили сначала тыловые склады, а затем ехали домой, чтобы грабить в своей деревне помещичью усадьбу. Все стены и заборы в городе были заклеены плакатами, но едва кто-то пристраивал свой плакат, — какое-нибудь воззвание с программными пунктами, — как следующий же срывал его и наклеивал свой. В подворотнях стояли кучки простого люда, щелкающего семечки. Русский мужик умеет виртуозно вылушивать зернышко во рту. Прежде этим занимались больше для развлечения, но теперь — от голода. При этом нередко шелуха выплевывалась прямо в лицо прохожему с ненавистью и отчаянием. Целые кучи шелухи лежали у всех ворот, улицы не подметались: ведь была провозглашена свобода! Порывы ветра поднимали пыль, шелуху и пестрые обрывки плакатов и трепали их в воздухе.

Приятельница рассказала как-то, что ей пришлось дать своей няне отпуск на несколько дней: съездить к себе в деревню, чтобы пограбить усадьбу тамошнего помещика. «А то, — сказала няня, — я опоздаю и наши мужики все между собой поделят».

Моему отцу по состоянию здоровья хотелось хотя бы на несколько недель уехать в деревню. Тогда было еще можно в частном пансионе под Москвой снять комнату. Я поехала с ним. И мы снова, как некогда в Богдановщине, бродили по лесам и полям. Для него революция была прежде всего

освобождением от угнетавших его забот из-за запутанности денежных дел. Он вздохнул свободно, и его детски райская душа снова начала расцветать. Я благодарю судьбу, что мы еще смогли тогда вместе почитать основные сочинения антропософии, к которым он подходил с открытой душой. Раньше у него не было для этого душевного спокойствия. Это были его последние счастливые дни. Затем пришла настоящая нужда и голод. Болезнь его прогрессировала и он уже не мог работать.

Китти проводила лето поблизости и приходила к нам. Это были трагические дни после «Московского Совещания», состоявшегося в середине августа в Большом театре. Расхождения между левыми и правыми, все обостряясь, превратились в настоящую пропасть, а между Керенским и генералом Корниловым произошел раскол, в скором времени приведший Россию к катастрофе. «Что будет с Россией, что будет с Россией?» — повторяла Китти в отчаянии. Это было наше последнее свидание. Она умерла ближайшей же зимой от истощения после того, как ее насильно выселили из квартиры и она осталась буквально на улице в полной беспомощности.

Тетя моя Александра Алексеевна — писательница — еще за несколько лет до революции продала свой родительский дом и снимала две комнаты в старом ампирном особняке одного, уже умершего, генерала. Одну она теперь уступила мне. Хозяйка дома, ее сын юнкер и две старушки — бывшие придворные дамы — были настроены крайне реакционно и злобно. Александра же, напротив, следила за событиями с большим и положительным интересом; она сохраняла его до самой смерти в 1925 году, хотя не только потеряла все свое состояние, но и как бывшая миллионерша не раз подвергалась опасности потерять и жизнь. Ее всегда окружала молодежь, которой она давала средства для учения в университете. Пока она была богата, она давала им денег в долг, чтобы они не чувствовали себя от нее в зависимости, а позднее они их постепенно выплачивали. Благодаря своей богатейшей библиотеке и большим познаниям, она во многом содействовала также культурному развитию этих молодых людей.

Я тогда отдавала все силы больше всего антропософской работе. Т. Г. Трапезников, с которым я рассталась в Париже, все эти месяцы провел в ожидании отъезда в Лондоне, так что в Москву мы приехали почти одновременно. Когда собирался наш кружок, нас всякий раз охватывала какая-то удивительная радость. Так было во все тяжелые годы, проведенные мною с друзьями. Мы радовались друг другу, находили друг у друга помощь в повседневных делах, обогащали друг друга во внутренней работе, каждый чувствовал, что удача другого поднимает его собственные силы. Каждый вечер та или иная группа собиралась в помещении Общества. С группой в 14

человек я начала заниматься эвритмией, передавая им, насколько было в моих силах то, что делалось в то время в Дорнахе. Через год мы уже поставили сцену пасхальной ночи из «Фауста» так, как она давалась в Дорнахе, и как она и до сих пор идет на дорнахской сцене. Эта общая работа поддерживала нас во все самые тяжелые годы. Во времена полнейшей анархии, когда фонари на улицах не горели и в непроглядной темноте слышны были выстрелы и крики, мы все из вечера в вечер собирались в Обществе.

Начиная с Февральской революции и еще некоторое время после захвата власти большевиками в октябре — пока коммунистическое правительство было отвлечено другими заботами — в России существовала свобода мысли, свобода слова. Бедная Россия! Родина народа, который как никто другой нуждается в свободе для выполнения своей миссии, для самого своего существования, для которого свобода — не абстрактное понятие, не отвлеченный идеал, но самый воздух жизни!

В эти единственные свободные месяцы антропософия тоже имела возможность выступать публично. Особенно Андрей Белый, облакавший свои выступления в своеобразные творческие формы, собирал вокруг себя восторженных слушателей. В хаосе, возникшем в России, когда были расшатаны застывшие формы, со стихийной силой вырвалось на поверхность не только — как теперь некоторые считают — все зверское и темное; нет — то поднялись из глубочайших основ народной души великие вопросы жизни, вопросы, которые так ставить способна, может быть, только русская народная душа, но «без ответа на которые человечество не может двигаться дальше». И можно понять — что опьяняло тогда в революции и Андрея Белого и Александра Блока. Душевная широта русских имеет, как и все душевные свойства, свои теневые стороны. Дионисически-люциферическое начало, ненавидящее косные формы жизни, ликует, когда эти формы охватывает пожар. Многие поэты впоследствии дорого заплатили за подобные иллюзии.

Через Андрея Белого я познакомилась также с Сергеем Есениным, молодым поэтом из народа. У меня создалось тогда впечатление, что эта тонкая поэтическая душа разорвана и больна как интенсивностью своих собственных переживаний, так и глубоким разладом в происходивших вокруг нас событиях. Известно, что через несколько лет он покончил с собой.

В доме, некогда принадлежавшем славянофилу Хомякову и сохранившем стильную обстановку начала XIX века, вернувшаяся из эмиграции супружеская чета собирала футуристических поэтов и художников. Там я познакомилась со многими из них, в том числе с Владимиром Маяковским. Этих

художников отличало бурное, стихийное разрушение форм вместе с самоутверждением — этим суррогатом истинного человеческого достоинства. В таланте, оригинальности им нельзя было отказать. Когда Маяковский декламировал: «Это я, Маяковский Владимир, пьяным глазом обволакиваю цирк . . .»*, это звучало ораторски великолепно. Станным построением фраз его язык приобретал огромную динамичность. Казалось, поэт плавает в нем, как в живой стихии, подчиняя ее. Никаких условностей и абстракций у всех этих поэтов не было и следа. Здесь кипела битва против идеалов прошлого, принятых нами от античности; эти люди воспринимали их как ложь. Дерзость «сбросившего оковы» пролетария меня не пугала, это можно было считать чем-то вроде детской болезни. Тревожило другое: создавалось ощущение, что этим душевным богатством демоны ведут свою игру. Личность поэта не имела четких очертаний, но из его стихов в жизнь врвалось что-то из первобытных глубин, что могло принести с собой нечто неожиданное и роковое. Известно, что для самого Маяковского это стало роковым, потому что и он покончил с собой. Еще до первой войны выступали такие же разрушители старых форм, всяких форм вообще, что было равносильно разрушению идей, смысла. Художники, справедливо отвергавшие натурализм, но не нашедшие пути к высшим духовным реальностям, отходя от природы, которая до известной степени все же является отпечатком божественных прообразов, неизбежно попадают в область подприродного, демонического бытия, ту область, откуда выходят также создания современной разрушительной техники.

Духовность прежних времен черпала свое содержание из непосредственного созерцания и переживания Божественного. И этой божественностью она могла бороться и побеждать действие демонических сил. Человечество же нашего времени стоит между миром субъективно душевным и железными законами внешнего, обезбоженного мира. В революционной России я видела этот дуализм во всей его трагичности. Также и в политической области символическим было отсутствие «середины». Был юный русский народ, не создавший еще собственной культуры и подпавший под влияние сущностно ему чуждой дряхлой культуры Антанты. Этот разрыв, который должна была бы заполнить Германия, если бы она действительно осознала себя и свою миссию, я тогда ощущала очень глубоко.

Члены Временного правительства были людьми высокой культуры. Лично для себя они ничего не хотели и стремились умиротворить всех, обеспечить свободу всем партиям, ничего не предпринимая, ничего не навязывая народу силой. Они готовили выборы в Учредительное собрание; «всеобщим, равным,

* Из поэмы «Война и мир».

тайным и прямым» голосованием народ должен был сам выразить свою волю. Но почему они хотели заставить народ, вопреки его ясно выраженной воли, продолжать войну, действительно превратившуюся в «бессмысленную бойню»? Для этого им пришлось даже восстановить уже отмененную смертную казнь. Но смертная казнь так противна натуре русского народа, что еще при царском режиме постоянно находились группы крестьян, подававших царю петиции об отмене смертной казни, сами рискуя при этом своей свободой и жизнью. Если большевики требовали немедленного мира, привлекая этим народ на свою сторону, то сторонники Временного правительства стояли за продолжение войны. Этой логики я не могла понять. Эти люди с их превосходными речами казались мне «блуждающими огнями» из гетевской сказки, которые способны только давать абстрактные истины в виде отштампованных монет, но не знают «плодов земли». Стихийные силы русского народа возмущались, как в этой сказке возмущается великая река, когда в нее попадают золотые монеты «блуждающих огней». Надо вспомнить также, что эти деятели Временного правительства — с некоторыми из них я позднее познакомилась лично — вовсе не были подготовлены к выполнению своих задач. Если большевики в эмиграции до мельчайших деталей разрабатывали свои революционные планы, то для деятелей Временного правительства события явились неожиданно и никто из них не имел решимости принять на себя бремя власти. Верные своим старым идеям, которые в новой ситуации были просто неприложимы, и не желая идти на компромисс со своей совестью, они один за другим уходили со своих постов и отдали Россию большевикам. Вместо Учредительного собрания мы получили большевистский октябрьский переворот.

Четыре дня мы сидели дома, пока в Москве бушевали бои, и наши стены были продырявлены пулями. Александра Алексеевна, в противоположность паническому настроению окружающих, была — само спокойствие, около нас разграбили винный склад и от перепившихся людей можно было ожидать чего угодно. Нам советовали спать не раздеваясь. Но она ложилась в постель в полном душевном спокойствии. Большевики стреляли из пушек с колокольни Страстного монастыря. Когда началась и все усиливалась бомбардировка из тяжелых орудий, мы опасались, что наш деревянный домик может загореться, и сошли вниз, в подвал, где жил портной. Не знаю почему, он принял меня за коммунистку и шепнул на ухо: «Я посылал мальчишку на разведку, наши побеждают!».

В эти дни я впервые прочитала всего Фауста с начала до конца. Так же случилось и позднее, во время восстания матросов в Кронштадте в 1921 году, когда я сидела взаперти в своей комнате в Комиссариате иностранных дел

все время под угрозой, что здание будет осаждено восставшими; там я прочитала все три части «Божественной комедии». В подобных ситуациях чувствуешь себя как бы поднятой над временем.

Когда бои кончились и большевики победили, я поспешила к родителям, потому что между Пречистенкой, где они жили и где находилось также здание Генерального штаба, и Кремлем происходили самые сильные бои. Улицы выглядели жутко. Повсюду лужи крови и разбитые господские дома, кучки злорадствующих людей. Потом пошел первый в этом году снег и покрыл — милосердный и очищающий — следы беды. Родители были невредимы, но совершенно подавлены событиями.

В тот же день мы — антропософы — не сговариваясь, собрались в помещении Общества и читали статью Штейнера о принципах истинного социализма.

Через несколько дней все банки, сейфы, склады были конфискованы, также, разумеется, и все земельные владения. В домах реквизировали золото, серебро, меха. В один миг мы лишились всего. Но мы об этом не горевали, это было освобождением от того сознания вины за свою принадлежность к привилегированному классу, которое в той или иной мере испытывали тогда многие.

В разговорах — удивительное смешение простонародных суеверий с новейшими лозунгами большевиков. Солдаты, бегущие с фронта «углубляли революцию». Сначала героями дня были шоферы, так как их никто не мог догнать, если они что-либо «социализировали», быстрота исчезновения с места преступления давала им новое ощущение свободы. Затем появились матросы — в еще большей мере «герои революции». Завитая прядка, скрепленная брильянтином, свисала наискосок из-под шапки на лоб; у них было так много денег, что пачки «керенок» — 40-рублевые ассигнации, печатавшиеся во время Керенского — они запросто разбрасывали вокруг. «Что купишься на брильянтин, товарищ? Лей флакон, я плачу», — это их стиль. Повсюду открывались «красные уголки» для танцев. Матросы и солдаты танцевали со своими «якобинками» в красных платочках уанстеп и фокстрот. Даже революционные часовые приплясывали фокстротом на своих постах. В совершенно темных улицах слышны были крики и выстрелы.

И в то же время: «Нет, — услышала я вздох одного крестьянина, — сперва надо было дать нам образование, а уж потом — революцию, а то нам, темным, неграмотным, слишком рано дали революцию. Так не годится». Другой сказал: «Как можно жить без царя? Порядка не будет. Его надо вернуть». — «Как же так? Его свергли потому, что он этой своей войной Россию погубил». — «Но может быть, он тем временем одумался . . . Без царя

ничего не выйдет». Когда женщины пели «Марсельезу», она звучала у них удивительно уныло, плаксиво.

Вскоре после переворота художник Грабарь, наш друг Трапезников и искусствовед Машковцев обратились к правительству с предложением дать им полномочия охранять ценные памятники искусства и культуры от разрушения и грабежа. Отсюда возникло большое учреждение «Охрана памятников искусства и старины». Во главе этой организации стояла жена Троцкого, ничего не понимавшая в искусстве; Трапезников стал ее правой рукой. Таким путем удалось сделать много хорошего для искусства, а также и для отдельных людей. Были спасены не только дворцы и художественные коллекции, но также и их владельцы. Большею частью такой дом объявлялся музеем, а его бывшему владельцу разрешалось остаться в качестве хранителя.

Химеры

Впервые придя в столовую художников на Пречистенке, я застала всех в приподнятом настроении. Я встретила здесь почти всех знакомых художников, также и Петю Кончаловского — теперь прославленного мастера школы Сезанна, — которого я не видела со времен моего детства. Все были преисполнены планов. Обсуждался заказ правительства на издание монографий о художниках. Вот, наконец, — подумала я, — старик Александр Иванов получит свою монографию, — и предложила включить его. Но каждому хотелось издать поскорей только себя.

Один художник-коммунист спросил меня — не хочу ли я работать секретарем в отделе живописи «Пролеткульта»? Это учреждение, которое тогда только что создавалось, должно было стать общеобразовательным центром для рабочих по всем отраслям науки и искусства: живописи, поэтики, музыки и театра, истории и политэкономии. Московский Пролеткульт должен руководить и служить образцом для пролеткультов по всей стране. Но не только в общероссийском, нет — общеевропейском масштабе мыслилась эта работа. «Советская Россия во всех областях проложит новые пути и поведет за собой все страны мира» — так утверждали тогда. Поэтому нужна была секретарша, могущая вести иностранную корреспонденцию. В мои задачи входила также организация во всех районах Москвы студий живописи и лекций по искусству. Хотела ли я? Ну разумеется! Разве не было это исполнением глубочайшего моего желания — открывать народу доступ к искусству. Я приехала из Дорнаха, от источника новых художественных импульсов, и мне открывалась возможность работать в учреждении, которое

должно было стать руководящим для пролетариата всей России! Я была так счастлива, что и голод, и холод, и то обстоятельство, что у меня не было крыши над головой и каждую ночь приходилось спать в разных местах,— не имели для меня никакого значения.

Пролеткульт помещался в нашем районе, занимая специально для него реквизированный «Мавританский дворец» крупного негоцианта Морозова. Это был один из тех фантастически роскошных особняков, которые строили для себя не очень образованные миллионеры, но их пестрота вполне подходила восточному облику Москвы. Швейцар — бывший слуга домохозяина — с немym негодованием рассматривал пришельцев из «простого народа», которые «расселись в барских покоях». У меня, как одной из «господ», он надеялся встретить сочувствие.

Меня очень занимали мои соработники. «Коммунистическая ячейка» (комячейка) состояла из трех стопроцентных марксистов. Поначалу эта «ячейка» не слишком выступала на первый план. На одном из заседаний в руководителе музыкального отдела я узнала знакомого, участвовавшего в моем антропософском вступительном кружке, а график — очень симпатичный и талантливый художник, немедленно завел со мной разговор об антропософии. Вскоре в отдел поэтического искусства пришли в качестве преподавателей Андрей Белый и Вячеслав Иванов. В отделе театрального искусства преподавал князь Волконский, бывший директор императорских театров. Он был сторонником интересного метода Дельсарта, основанного на трехчленности человеческого существа, и по этому методу вел свои занятия в Пролеткульте. Живопись преподавал ученик Петрова-Водкина.

Наши студийцы, в большинстве фабричные рабочие, открытые, всем интересующиеся люди. Уже их первые рисунки углем, увиденные мной через несколько дней, поразили меня чем-то совершенно новым, что в них открывалось. Все линии, все формы не были здесь пассивным подражанием природе, они представляли нечто, что вызывается в человеке природой, но заново рождается в душе. То, чего искали современные художники, здесь сразу же было налицо. Не насильственный выдуманный экспрессионизм, а некий само собой разумеющийся новый взгляд на мир. Этот новый слой людей несет в себе динамику, которая взорвет статические формы мира трех измерений; то, что в эпоху Ренессанса было завоевано, чтобы дух мог найти свое полное воплощение, теперь стало статикой, пассивностью натурализма в искусстве. Эти люди — они все это взорвут! Они живут не головой, которая только отражает существующее, они живут сердцем и мускулами, в которых действует воля, творящая будущее. Так же ново было и их отношение к результатам своих работ. На свои произведения они смотрели с юмором;

само по себе делание было для них важно; то, что при этом получалось, было лишь следами этого делания и само по себе не имело для них значения. Они жили в становлении — в том, что было ново, чего требовала эпоха. И как были счастливы эти люди, получая возможность творить — что, собственно, и значит «быть человеком».

Здание Пролеткульта находилось близко от военной школы, где каждую ночь расстреливали людей. В квартире, где я большей частью ночевала, всю ночь были слышны эти выстрелы за стеной. А днем я видела студийцев Пролеткульта, людей, жаждущих истинного смысла жизни, ставящих миру глубокие, даже глубочайшие вопросы. С каким доверием, с какой благодарностью принимали они то, что им давалось! В этом двойственном мире я тогда и жила. Некоторые знакомые упрекали меня, что я не саботирую большевиков, а работаю с ними в Пролеткульте. Я отвечала: «То, что мы можем дать рабочим, не имеет ничего общего с партийностью». Я была тогда убеждена, что большевизм, по своему существу чуждый русскому народу, просуществует в качестве переходной стадии лишь в течение какого-то краткого промежутка времени. А то, что рабочие получают, участвуя в культуре, — общечеловеческое — останется и тогда, когда большевизм исчезнет. Охватывало волнение, когда я видела, как эти зеленые от голода и опухшие люди в ледяном холоде аудиторий слушали лектора. Где еще можно было встретить такие лица, такие души, полные поглощающего внимания? И наконец-то, наконец, мы могли давать им то, что для нас самих составляло смысл и ценность жизни.

Вместе с друзьями искусствоведами я разработала программу, и в разных районах Москвы, где Пролеткульт располагал помещениями, мы устраивали публичные лекции по искусству. С показом диапозитивов скоро стало трудно из-за недостатка освещения, но все же лекции имели большой успех, потому что лекторы были охвачены таким же воодушевлением, как и слушатели.

В большой рабочей аудитории Андрей Белый выступал против контрреволюции. Но настоящая контрреволюция, — говорил он, — та, что как пережиток буржуазного образа мыслей, стремится утвердить материалистические взгляды — теперь, после того, как совершился великий переворот! И он говорил о работах Штейнера, взрывающих границы познания и указывающих новые пути к духу. Лекция вызвала такое воодушевление, что слушатели подняли его на руки и хотели по старому обычаю «качать». Удивительно, что его вовсе не легкий язык встречал такой отклик у рабочей аудитории. Высшего смысла жизни искали души, вот о чем они хотели узнать. Также и ученики студии поэтического искусства высоко ценили Белого; из них выросла интересная группа поэтов.

Но в течение зимы «коммунистическая ячейка» заметила, что таким путем марксизму приходится туго. Мне было приказано конспекты лекций по истории искусства представлять в ячейку для утверждения. То, что они не понимали, они высмеивали. «Ваши лекторы — буржуи, они не могут понять наших идей, не умеют выводить явления искусства из классовой борьбы. Товарищ Х — умеет. Перед каждым новым периодом истории он будет давать основополагающую марксистскую лекцию в свете экономического материализма. Ваши лекторы должны только давать иллюстративный материал и пусть остерегаются примешивать собственные идеи. Вот программа — ее вы должны держаться». Так мало по малу нам стало невозможно работать. То же самое происходило и с Андреем Белым и Вяч. Ивановым. Руководителю музыкального отдела удавалось лучше, чем нам, работать без помех. Организуя оркестры по всей России, он сделал много хорошего. Однажды ко мне пришла женщина записаться в студию живописи. Она назвала свое имя: Мария Бшесток. «Вы приехали с фронта?» — спросила я. Было много слухов о женщине, носившей это имя, не имевшей себе равных по кровожадности. «Да, я комиссар Бшесток, приехала прямо с фронта углублять революцию в стране». У нее был очень усталый голос и бесконечно печальные глаза; такие я видела у многих чекистов. Вскоре она появилась на заседаниях в качестве делегата от учеников со всевозможными протестами: преподаватели несправедливы, одним говорят много, другим мало, освещение плохое, мы мерзнем. Как будто вся Россия не мерзла! Но ей-то это еще не было известно. Спокойная работа стала невозможной, настроение в студии совершенно изменилось.

В «ячейке» Пролеткульта родилась изумительная идея: поезда, отправляемые во все концы страны, надо расписать пропагандистскими картинами. Наши студийцы и другие художники могли записываться на эту работу. За нее полагался паек красноармейца и денежная плата. Вагоны, которые надо было расписывать, находились на запасных путях у разных вокзалов. Стояли жестокие морозы. Я должна была записывать имена и направлять художников к месту работы. Люди ждали, дрожа от холода и страха, что их не примут. Мучительно было видеть этих художников, среди которых я встречала знакомых, так униженных нуждой.

Все труднее становилось нам в Пролеткульте вести работу в нашем духе. «Ячейка» все туже натягивала вожжи. В марксистских лекциях для рабочих зачастую я слышала насмешки над Толстым, Достоевским и другими старыми писателями. «Уроки Закона Божия» называли ученики эти лекции, столь же обязательные, как «уроки закона Божия» в прежние времена. Мертвящая рука ложилась на все и уничтожала живые ростки. Я видела

людей разочарованных, обманутых. Чувство братства, живущее в русском человеке, дьявольской пропагандой превращалось в ненависть к буржуям. Видеть это было мне хуже голода, холода и террора. «Не бойтесь убивающих тело, больше бойтесь убивающих дух».

Понемногу на вечерних занятиях стали появляться совсем другие люди, с другими целями; по углам и в коридорах случалось наткнуться на неприятные сцены. Состав преподавателей тоже менялся. Я еще некоторое время оставалась в качестве «консультанта» на заседаниях.

В день празднования годовщины Октябрьской революции Андрей Белый зашел за мной, и мы пошли бродить по Москве. Улицы кишели народом. В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не только все дома были украшены красной материей — хотя население ходило в лохмотьях, — не только повсюду висели гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны.

Обширная Красная площадь полна народу — как прежде бывало в Вербное Воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше, при царском режиме. Несмотря на голод, народ — в эти первые месяцы революции — уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц. Потом появились два серебристых сияющих аэроплана и кружились над площадью в темно-синем небе. Такая синева бывает только в России в начале осени. Все с ожиданием смотрели вверх. И с неба полетели тучи серебристых голубей. Это зрелище на фоне белых стен и золотых луковок Кремля было пророческим для России. Всегда русский народ ждал манны небесной. Но это были не голуби и не «Голубиная книга», некогда упавшая с неба, — это были белые листки бумаги. Их ловили в воздухе, поднимали с земли, разбирали слова и читали призывы к кровавой расправе с буржуями.

Вторая химера вошла теперь в мою жизнь. Я стала сотрудницей Театрального отдела Народного Комиссариата просвещения, в секции театра для детей. В чем, собственно, заключалась моя задача, я так и не поняла. Понимала ли это сама заведующая отделом Каменева, сестра Троцкого, по профессии акушерка, — я очень сомневаюсь. Мы пребывали в ожидании чего-то, что должно произойти, само собой разумеется, «во всероссийском масштабе». Было очень много заседаний с известными режиссерами, писателями, артистами варьете и цирка. Там я познакомилась, между прочим, с клоуном Дуровым, получившим мировую известность своими дрессированными зверями. Глаза его очень походили на звериные. Он был убежденным коммунист-

том. «Я разрешил социальную проблему, — сказал он мне, — у меня волк мирно живет вместе с козой». Позднее я увидела это сообщество: волк дрожал перед козой.

На одном из этих заседаний, в присутствии Народного комиссара просвещения Луначарского, я представила план развития детских театров. Так как ничего практически эффективного предпринять было невозможно, мы усиленно занимались проектами. Режиссер Мейерхольд восхитился моими предложениями и даже нашел, что здесь закладывается зерно будущего театра вообще. Луначарский был того же мнения. В России тогда люди очень легко воодушевлялись. В лице Луначарского, с его острой бородкой и косо поставленными глазами, было что-то такое, что просматривалось также в лицах Ленина, Троцкого и других коммунистических лидеров и делало их — несмотря на разнообразие черт — похожими: что-то козлиное, мефистофельское.

Однажды товарищ Каменева пригласила меня к себе на вечер, где Луначарский должен был читать пьесу Рукавишникова. Мы прошли в ворота Кремля, этой крепости большевиков, куда вообще простые смертные не допускались, получили пропуска и поднялись по парадной лестнице старого боярского дома. Один художник, тоже приглашенный на это чтение, не помнил себя от восторга и подобострастия. «Как неожиданно! Вот счастье!» — некоторые люди, кажется, рождаются специально для верноподданических чувств.

Кроме Рукавишникова и его жены среди приглашенных был все время молчавший поэт Балтрушайтис, бывший в то время послом Литвы в Москве, режиссер Мейерхольд и несколько партийных товарищей мне незнакомых. Товарищ Каменев, показавшийся мне тогда очень почтенным господином, приветливо нас принимал. Странное ощущение — находиться в этом обществе под сводами древнерусских покоев! В углу сидел Луначарский с очень красивой женой Рукавишниковой, которая в то время была его возлюбленной. Черные локоны и шелковое платье, юбка в широких складках, как у якобинок Французской революции. Он шутил гадал ей по руке, она хихикала. Затем он подошел ко мне и сказал очень благосклонно: «Я слышал, вы будете заведовать отделом живописи во Дворце искусств. Будьте уверены, что с моей стороны вы всегда встретите симпатию и интерес к этой работе». Затем он спросил меня — правда ли, что я «непосредственная ученица» Штейнера? Я ответила утвердительно, а про себя вспомнила возглас индейцев, увидевших корабли Колумба: «Горе нам, мы открыты!». Но Луначарский, который — как мне рассказывал один из его друзей — в пору своей эмиграции в Женеве залпом прочел «Тайноведение» и сравнил его с футой Баха, теперь не интересовался «астральными приключениями господина Штейнера». Луначарский среди своих товарищей слыл, так сказать, бардом революции, соловьем; не знаю — насколько они с ним действительно считались. Позднее он был снят с поста Наркома как недостаточно твердый в своем коммунизме.

Одноактную пьесу Рукавишникова он прочел действительно превосходно. Эта драматическая сцена задумана как бы в виде дополнения к пушкинской «Русалке». Соблазненная князем дочь мельника утопилась в Днепре и стала русалкой. Вокруг ее сумасшедшего отца собираются всякие нечистые духи и решают заманить князя в Днепр, что им и удается. Жуткое это произведение! Но в поэтическом отношении очень сильное. Отталкивала в нем какая-то призрачность, как будто бродили здесь привидения из мира ниже человеческого. «Как противовес здесь должен бы появиться человек», — сказала я, когда после чтения началось обсуждение пьесы. Я посмотрела вокруг. Не находилась ли и я здесь среди кобольдов и ляров, замышляющих недоброе? После полуночи было сервировано угощение: каждый получил чашку жидкого чая без сахара с ломтиком черного хлеба. Это значило: «Смотрите, у нас еды не больше вашего!». Но зато здесь подавались чашки и ложки с царскими коронами.

Месяц сиял ослепительно, и снег скрипел под ногами, когда я около двух часов ночи в странном состоянии духа вышла из ворот Кремля. У дома родителей я напрасно стучала изо всех сил во входную дверь, старички ничего не слышали. В эту морозную ночь мне пришлось долго странствовать по безлюдным улицам, пока я наконец обрела приют на ночь: все подъезды и двери домов были забаррикадированы, звонки не действовали. Но вот что удивительно: я тогда ничего не боялась и все время, пока была в России, чувствовала себя, как «под золотым дождем».

История с «Дворцом искусств», о котором мне в тот вечер в Кремле говорил Луначарский, получилась так. За день до описанного вечера я пошла в знаменитый своей архитектурой и внутренним убранством дом Соллогуба, описанный Толстым в «Войне и мире» как дом графа Ростова. В этом доме помещалось, между прочим, правление Союза художников. Я хотела получить там какую-то справку и случайно попала на заседание. В полукруглом флигеле этого дома учреждалось нечто вроде вольной академии живописи. Я приняла участие в заседании, в результате чего через какие-нибудь полчаса меня выбрали руководителем этой академии. Я спросила Рукавишникова — заведующего «Дворцом искусств» — есть ли у нас деньги, есть ли достаточно дров для отопления отведенного нам помещения, получим ли мы краски, кисти, холст? Он заявил, что со всем этим дело обстоит наилучшим образом, так как нарком Луначарский очень интересуется этим начинанием и все для нас сделает. Мне в том же доме наверху отвели восхитительную поэтическую комнату со старинной мебелью и синей кафельной печкой XVII века. И я получила право питаться в столовой «Дворца искусств». Стоит только вспомнить, как мне приходилось плохо весь этот год от голода, холода, особенно же от невозможности продуктивно работать, чтобы представить себе, как я была счастлива от этой сказочной перемены моей судьбы. «Вы можете сейчас же переехать», — сказал Рукавишников, а его красивая флинсоподобная жена приветливо улыбалась. Они тоже жили в этом доме.

В уме я уже составляла план работы: курс гетевского чтения о красках, упражнения в «чувственно душевном» восприятии красок, также и этюды с натуры для желающих.

Когда я пришла к родителям и все им рассказала, мама заметила: «Ах, у тебя все так фантастично!» С этим я должна была согласиться. Я уложила чемоданчик и отправилась во «Дворец», где впервые за долгое время заснула в хорошо протопленной комнате. От столовой «Дворца» особой радости не было: мне дали тарелку кипятку, в которой плавали несколько ломтиков нечищенной картошки и хвостик воблы.

По объявлению в газетах к нам приходило много желающих записаться на курсы. Я заказала мольберты, подготовила вступительную речь. Когда принесли мольберты, и я представила Рукавишникову счет, он уклонился: «Пусть они подождут, у меня нет денег». Он говорил удивительно сбивчиво, и я заметила, что он пьян. На другой день печка в моей комнате не топилась. Я спросила сторожа — в чем дело? «Сегодня я могу еще принести немного дров,— сказал он,— но на завтра у нас уже ничего нет». А Рукавишников находился в еще более загадочном состоянии. «Да, да,— сказал он,— мы вообще больше не можем отапливать дом». Я обратилась к его красивой, неизменно улыбающейся жене: «Как же нам достать дров?»—«Ну, нам теперь нужно со всем нашим «Дворцом искусств» приписаться к военному ведомству».—«Как так?»—«Ну, чтобы Х,— она назвала фамилию большевистского генерала,— нам помочь». Я смотрела на нее совершенно ошеломленная, она улыбалась своей сфинксоподобной улыбкой. Скоро я узнала, что именно в это время она изменила Луначарскому и стала любовницей крупного большевистского военачальника.

Снова я осталась без крыши над головой и каждую ночь спала где придется, не имела работы и голодала. Театральное Управление направило меня в некое учреждение; название его, состоявшее из множества начальных букв, было непроизносимо. Суть дела заключалась в организации «отдела культуры» для служащих вновь строящихся железнодорожных линий. Мне поручили руководить детским клубом, который должен был, конечно, служить образцом для всей России.

Мы занимались по вечерам. Я рассказывала детям сказки, которые мы тут же экспромтом драматизировали, мы рисовали, пели и делали эвритмию. Мы жили очень мирно и счастливо. Время от времени появлялись педагоги за инструкциями по руководству такими клубами, так как, само собой разумеется, мы работали «во всероссийском масштабе». В педагогике я была совершенным профаном. В своих советах я опиралась только на свое собственное чувство и на лекцию Штейнера «О воспитании детей». Педагоги же думали, что это и есть рекомендуемое государством новое направление. Днем я должна была копировать схему, на которой кружками и линиями изображался всероссийский административный аппарат, частично еще не существующий. Сокращенные названия учреждений, составленные из началь-

ных букв, казались мне именами каких-то чертенят. Могут ли быть имена, не связанные ни с каким существом? Я могла выполнять эту работу дома. В помещении же конторы сидел философ Николай Александрович Бердяев в меховой шубе и боярской шапке, согреваясь стаканом кипятка. Посмотрев на мои работы, он сказал: «Завидую вам, что вы можете так «продуктивно» работать. А я до сих пор не знаю, зачем я здесь сижу».

После 14-ти дней отпуска по болезни я пошла в свое учреждение получить деньги и паек, но за всеми столами сидели новые люди. «Я не нахожу вас в списке»,— сказала кассирша. «Как так? Я же заведующая детским клубом».— «Гражданка, вы не туда обратились. Мы здесь...— она назвала новое название,— мы уже несколько дней как сюда переехали».

И ни одна душа не знала, какое учреждение занимало это помещение до них. Тщетно я его разыскивала. Оно исчезло бесследно.

(...)

В другом городе

Явившись со своим чемоданчиком к Лигскому, я была поражена его жильем: он жил во дворце. Его молоденькая жена из немецкой дворянской семьи, с которой он познакомился в Дорнахе, имела мужество в первые же дни перемирия через два фронта приехать к нему. «Почему вы не телеграфировали?— спросил он,— я бы привез вас с вокзала на автомобиле». Я знала, что во всем городе было только три автомобиля. Чем же стал теперь Лигский, если он мог привезти меня на автомобиле?

Моя квартирка из двух комнат и кухни была восхитительна. И тепла — центральное отопление! Только золоченая мебель меня ужаснула. Лигский улыбался. «Это собрал сотрудник, товарищ X, но при чистке партии он вылетел». Так я унаследовала золотую мебель. Затем Лигский провел меня по всему Комиссариату в библиотеку и представил заведующей; это была ярая коммунистка. Ее сотрудницы, молодые дамы, смотрели на меня с подозрением. Эти бывшие придворные дамы принимали меня за коммунистку, потому что меня привел Лигский. Я спросила его — примирился ли он с большевиками? «Можно пренебречь небольшими различиями и помогать делать то, что нужно для социализма». Постепенно выяснилось, что мой бетонщик стал теперь главой Петербургского отделения Комиссариата иностранных дел. Я нашла, что он изменился, особенно глаза его поражали своим мрачным выражением.

Библиотека, где я занималась писанием каталожных карточек, состояла из книг, реквизированных в иностранных консульствах. В виде аванса за портрет Ленина, который был мне заказан, я получала обед и ужин из гостиницы «Интернационал». В этой гостинице жили только коммунистические лидеры и выдающиеся иностранцы, которым хотели доказать, что

в России полное благополучие. Нередко давали, например, курицу с рисом — и это в то время, когда вся Россия голодала. Постепенно у меня все чаще стали появляться к обеду мои голодающие друзья.

Эти два города — Москва и Петербург (я так и не могла освоиться с названиями ни Петроград, ни Ленинград) всегда составляли два особых мира. И теперь различие между ними было очень заметно. Москва — восточный город, город боярской знати и патриархального дворянства, старого цехового купечества и крестьянства, также и теперь, в годы революции, сохраняла свой пестрый, хаотичный и шумный характер. Став центром и местопребыванием большевистского правительства, Москва жила лихорадочной деятельностью большевиков. Немногие сохранившиеся в городе легкие и грузовые автомобили принадлежали теперь правительству; они носились по улицам в бешеном темпе, управляемые людьми, с ног до головы одетыми в кожу. В Петербурге же, обезлюдевшем вследствие ранее наступившего там голода, царила кладбищенская тишина. Поразительно мало человеческих и санных следов видно было на снегу этих улиц — бесконечных, прямых, как бы уводящих в какую-то пустыню, в вечность; со своими закрытыми магазинами, с витринами, забитыми досками, они казались ослепшими. Летом же повсюду росла трава — трава на величавом Невском проспекте, трава на площади Мариинского театра. Царская резиденция, с ее строгими дворцами и правительственными зданиями, с ее широко распахнутыми площадями, над которыми, казалось, неба было видно больше, чем в любом другом городе, открывалась теперь во всем своем величии. Каждый раз меня снова захватывало своеобразие этой красоты, когда я проходила по необозримому простору Невы, зимой по льду, летом по мосту, направляясь к зданию Академии художеств. Моя молоденькая кузина Нина Бальмонт, которую я знала 8-летней девочкой в Париже, теперь жила в этом здании с мужем Львом Бруни, талантливым художником футуристом, и сынишкой. Ей было теперь 20 лет. Статная, красивая фигура, как и у ее матери Екатерины Бальмонт, и такая же сердечная теплота. Радость жизни, очаровательное чувство, всевозможные гениальные выдумки — вместе с удивительной способностью формотворчества в идеях, словах, делах. Старец Нектарий из Оптиной пустыни, где Бруни некоторое время жил, постоянно звал ее к себе и однажды сказал ей: «Тебе дан дар радования, его ты должна разделить с другими».

Лев Бруни, немногим старше своей жены, жил в сфере искусства и религии. Он был духовным сыном старца Нектария. Интеллектом он не дорожил, даже презирал его. Поэтому слова его, которые он с усилием подбирал, были по-настоящему оригинальны и самобытны. Также и его смелые и все же прекрасные этюды всегда были творчески новыми. В то время он искал способа изображать следы вещей в пространстве, иначе говоря — вещь, например, благословляющую руку, лапидарным изображением свести к

динамическому знаку. Я видела в этом требуемое нашей эпохой стремление ввести в наш кругозор образ становления, движения во времени.

У друга Бруни Татлина, в то время прославленного мастера, тоже жившего в Академии, эта тенденция материалистически искажалась. У него в мастерской я видела модель его «Памятника коммунизму». Здание, состоящее из трех частей, каждая часть особым механизмом вращается вокруг своей оси. Нижний этаж вращался в ритме года, второй — в течение месяца, третий — раз в сутки. Здесь должны размещаться службы информации и прессы. В этом движении работающие здесь люди будут осознавать движение времени. Татлин был также изобретателем того удивительного «искусства», где картины складываются из различных материалов: стеклянные бутылки и куски дерева, клочки бумаги, палочки и проволока. Все это должно объединяться в некоем равновесии и созвучии разных материалов и масс — конструктивизм. Проект татлинского «Памятника» был одобрен. Был ли он когда-нибудь осуществлен — не знаю.

Так как мне хотелось ознакомиться с различными направлениями нового искусства, я стала его ученицей. Специально для меня он смастерил некую фигуру: деревянная доска, выкрашенная охрой, частью покрытая лаком; на ней наискось положена черная матовая бумага с белым ободком, а на ней прикреплена трехугольная латунная пластинка. Я написала все это дома в импрессионистической манере, не понимая — чего он, собственно, хочет? Он был очень недоволен и предложил написать все заново, причем все цвета изображать как можно более независимо от света; например, цвет металла в чистом виде, без малейшего отражения света. По изображенной поверхности дерева надо было гребнем, сделанным из картона, провести умброй, имитируя таким образом волокнистую фактуру дерева. Лакированные места модели следовало лакировать и на рисунке, матовые оставить матовыми. Это было почти имитацией. И называлось — «объективная живопись».

К первым моим впечатлениям в Петербурге относится вечер памяти Пушкина. Это было в январе, в день смерти поэта. В слабо освещенном, нетопленном зале стоял туман от дыхания людей. В президиуме, среди других профессоров и литературных звезд, которые теперь казались лишь тенями самих себя, я узнала публициста профессора Кони, который во время освобождения крестьян от крепостной зависимости так много сделал для преобразования судебных учреждений, критика Волынского, поэта Александра Блока. Все трое в своих выступлениях приводили строчку Пушкина: «Пора, перо покоя просит...», как будто эти слова выражали их самое горячее желание. На этом вечере я в последний раз видела Александра Блока. Осенью того же года он умер, вероятно, от истощения. Власти не разрешили ему выехать в Финляндию, где он, может быть, мог бы поправиться. На его похоронах, где присутствовали все, кому дорога русская литература — тысячи людей — речей не произносили. Ни слова — глубокое молчание освятило эту трагическую смерть.

Когда я приехала в Петроград, антропософской группы там больше не существовало. Руководители и дорогие друзья, спасаясь от голода, уехали на юг. Я встретила только несколько отдельных членов.

Некоторая духовная свобода, сохранившаяся еще в те времена, допускала существование так называемой Вольной Философской Академии («Вольфила»), созданной в первые же дни революции с участием также Андрея Белого. Когда весной 1921 года меня пригласили выступить в этой Академии с докладом, я согласилась с большим страхом, так как никогда не выступала публично. Темой доклада я выбрала гетевскую сказку «О Зеленой змее и Прекрасной Лилии», в которой мне в различнейших аспектах открывались все новые духовные истины.

Но как мне одеться для выступления в Академии? Это был трудный вопрос. Погода стояла теплая, а у меня не было летнего платья и обуви. Были только валенки. Выручил случай: в Комиссариате выдали служащим тонкое белое полотно для халатов. Разумеется, мы все сшили из этого материала платья, а я кроме того смастерила даже туфли. Чудесным весенним вечером с сильно бьющимся сердцем шла я по улицам Петербурга на свой доклад в Вольфиле и сквозь матерчатые подошвы больно ощущала каждый камешек мостовой. Но когда я вошла в прекрасную аудиторию Академии, с ее двумя стеклянными стенами, через которые видны были зеленеющие деревья, и увидела публику, расположившуюся не на стульях — стульев в достаточном количестве для Академии достать не удалось, — а на большом восточном ковре, все мое смущение исчезло и я могла говорить свободно. Также и моя обувь на этом мягком ковре оказалась вполне уместной.

По окончании беседы, последовавшей за докладом, группа около 20 человек обратилась ко мне, выражая желание начать систематические занятия духовной наукой. В этом маленьком кружке людей, до того мало или совсем незнакомых друг с другом, регулярно собиравшемся у меня, участвовали выдающиеся деятели из различных областей культуры. Был среди них главный врач крупной больницы, два ориенталиста, философ, известный художник — уроженец Новгорода, и другие. Многообразие интересовавших их проблем, конкретность их знаний, придавали нашим занятиям характер строгости, что для меня самой означало хорошую школу. А благодаря катастрофичности всей окружающей жизни, мы и чисто человечески тесно сблизились между собой.

С наступлением весны, когда дни стали длиннее, я снова могла заняться живописью и начала обещанный портрет Ленина. Лигский предоставил в мое распоряжение много фотографий из семейной и частной жизни Ленина, а художник Бруни, знавший его лично, описал его краски: свежие, теплые тона лица, слегка рыжеватые волосы. Чтобы написать хороший портрет, необходимо найти связь с тем духом, который создал для себя эти формы, отдаться ему и как бы в нем проснуться. В данном случае для меня было мучительно вживаться в эти формы: мощный выпуклый лоб, за которым

угадывается тяжелая масса мозга, формирующая мысли, определяемые материей; глаза по-монгольски узкие и сравнительно короткий нос; сильно очерченная нижняя губа. Абстрактный интеллект в соединении с большой силой активности — преобладали в этом лице; середина — чувство — представлялась как бы укороченной. Некоторые, раньше хорошо знавшие Ленина, говорили мне, что, много занимаясь изучением марксизма, сам он никогда не посетил ни одной фабрики. Жизнь его не интересовала, его цель — осуществить абстрактный идеал. Также и террор был для него абстрактным понятием. А в частной жизни он был очень деликатен и скромен.

Портрет был принят руководителями Наркомата и вывешен в зале.

Теперь, наконец, я могла приняться за картину, которую мне еще с юности хотелось написать. Некогда я увидела ее внутри перламутровой раковины: человеческая фигура, возникающая из вихря; сама же фигура — полуколено-поклоненная — в торжественном покое. Для себя я назвала эту картину «Рождение Афродиты». Я писала ее большими мазками, а из-за ограниченности выбора красок — я располагала только белой краской, охрой, киноварью и чуточку кобальтом — картина получала своеобразный стиль. Она еще не была закончена, когда благоприятные для работы условия внезапно кончились: Лигский отправился в Польшу в качестве первого представителя коммунистического правительства. В то же время были проведены массовые увольнения служащих «по сокращению штата». Власти не интересовались участью уволенных. Характерная черта этого «народного» правительства: они не чувствовали никакой ответственности за бедствия народа. Руководители были чужими в этой стране. «Неважно, — сказал мне один коммунист, — если пара миллиончиков помрут. Очень скоро на земле будет рай». И правда — летом этого года в Петрограде проезд на трамваях был бесплатным. Но трамваи были так переполнены, что проезд в них был связан с риском для жизни. Было объявлено, что лекарства по рецептам врачей даются бесплатно; но большинства этих лекарств в аптеках не было. Однако новшества подобного рода продолжались недолго: до введения нэпа — новой экономической политики — восстановившей в известных пределах частную торговлю.

После отъезда Лигского новый глава Комиссариата уволил большую часть служащих. В один миг я лишилась и обедов в гостинице, и квартиры.

Картину «Рождение Афродиты» размером в $1 \times 1/2$ кв. м. я несла на собственной спине через весь город, где у меня не было никакого постоянного пристанища. Закончить картину мне казалось теперь самым важным делом в этой жизни.

Я не умерла от голода потому, что один немец, с которым я познакомилась в Комиссариате, уезжая, оставил мне свои консервы. Но у меня началась болезнь легких. Я странствовала из одного медицинского учреждения в другое, стояла в очередях до обморока и видела страшные картины

человеческих бедствий. В конце концов меня отправили в санаторий для легочных больных в Новгородской области, где я полгода голодала и мерзла. В Петроград я возвратилась зимней ночью в санитарном вагоне с выбитыми стеклами в компании с буйным помешанным и сопровождающим его больничным служителем. Когда же я пришла к друзьям, где я наняла комнату, оказалось, что там вообще нет никакой возможности отапливать помещение.

В кругу друзей, с нетерпением ждавших моего возвращения, мы с увлечением возобновили нашу общую работу по изучению духовной науки. Все старались найти для меня работу, чтобы я могла остаться в Петрограде. Но это оказалось безнадежным, и к большому своему сожалению я была вынуждена оставить работу со ставшими мне дорогими людьми и вернуться в Москву.

Благодаря «новой экономической политике» (НЭП) мои родители смогли продать хрусталь, случайно уцелевший от реквизиции, и помогли мне переехать.

Революционное правосудие

Для характеристики политической обстановки в России того времени я хочу рассказать о двух судебных процессах, в которых участвовали мои близкие друзья и на которых я сама присутствовала. Первый происходил вскоре после захвата власти большевиками, когда новое правительство еще старалось привлечь симпатии крестьян и расправлялось с высокопоставленными монархистами. Второй — три года спустя — против 29 человек из интеллигенции, в большинстве — профессоров университета, происходил в обстановке уже укрепившейся коммунистической власти.

Наш друг Владимир Федорович Джунковский, бывший московский губернатор, затем адъютант царя, а под конец — шеф полиции, в отличие от других царских сановников, не был расстрелян немедленно после переворота, но находился в Бутырской тюрьме. Нам сказали, что его процесс в Революционном Трибунале будет слушаться публично, причем всякий желающий может выступить свидетелем за него или против. В те первые времена нового режима правительство еще должно было считаться с настроениями народа. Было известно, что Джунковского любили в крестьянской среде и в кругах интеллигенции. Одну деревню под Москвой крестьяне даже назвали его именем*. Само собой разумеется, мы пошли на этот процесс, происходивший в зале бывшего Купеческого собрания. Уже на лестнице мы встретили друг друга и, несмотря на окружающую его стражу, обнялись и расцелова-

* Ныне пос. Джунковка близ ст. Сходня и пл. Фирсановка Октябрьской ж. д.

лись. Его вид производил большое впечатление. Длинная борода, которую он раньше никогда не носил, и большие сияющие глаза делали его лицо похожим на иконописный лик. Оно излучало величавое спокойствие. Судебные заседания того времени проводились без твердых формальностей. Как только он вошел в зал, его окружили крестьяне, он сердечно с ними здоровался. Они дарили ему молоко, хлеб, яйца.

Большой сфинксоподобный бюст Карла Маркса стоял на эстраде рядом со столом судей. Председательствовал известный своей жестокостью глава Чека латыш Петерс. При царском режиме он много пострадал в сибирских тюрьмах и теперь террором мстил своим угнетателям. В его лице было что-то околдовывающее, притягивающее, так что я не могла отвести от него глаз. Заметно сходство с Бетховеном, но он очень светлый блондин, без бровей и с белыми ресницами. На его лице читались бесконечная печаль и усталость. Печаль, усталость и некоторая ирония слышались также в его голосе. Он говорил очень ломаным русским языком. Чувствовалось, что он здесь чужеземец. Он не знал ни имен людей, знакомых каждому русскому, ни названий крупных промышленных городов, ни важных дат. Он, казалось, как бессознательное орудие демонических сил, подписывал все новые и новые смертные приговоры; и не мог остановиться, хотя сам устал от этого. Позднее я везде узнавала чекистов по этому печальному потухшему взгляду. Двое других судей были простые рабочие.

Джунковский стоял перед Трибуналом по-военному подтянутый, но так, как внутренне свободный независимый человек стоит перед своим законным начальником. Сначала меня это удивило, но потом я поняла, что для этого религиозного человека слова ап. Павла: «Нет власти не от Бога» и теперь, в изменившихся условиях, не потеряли своего значения. Он отвечал очень точно и откровенно на все вопросы. Всякие объяснения ему сначала грубо запрещались. Можно было почти завидовать этому человеку, не знающей никаких сомнений цельности его православно-монархических убеждений. «Сколько смертных приговоров было вынесено в Москве во время вашего пребывания на посту губернатора?»—«Этого я не знаю, это меня не касалось, я с этим не имел дела»,— ответил он. «И это вас не интересовало?»— спросил Петерс печально и иронично своим ломаным русским языком.

Между прочим обвиняемого спросили — действительно ли он был противником Распутина, как это видно из письма царицы. Были прочитаны выдержки из этого письма. Царица называла Распутина «наш друг». «Да, это верно».— «Почему вы были против него?»—«Потому, что его роль вредила престижу моего государя».—«Значит, вы хотели укрепить царскую власть?»—«Ну, разумеется! Было бы низко, просто подло с моей стороны, если я, служа государю, не хотел бы укреплять его власть».—«Добровольно ли вы взяли пост шефа полиции?»—«Да».—«Почему?»—«Потому, что я считал важным очистить и улучшить организацию полиции».—«Значит, вы были согласны, что полиция вообще нужна?»—«Разумеется! Обойтись без полиции невоз-

можно. Теперь ее называют милицией, но по существу это то же самое». — «Вам подчинялись московские тюрьмы, когда вы были губернатором. Вы отвечаете за то, что там происходило». — «Конечно! Поэтому я и старался по возможности вводить в них порядок и человеческие условия. Вы можете сравнить прежние правила, которые теперь в Бутырках повсюду валяются по полу с новыми. Насколько мягче были прежние!» — и Джунковский наизусть процитировал параграфы старых правил.

Затем его спросили — почему деревня под Москвой носит его имя? «Потому что я помог крестьянам получить землю». Крестьяне из этой деревни были вызваны в суд как свидетели. От их имени говорил пожилой мужик. Я и теперь хорошо помню его слова: «Так, значит, вот как было дело, — начал он. — У нас так мало земли! Землю, которую мы получили при освобождении, приходилось все время делить, а община росла. Наконец, на каждого стало совсем мало земли, а ведь у каждого есть жена и дети, свиньи, куры и прочее. Жить стало просто невозможно. Мы ходили туда-сюда, писали прошения, что нам нужно больше земли. Все напрасно! Никому не было дела до нашей нужды. Тогда мы решили обратиться к самому высшему начальнику и пошли, — при этом голос говорившего выразил величайшее почтение, — к самому генерал-губернатору. И что же! Он нас принимает, несколько не сердится, прямо по-отечески. Выслушал нас со вниманием, понял нашу нужду и послал к нам своего подчиненного, чтобы все точно разузнать. И обещал представить царю наше прошение. И скоро оно пришло назад, и при нем повеление, подписанное царем. И по этому повелению нам дали землю по нашему прошению. И мы вышли из нужды, увидели наконец свет Божий и решили из благодарности назвать нашу деревню Джунковкой по имени нашего ходатая». Петерс осведомился — сколько крестьян в этой деревне и сколько десятин земли, и затем спросил — бывали ли раньше в этой деревне революционные восстания? «Боже избави! Никогда у нас подобного не было. Бывает — надо сознаться — наши парни выпьют лишнее, на гармонике играют, песни поют, но чтобы у нас были восстания — этого, слава Богу, никогда не бывало!» — трогательное заверение в этой обстановке! Затем выступали еще свидетели. Один кельнер знал Джунковского по Обществу трезвости, тому самому, где моя мать руководила библиотеками. На одном народном празднестве, происходившем в Манеже, генерал-губернатор призвал его и поручил ему присмотреть, чтобы еда была хорошей и дешевой. Старичок растрогался до слез, повторяя: «Да, так он и сказал: дешевой и хорошей, дешевой и хорошей». Другой рассказывал, как Джунковский хлопотал за студентов, сидевших в тюрьме. Актеры Художественного театра рассказали, как Джунковский, когда цензура после первого представления «Юлия Цезаря» запретила дальнейшие представления, отменил этот запрет. Еще помню одного солдата; он встречал Джунковского на фронте и говорил о нем прямо-таки как о каком-то «солнечном герое». Только одно свидетельство было против него, но и то оказалось простым

недоразумением. Наконец, дело дошло до речи обвинителя. Он доказывал, что Джунковский как сановник старого режима заслуживает смерти. Во время всей его речи я смотрела на подсудимого. Он был совершенно спокоен, чинил карандаш, делал заметки. Ему предоставили последнее слово. Внеся некоторые фактические поправки, он сказал: «Я с чистой совестью пришел в Революционный трибунал, с чистой совестью я уйду и приму любой приговор, каким бы суровым он ни был». Затем его увели и судьи тоже удалились. Длительная и давящая пауза. Когда судьи вернулись, наступила полная тишина. Петерс прочитал приговор: «Подсудимый Джунковский приговаривается к смертной казни через расстрел. Принимая во внимание некоторые заслуги перед народом, смертная казнь заменяется пожизненным заключением». Всеобщее напряжение разрядилось аплодисментами и криками «Браво!». «Здесь вам не театр», — сказал Петерс устало и с досадой.

Несколько лет Джунковский пробыл в тюрьме, а затем внезапно был освобожден. Его сестра Евдокия, такая же строго православная, как и брат, рассказывала как-то, когда он еще был в тюрьме, что она во сне услышала пение молебна, с обращением к трем святым, имена которых она раньше никогда не слышала. Она посмотрела в церковном календаре и увидела, что эти три святителя считаются покровителями пленных. Она рассказала также, что послала молитву этим святым брату в тюрьму, чтобы он сам мог им молиться. В день празднования этих святых она просила священника отслужить молебен у нее дома. И во время этого богослужения в комнату вошел Джунковский. Ему внезапно приказали собраться с вещами и объявили, что он освобожден. Извозчик, который вез его из тюрьмы, видевший, что и высший и низший персонал тюрьмы вышли за ворота, провожая его, спросил его по дороге: «Кто же ты, что весь персонал тебя с почетом провожает?» — «Я Джунковский». — «Ты родственник нашему губернатору?» — «Я самый и есть». — «Как! — извозчик остановил лошадь и сошел с козел. — Дай же мне на тебя взглянуть! Господи, как ты изменился! Как похудел! С этой бородой я бы тебя ни за что не признал. Сегодня же объеду все чайные и всем извозчикам расскажу, что наш губернатор освобожден».

Это было приблизительно через четыре года после революции. Джунковский жил затем, давая частные уроки языков. Он рассказывал, что во время первого заключения до суда его нередко вызывали ночью на расстрел, а затем снова возвращали в камеру. Эта процедура — самое тяжелое из всех тюремных переживаний. «Никакие нервы этого не выдержат», — сказал он. Однако на суде он был совершенно спокоен. Позднее, уже после моего отъезда, в конце 30-х годов он был снова арестован и расстрелян.

Весной 1922 года в Москве, в Революционном Трибунале слушалось дело 29 лиц, большей частью профессоров университета. Единственная женщина среди них — Александра Толстая, младшая дочь Льва Толстого, разделявшая его взгляды. Процесс длился несколько дней, допускались только ближайшие родственники и друзья обвиняемых. Я могла присутствовать,

потому что мужа двух моих приятельниц были в числе обвиняемых. У одной из них — Щепкиной — я и жила. Во Временном правительстве ее муж был министром внутренних дел.

В 1919 году в Москве ждали, что белая армия генерала Колчака с востока и генерала Деникина с юга, отвоевывая территорию у большевиков, могут дойти и до столицы. Это им и удалось бы, если бы не предательство союзников. Тогда и образовалась в Москве группа профессоров с целью создать новое временное правительство для предотвращения хаоса при переходе власти и для борьбы против монархической реставрации. Эта организация оставалась абсолютно тайной. Протоколы заседаний один мой хороший друг, обладавший феноменальной памятью, на которую можно было положиться, держал в голове. Когда коммунистический режим победил, не существовало никаких документов о работе этой группы. Отдельные ее члены, каждый за себя, решали служить отечеству так, как это возможно в новых условиях.

К этой группе принадлежал молодой, богато одаренный Валериан Николаевич Муравьев, сын старого царского министра. Во Временном правительстве он был министром юстиции*. После роспуска упомянутого тайного комитета он написал письмо Троцкому, резко критикуя военную организацию большевиков. Хотя из осторожности письмо было подписано псевдонимом, Троцкий, разумеется, нашел автора, и он был вызван к этому страшному диктатору. Против ожиданий, Комиссар с величайшим интересом отнесся к его соображениям и предложил разработать позитивные предложения, на что Муравьев и согласился. При этом Троцкий предложил ему высокие посты в двух комиссариатах. Муравьев — враг коммунистического правительства — пришел домой очарованный умом и дальновидностью Троцкого.

Нечто подобное произошло с владельцем одного известного художественного издательства. Этот пожилой господин, всей душой ненавидевший коммунистов, был вызван к Ленину для обсуждения одного издания. Вернувшись домой, он повторял со смущенной улыбкой: «Должен сказать — это чарующая личность, совершенно чарующая личность!».

Теперь в этом процессе положение Муравьева было очень опасным. Обвинение не хотело верить, что конспиративная группа, членом которой он был, уже год как не существует. Для него так же, как и для Щепкина и Леонтьева, о которых было установлено, что они имели связь с белой армией, можно было ожидать смертного приговора.

* Это не точно. Валериан Николаевич Муравьев был сыном Николая Валериановича Муравьева, министра юстиции царского правительства в 90-х годах. Деятелем Временного правительства был другой Муравьев — Николай Константинович, присяжный поверенный «левого» направления, известный своими выступлениями в защиту революционеров. При Временном правительстве был председателем «Чрезвычайной Комиссии по расследованию преступлений царского режима».

Все это дело само возникло из показаний некоторых участников. Арестованные по совсем другим причинам, они из нервности или из склонности к литературным упражнениям, в своих показаниях Чека давали такие характеристики своих товарищей как политических величин, что навели на подозрение, что здесь скрывается политическая акция. Но поскольку — как я уже сказала — никаких документов не было, нельзя было ничего доказать. Поэтому арестованные, пройдя через тюремные муки, — от холода, голода, паразитов и допросов — вероятно, были бы освобождены — если бы один из них не передавал бы следователям Чека все то, что арестованные в своих камерах потихоньку шепотом говорили между собой. Это было ужасным открытием, потому что всех их связывали многолетняя дружба и доверие. Постепенно и до нас дошло имя предателя. Это было непостижимо. Среди жен обвиняемых моя приятельница была как бы центром. К ней приходили за советом, когда предполагались какие-либо шаги в пользу арестованных. Здесь бывали очень сложные ситуации. Если об арестованном никто не заботился, он мог годы просидеть в тюрьме забытым и там погибнуть. А в других случаях последствием ходатайства мог быть быстрый и внезапный расстрел. Нужно было взвесить политическую конъюнктуру момента, психологию тех чекистских властителей, о которых в данном случае шла речь. Щепкин узнавал от товарищей, какой поддержкой для их родных является его жена, и это давало ему силы переносить свое заключение.

Вечером, накануне суда, стало известно, что обвиняемым разрешено иметь защитника — известного старого адвоката. Но так как у него не было никаких материалов, то нужно было за ночь списать для него показания обвиняемых, чтобы он мог до судебного заседания уяснить себе общую картину дела. Я пошла в указанную мне квартиру, где несколько друзей, большей частью жены обвиняемых, сидели за этой работой. Мне дали уже начатую копию, и я стала писать дальше, даже не посмотрев в спешке на подпись.

Я писала приблизительно следующее: «Инок Филофей считал Москву «третьим Римом», и, по его мнению призвание русского народа заключается в создании государства, в котором братство людей станет правдой». Сам писавший тоже видел миссию России в разрешении социальной проблемы на основах любви и рассматривал коммунизм как попытку осуществить эту задачу, но на ложных основах материализма, видящего в человеческом мире продолжение мира животного и провозглашающего классовую борьбу социальным фактором. В этом трагедия нашего времени и вина коммунизма. Он не соответствует подлинным идеалам, живущим в русской душе, но дает ей лишь некий суррогат, обман».

Списав эти рассуждения, которые я воспринимала совсем как свои собственные мысли, я посмотрела на подпись: Муравьев. Удивительно: такие высказывания предназначались для Революционного трибунала!

Под утро готовые копии отнесли адвокату, который должен был за немногие оставшиеся часы подготовиться к судебному заседанию.

Мы заняли места в Большой аудитории Политехнического музея, — сколько прекрасных концертов и лекций мы с детства здесь слышали! Трое судей расположились внизу — рабочие Московского Водопровода. Обвинителем выступал знаменитый своими блестящими речами бывший присяжный поверенный, теперь прокурор — Крыленко. Из маленькой двери одного за другим вывели обвиняемых. Я видела благородное лицо Щепкина, и во время короткого пути от двери до его места его ищущий взгляд обегал ряды присутствующих. Я сидела рядом с его женой и видела, как их глаза встретились, — они улыбнулись друг другу. Такой момент может вобрать в себя цену целой жизни. Над готовностью к его возможной близкой гибели победоносно сияла их уверенность во взаимной любви и уважении. Вдруг пробежал шепот по рядам: «Иуда». Ввели человека, предавшего друзей. Во время судебного заседания судьи очень внимательно выслушивали ответы обвиняемых. «Пожалуйста, потише», — сказал один из судей-водопроводчиков, когда во время одного выступления во взволнованной публике поднялся ропот. «Мы должны все хорошо слышать, здесь ведь каждое слово важно». Эти люди, казалось, с удивлением слушали обвиняемых. Это была подлинная: человеческая встреча — встреча рабочих с обвиняемыми, этими так называемыми буржуями, в которых они теперь распознавали не «врагов народа», но людей, которые уже в царские времена боролись за права народа. Князь Урусов, бывший при царском режиме губернатором и за свою знаменитую книгу «Записки губернатора» сидевший в тюрьме, на вопрос: как долго он тогда пробыл в заключении, с комической готовностью, к увеселению присутствующих, ответил: «Ровно столько же, сколько теперь. Тогда я просидел столько-то месяцев, недель и дней и теперь сижу до сегодняшнего дня столько же месяцев, недель и дней. Да, как раз тот же самый срок!». Если вспомнить о положении этих людей, из какого ада они были сюда приведены и что их ожидало, можно оценить, сколько нужно было мужества, чтобы в этом положении сохранить чувство юмора.

Было заметно, что к таким людям, как Щепкин и Леонтьев, которые без всякой утайки говорили о своем личном отношении к коммунизму, судьи относились с уважением, к доносчику же — с оттенком пренебрежения.

С самого начала судебное разбирательство приняло оборот, неблагоприятный для обвиняемых. Щепкин и Леонтьев несколько не отрицали своих связей с белой армией, так как этот пункт касался их одних и не отягощал вину других. Они знали, что за это их ожидает смертный приговор.

Во время показаний Муравьева, положение которого было не менее безнадежным, в самый критический момент его допроса дело приняло вдруг совершенно неожиданный оборот. Председателю Трибунала было передано какое-то сообщение. Судьи и Крыленко, прочитав его и тихо посоветовавшись между собой, объявили, что Нарком товарищ Троцкий просит позволения Революционного трибунала явиться в Трибунал свидетелем в пользу обвиняемого Муравьева. Но они находят, что дело достаточно ясно и не требует никаких новых материалов. Но тогда встал старый опытный защитник: ни один суд не имеет права оставить без внимания ничего, что может послужить для выяснения дела. И если такой человек, как Народный Комиссар Троцкий, перегруженный делами государственной важности, все же желает своим свидетельством послужить правосудию, — ему нельзя отказать.

Отказать Троцкому! В то время Троцкий был настоящим диктатором России. Его просьба о разрешении выступить свидетелем, колебания судей — были только комедией с целью представить Революционный трибунал высшей, беспристрастной инстанцией в Советской России. Судьи удалились для совещания. Возникла напряженная пауза, так как вмешательство Троцкого могло дать всему процессу новое направление. Судьи вернулись и объявили, что товарищ Троцкий допускается в качестве свидетеля, и что он сейчас явится. В один миг его личная охрана — красноармейцы в шлемах древнерусского образца — встали у всех дверей. Троцкий предстал перед Трибуналом в строгой военной позе, благодаря судей за разрешение выступить. В своей речи, явно направленной в защиту Муравьева, он говорил о психологии русских интеллигентов, которую он считал типичной и для Муравьева. «Воля, — как полагал Троцкий, — действует в высших слоях человеческого сознания, — (в этом пункте он, к сожалению, ошибался). — Эта воля увлечена величием Советской власти. Но ниже, в более глубоких слоях сознания, где действует мысль, привиденьями бродят всевозможные мистические взгляды и традиционные представления. Каких только бредней не наговорил он мне во свидетельство исторической миссии России. Упомянул даже какого-то инока Филофея!». При этом Троцкий скорчил издевательскую гримасу — вылитый Мефистофель! «Такой человек так и живет в раздвоении. Но Муравьев хочет и может с нами работать. Я ценю его как работника». Затем Троцкий напомнил, что этот заговор существовал лишь в самое первое время Советской власти. Теперь же все условия изменились. Советское государство одержало победу и окрепло. И он говорил о внешней политике, для которой такие люди могут быть полезны.

Поскольку обвиняемые были убежденными националистами, сторонниками России «единой и неделимой», они искренне соглашались с советской

внешней политикой и одобряли войну с Польшей. Исход этой войны был большим успехом Советского государства, укрепившим его безопасность. Стало психологически возможным вмешательство Троцкого в процесс, давшее ему новое направление. Несмотря на блестящую речь Крыленко — он требовал для четырех человек смертной казни, а для большинства — пожизненного заключения, причем имел наглость процитировать Евангелие, называя его «вечной книгой», — судьи не вынесли ни одного смертного приговора*, хотя утвержденные ими меры наказания были достаточно суровы. Предателя освободили, «принимая во внимание его заслуги перед государством».

Графиня Александра Толстая была приговорена к 15-ти годам тюрьмы за то, что в ее квартире происходили совещания, о содержании которых она ничего не знала. «А самоварчик вы им, конечно, подавали», — сказал Крыленко, насмехаясь. В своем последнем слове она сказала приблизительно так: «Люди могут захватить и держать только мое тело, дух же остается свободным; над ним они не властны. Люди могут убить мое тело, дух же бессмертен». Крыленко при этом соорудил презрительно-скучающую мину, как будто говоря: «Ну уж эти толстовские фразы, достаточно мы их слышали». Но я видела, как некоторые из охранников Троцкого вытянули шею, прислушиваясь. Может быть, это были единственные в их жизни живые слова о духе, оставившие след в их душах.

«Богатые духом»

Первым немецким журналистом, отважившимся после войны ступить на русскую землю, был Пауль Шеффер. Я была рада встретить немца и иметь возможность показать ему Москву. Мы осматривали старые церкви, музеи, частные собрания картин, посещали староверские обители, где он мог видеть древнейшие иконы. Я ввела его в некоторые круги московского общества, в том числе в круг Николая Александровича Бердяева. На знаменитые бердяевские четверги с чтением рефератов и дискуссиями люди продолжали собираться, несмотря на голод, холод и террор. Сидели в шубах, дышали дымом печурки, а к чаю, который уже вовсе не был чаем, подавался

* Это не точно. Смертные приговоры были, но суд признал их «условными», и обвиняемые были тут же в зале суда освобождены. Они должны были жить «под Дамокловым мечом», так как условный приговор означает, что в случае нового ареста, независимо от причин, не требуется никакого расследования, но уже существующий приговор немедленно приводится в исполнение. Однако очень скоро, в том же году, «условно расстрелянные» по этому процессу были высланы за границу.

знаменитый «торт», который постепенно все уменьшался и превратился теперь в некое изделие из картофельной шелухи. Но, по крайней мере, традиция была соблюдена!

Жена Бердяева в то время перешла в католичество. Патер Абрикосов, пропагандировавший в Москве католицизм, вообще не разрешал своим духовным чадам посещать бердяевские вечера, потому что идеи свободной духовности могли им повредить. Но сама хозяйка, очевидно, была, по его мнению, достаточно неуязвима, так что ей разрешалось присутствовать. Молча, с неподвижным лицом сидела она за самоваром и представлялась мне крепкой и твердой скалой, у подножия которой разбиваются, как волны, любые идеи. Удивительно, что Бердяев, несмотря на свою связь с нею, сохранил свою духовную свободу. Если она нашла какой-то конкретный внутренний путь, то его философию, хотя и одушевленную чувством, я всегда воспринимала в конечном счете как бесплодную, не выходящую за пределы абстракций.

На бердяевских вечерах можно было встретить интереснейших людей. Там выступал, например, священник Флоренский. Незабываем для меня один человек из этого круга; он всю жизнь занимался Апокалипсисом и сообщал иногда о результатах своей работы. Сначала я была единственным антропософом, присутствовавшим на этих очень интимных докладах, позднее пришли еще и другие; как раз у них-то он и встретил больше всего понимания и интереса к своей работе; под конец он мог говорить только в этом антропософском кругу. После моего отъезда из России он был сослан в Сибирь, и тридцатилетний труд всей его жизни погиб.

«Вы сами не знаете, в каком духовном богатстве вы здесь в Москве живете, — сказал мне однажды Пауль Шеффер. — Эта универсальная образованность, эта многосторонность и живость интересов, которые я здесь встречаю, на Западе больше не существуют».

Я водила его также на собрания пролетарских поэтов, где в громадной, переполненной, нетопленной аудитории, при скудном свете нескольких керосиновых лампочек, восходящие литературные светила читали свои произведения. Шеффер плохо понимал по-русски, и я пыталась кое-что ему переводить. Его возмущало, что пролетарский дух я ставлю выше буржуазной культурности. Я действительно восхищалась этими стихами. В их непосредственности, свежести, в их волевом и совершенно оригинальном содержании, в их красочности, ритмическом и звуковом богатстве и силе космического чувства открывалась новая духовность, совершенно отличная от субъективности и пассивности буржуазной культуры. И я убеждена, что эта стихия, рвавшаяся наружу из глубин пролетарского сознания, постепен-

но нашла бы верные пути к выявлению того, чего действительно жаждет наша эпоха, если бы она не была задушена марксистской доктриной и системой террора или планомерно переведена на другие рельсы. Все виды свободной духовной работы постепенно делались невозможными. Можно было говорить только символами да загадками, скрывая идеи, неприемлемые для властей, и изыскивать компромисс за компромиссом. Ложь становилась условием жизни, а сама жизнь — «недостойным существованием».

Через Шеффера, посылавшего свои корреспонденции с дипломатической почтой, мне удалось написать моим заграничным друзьям. В ответ я получила от одного знакомого приглашение в Голландию. Я раздумывала: мое легочное заболевание, может быть, могло послужить основанием для получения от властей разрешения на выезд за границу для лечения. Мне было ясно, что, оставаясь в голодающей России, я неминуемо погибну. Но столь же ясно было, что, раз выехав, я уже не смогу вернуться и должна навсегда проститься и с родителями, и со всеми друзьями, с которыми я силой совместных переживаний судьбы глубочайше связана. Было так трудно на это решиться! И я несколько месяцев ничего не предпринимала. Отец постоянно спрашивал — делаю ли я что-либо для выезда? Он любил меня больше всего на свете, я была радостью его жизни — и все же добряк настаивал на моем отъезде, чтобы спасти мне жизнь, хотя хорошо понимал, что в этой земной жизни мы больше не увидимся. Я же откладывала отъезд еще и потому, что здесь в России мне еще многое хотелось увидеть и почувствовать. Например, я давно уже хотела поехать в Оптину пустынь к старцу Нектарию. Еще я хотела познакомиться с древнерусским искусством в Великом Новгороде. Один археолог как раз приглашал меня поехать с экспедицией в Новгород копировать стенную живопись храма Святой Софии.

Если я даже получу разрешение выехать, то ведь у меня нет денег для такого путешествия, — говорила я, только чтобы найти предлог и ничего не предпринимать. Но эту опору — отсутствие денег — судьба выбила у меня из рук. Один издатель* заказал мне серию рисунков-портретов известных лиц, выдающихся в то время деятелей в разных областях культуры. В связи с этим у меня был ряд интересных встреч. Так, например, только благодаря этому заказу я познакомилась с профессором Тарасевичем, директором Биологического института. В его лице я встретила энергичного, удивительно живого и доброжелательного человека; помимо специальных научных его отличали и широкие религиозно-философские интересы. Он мог мне позиро-

* Михаил Васильевич Сабашников. Их издательство существовало до 1930 года.

вать только во время перерывов, и этим коротким часам я обязана многим. Поэтому я никак не могла понять, когда через несколько лет услышала, что этот религиозный, жизнелюбивый, полный всяческой инициативы человек добровольно ушел из жизни. Для таких людей, как он, работа в России становилась невозможной.

К числу моих моделей принадлежали также философ Бердяев, искусствовед Муратов, писатель Зайцев, которых я знала раньше.

Я рассказала своему издателю, как интересны для меня беседы с этими людьми. «Так записывайте их,— сказал он,— мы приложим эти записки к рисункам и назовем наш альбом: «Люди, которые должны были молчать»». Он собирался издать свой альбом после падения большевиков, ожидаемого им в близком будущем.

Вяч. Иванов тоже относился к категории «выдающихся лиц», портреты которых были мне заказаны. Он жил теперь с семьей в Москве, и я уже не раз встречала его на разных заседаниях. Десять лет прошло после нашей последней встречи. Но эта новая встреча не была по-настоящему встречей. Я видела перед собой седовласого человека, с тонко выгравированным, гладко выбритым лицом. Прежде он носил бородку, а теперь улыбка, змеившаяся на его тонких губах, была мне чужда. Совершенная форма речи, богатство мифотворческой фантазии, искусная диалектика сверкали в прежнем блеске; но теперь они казались мне лишь оболочкой, за которой я не чувствовала никакой направляющей основы, никакого настоящего зерна. Как кучка пепла походит на пламя, так этот Вяч. Иванов походил на прежнего.

Однажды в частном кругу Андрей Белый в присутствии Вяч. Иванова прочел свою статью о нем, написанную для Литературной Энциклопедии*. Я просто испугалась безжалостности его суждений. Вячеслав должен был или почувствовать себя совершенно уничтоженным или же в негодовании протестовать. На другой день он сказал мне: «Белый показал мне Стража Порога. А что я сделал? Прошел мимо». Я не возражала, но про себя подумала: «Теперь ты еще можешь защититься от своего двойника силой своей диалектики и теми

* Была ли она напечатана? Но, во всяком случае, ее содержание, хотя бы и в других выражениях, должно совпадать с письмом А. Белого, написанным почти в то же время — в 1917 г. «Весь мой упор против тебя невыразим логически: МНЕ ПРЕТИТ весь строй твоей жизни — эгоистический, комфортабельный; мне претит твоя жизнь, поскольку я извне ее созерцаю: без любви, без жертвы все твои духовные алкания кажутся мне утонченной деталью к «ананасам в шампанском». Где подвиг твой? Где жертва твоя? Нет у вас пути, нет у вас правды, нет у вас подвига! Мне очень трудно выразить тебе это в глаза, ибо ты всегда очаровываешь душевным богатством и блеском таланта и душевной добротой; но я знаю, что ты духовно нищ, духовно не добр». (Цит. Сб. стих., 1966, прим. 233).

образами, которыми ты всегда владеешь. Но на последнем Пороге все это окажется бесполезным».

(...)

Удивительна была моя встреча с актером Михаилом Чеховым, тоже в связи с этим заказом. Я тогда не знала его ни лично, ни на сцене. Время было для меня слишком катастрофично, чтобы я могла ходить в театр. После Шаляпина никто из актеров не был в России так любим, даже обожаем, как Чехов. Для очень разных слоев он, казалось, был источником утешения. Просить такого прославленного молодого артиста о позировании мне было неприятно, поэтому кто-то взял на себя роль посредника. По недоразумению я пришла к нему с большим опозданием, он сам открыл мне дверь — среднего роста, незаметной наружности. «Я уж боялся, что вы не придете. Я уже два часа стою на балконе и жду вас», — так он меня приветствовал. Я тотчас же принялась за работу, так как время его было ограничено. Он рассказал, как ему нравится моя книжка о святом Серафиме. По одной цитате в ней он заключил, что я знаю Р. Штейнера. Услыхав, что я ученица Штейнера, он чрезвычайно обрадовался и пожелал как можно больше узнать у меня о Штейнере и антропософии. Во время работы подали очень крепкий кофе, что тогда в России было большой роскошью. Мне приходилось заниматься не только интересным лицом моей модели. Нужно было отвечать на вопросы, самые глубокие из всех, которые мне когда-либо и кем-либо задавались. В этом нервном, одушевленном юмором лице выдавался большой лоб удивительно красивой формы, остальные же черты — мягки и подвижны. Угадывалось: это лицо способно безгранично преображаться. В его вопросах не было ничего абстрактного, они рождались из сильнейших переживаний человеческой души, изведавшей также пропасти ада. Каждое его слово как бы заново формировалось, каждая фраза слагалась своеобразно. Отвечая на эти вопросы, я заново переживала все величие того, что я ему должна была передать. Интенсивность, высшая степень напряжения — вот что, пожалуй, было самым существенным в этом человеке. Он не облегал проблему и не отступал перед ней. Также и позднее я могла видеть, как основательно он работал, как умел изучать.

Стоило ему в разговоре упомянуть кого-либо из общих знакомых — достаточно было прищуря глаз, движения губ, чтобы вы видели перед собой человека во всем величии его истинного существа и в то же время со всеми слабостями его теперешней формы. В таком показе не было ни осуждения, ни идеализации, вам показывали истинное существо человека с любовью и юмором. Христианским — в самом истинном смысле слова — представлялся мне такой способ восприятия человека.

Он выступал в последний раз перед отъездом за границу на гастроли в драме поэтессы Арманд «Архангел Михаил». Он играл главную роль — тирана и злодея, против которого угнетенный народ готовит восстание. Когда после первого акта я прошла за сцену и говорила с Чеховым, я при всем желании не могла узнать его в гриме. Это лицо было как бы квинтэссенцией зла. «Я больше не могу его играть», — сказал он, — я чувствую, что этим я сам вношу в мир что-то дурное и сам от этого заболеваю». Вся сила его искусства открывалась в следующем акте, когда он ничего не говорит, только молча присутствует. И в этом молчании он оставался центральной фигурой, сила, от него исходящая, приковывала к нему зрителей.

(...)

Чехов не мог больше оставаться в России, где всякая свобода в театре была уничтожена. Давались только пропагандистские пьесы. Он эмигрировал. Как горевали в Москве об его отъезде!

После смерти Р. Штейнера я не раз встречала Чехова в Брейтбрунне на Аммерзее у Михаила Бауера и фрау Моргенштерн, с которой он крепко подружился. После нескольких лет тщетной борьбы за создание школы драматического искусства в Париже, Англии и Америке, этот великий артист нашел пристанище в Голливуде!

(...)

Теперь отпала ссылка на отсутствие денег как на препятствие к выезду, и я сделала первый шаг: попросила Т. Г. Трапезникова обратиться к заведующей его учреждением «Охрана памятников искусства и старины» с просьбой поддержать мое прошение о выезде за границу для лечения. Она охотно дала такое ходатайство. А она, как я уже говорила, была женой Троцкого, тогдашнего диктатора России. Это имя действовало магически и открывало двери всех учреждений. Тем не менее мне понадобилось шесть месяцев, чтобы собрать все необходимые бумажки. Изю дня в день я ходила в какую-нибудь инстанцию, пешком через всю Москву, нередко чтобы только узнать, что приемные часы перенесены на другое время, или что нужное учреждение переехало или даже вообще больше не существует. В этих учреждениях я оставила одиннадцать моих фотокарточек и одиннадцать раз на них были положены печати.

С 1920 года в России свирепствовал сильнейший голод, охвативший многие плодородные области на юге и на востоке. Он был вызван сильной засухой и расстройством транспорта. На полях не росло ничего. Дороги на восток, куда многие бежали в надежде хоть как-то прокормиться, были усеяны трупами. Многие сходили с ума. Матери привязывали детей с одной стороны хаты, а себя с другой, чтобы не видеть друг друга. В Москве, на громадной

площади у вокзалов тысячи голодающих лежали и сидели на земле, умоляя о помощи.

Годом раньше Патриарх, видя приближающийся голод, предложил правительству все лишнее золото в церквях пожертвовать на борьбу с голодом. Предложение было отвергнуто. А теперь комиссары ходили из церкви в церковь, входили, не снимая шапок, в алтари и отбирали кресты, чаши, оклады Евангелий.

Эти предметы культа, в силу древней традиции, даже в беднейших селах изготовлялись из золота за счет бесчисленных пожертвований, собираемых по копейкам в народе. Отбирались также серебряные подсвечники, оклады икон и другие ценные предметы. В то время нередко можно было видеть вокруг какой-нибудь церкви толпу, безмолвно смотревшую на это кошунство. Следствием голода была также разразившаяся в Москве эпидемия дизентерии. Пятнадцатилетний сын моей кузины Елизаветы был при смерти. Мы все собрались вокруг него, когда его соборовали. Здесь я в последний раз видела Елизавету. Ее великое спокойствие, глубокая благоговейная молитва — для меня незабываемы. После таинства мальчик выздоровел. Но теперь заболела я, и мой отъезд снова задержался.

Наконец к августу все было закончено, и я могла уехать. (...)

Много друзей, и прежних и новых, пришли на набережную проводить меня. Незабываемой осталась картина Петербурга в его величавой красоте: между блестящими гранитными берегами — широкая сине-зеленая, мерцающая и сверкающая Нева с белыми покачивающимися на ней кораблями!

Пароход отходил с опозданием на пять часов, мы все сидели на ящиках у пристани и ждали. Переезд через русскую границу все еще был связан с опасностью: в последнюю минуту можно было очутиться где-нибудь совсем не там, куда направлялись.

Один из друзей сказал мне, прощаясь: «Будем надеяться, что Россия воскреснет, просветленная страданием!». Жена художника, расстрелянного в Архангельске, сказала с глубоким убеждением: «О да, из того моря невинной крови, которое пролито на этой земле, могут взойти только чудесные семена. Эта земля священна!» — Какие переживания стояли за этими словами!

До самого Штеттина море было исключительно бурным. Поэт Борис Пастернак, композитор Лурье и я одни только не страдали морской болезнью и стояли на носу корабля, который попеременно то устремлялся к небу, то низвергался в открывающуюся перед ним бездну.

ПУБЛИЦИСТИКА

Дмитрий Пригов

ГДЕ НАШИ РУКИ, В КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ НАШЕ БУДУЩЕЕ?

Определенная культурная ситуация, ее драматургические переплетения с осколками предыдущих и зародышами будущих формирует доминирующую и сопутствующие модели художественного поведения.

Чтобы понять суть нынешней культурной ситуации, надо понять ее отличие от предыдущей и высказать возможные предположения о ее динамике, длительности и месте.

Собственно, можно сделать три предположения: 1) нынешний процесс будет развиваться, и данный момент, как и формы его социо-культурной организации — временны; формы социо-культурной организации предыдущего периода отжили и являются, если и не тормозящей обузой, то лишь извинительным рудиментом; 2) данная ситуация будет длиться бесконечно с небольшими флуктуациями то назад, то вперед, так что не надо торопиться зарывать прошлое; 3) все вернется на круги своя, и прежние каналы общения и социализации, следовательно, надо тщательно и любовно сохранять, не обольщаясь вечно манящим будущим.

Так что же мы имели в прошлом, от чего ныне отталкиваемся, относительно чего выстраиваем нынешнюю стратегию поведения и предполагаем будущую?

Предыдущая культурная ситуация была построена по принципу жесткой бинарной оппозиции: «официальная — неофициальная», которая, как магнитный диполь, воспроизводилась в каждой точке структуры. Скажем, в Союзе писателей (как и в других творческих союзах), объявлялась оппозиция «правые — левые», затем: «околосоюзная среда — Союз писателей», «неофициальная литература — околосоюзная среда». В среде неофициальной литературы членения шли по принципу: «нельзя печатать — можно печатать». Родилось даже своего рода «оскорбление»: «Тебя же можно публиковать!».

Подобная лестница производных от одного основного принципа оппозиции создавала весь нехитрый спектр разнообразия.

Если разместить все эти позиции на некоей единой шкале, то несовпадение с отсчетной точкой официальной признанности давало компенсацию в виде права на обладание художественной истиной и моральный суд, возраставшую по мере удаления от этой точки. Смысл закона интересен не в тех случаях, когда он совпадал с реальным правом одаренного литератора и высоконравственной личности, но когда он механически распространялся практически на любого, подпавшего под данную систему отсчета. Кстати, этот закон, скрепя сердце, вынуждены были если не открыто признавать, то чувствовать еще не до конца затвердевшим сердцем своим и комплексовать перед ним и признанные, даже свободолобивые, мэтры официального искусства.

К данному моменту неофициальная культура за примерно 20 лет функционирования сложилась в достаточно оформленный организм со своей иерархией, способом социализации и правилами принятия в нее. Кстати, именно эта оформленность создает для деятелей неофициальной культуры если не такие же по сути, то, пожалуй, не менее сложные по глубине психологической перестройки и вживания в новый культурный менталитет трудности, чем для представителей официальной культуры.

В неофициальной культуре (в среде художников и литераторов) сложились две основные структуры — это околосоюзная и собственно неофициальная. Возникновению околосоюзной способствовало нарушение естественного способа входа в официальные круги молодого поколения через посредство мэтров и кланов, вследствие чего образовался горизонтальный поколенческий срез, объединенный желанием и невозможностью войти в официальную культуру, круг людей весьма разных поэтических и художественных пристрастий, в иное время вряд ли бы сошедшихся на одной платформе. Эта их «передержанность» в неофициальной сфере по необходимости самой жизни породила во многих из них явные черты неофициального сознания.

Собственно же неофициальная культура складывалась на основе принципиального неприятия официальной. Она представляет собой как бы несколько вертикальных параллельных нитей объединения людей, различных по возрасту, но единых эстетических пристрастий.

Подобная культурная ситуация жестко маркировала места: журналы, выставочные залы, сцены — с одной стороны; квартиры, подвалы, машинописные рукописи — с другой, порождая и соответствующий, моментально включающийся механизм ориентации и восприятия. Причем появление неофициальных художников и литераторов в официальных местах при этой жесткой маркированности всегда носило черты либо скандального события,

либо трагедии, не позволяя художникам и литераторам идентифицироваться с ними.

Все эти появления имели значение событий, превышающих их литературное или художественное значение, а их редкость порождала вокруг них ажиотаж, сбивавший в кучу людей весьма различных родов занятий, интересов в сфере культуры и искусства. Сообразно этому выкристаллизовался некий тип художника-поэта-артиста-трибуна, в каждой конкретной точке замещавшего все эти должности и бывшего их полномочным представителем и заодно борцом, страдальцем и учителем. Собственно, подобный имидж художника-поэта возник у нас издавна и просто варьировался в зависимости от времени.

Нынешняя культурная ситуация характеризуется размыванием оппозиционной структуры (я имею в виду социо-культурную, а не просто культурную, которая, видимо, будет всегда, и, кстати, именно сейчас наиболее трудно определить точно позицию чисто культурного оппонирования). Возникает как бы еще неявная, нечетко артикулированная, как бы виртуально возникающая третья зона культуры.

Это приводит к перекомпановыванию создавшихся групп неофициальной культуры, вертикальная структура которой стремительно размывается горизонтальными возрастными течениями. Околосоюзный же круг сильно дифференцируется степенью идейно-эстетической идентификации с официальной культурой.

Кстати, если раньше друзья по лире и судьбе были в большей степени друзьями по судьбе, то ныне как критерий общности начинает доминировать лира.

Буквально еще вчера домашняя беседа была больше, чем беседа, она была культурным событием. Интонация домашней доверительности, значимость внутрикруговых происшествий, апелляция к узкому кругу принявших на себя эту судьбу становились со временем чертами поэтики (и в этом не было ущерба, так как свежие ключи культуры били именно в этих местах, болевые точки культуры зияли именно в этих местах). Теперь же как будто рушится одна из стенок, являя сидящих в почти незащищенном нагише, и силовые линии культуры перестраиваются, так что прошлые заслуги, увы — не гарантия истинности нынешних поступков и высказываний.

При выходе на люди теряются априорные права непризнанных и гонимых, право на беспелляционный моральный суд, теряется авансированный гандикап доверия. Это, кстати, видно по нескольким вольным поэтическим чтениям, по сборнику ленинградского Клуба-81 «Круг», по опыту социализации рок-групп («Браво», «Аквариум», «Машина времени»).

Образование неких новых объединений, перекраивающих границы прошлых членений в культуре, социализация мелких домашних кругов диктуют новую этику культурного поведения, заменяя круговую поруку и идейную близость принципами, близкими к корпоративному кодексу. Многие суждения, высказывания, максимы, фундированные ранее простительностью застойной необязательности, дружеским доверием, а иногда просто сочувствием, ныне обнаруживаются просто как слабость и беспомощность. Кстати, на это же время падает и принципиальный культурно-стилевой слом, просматривающийся во всех видах искусства, также способствующий перестраиванию сложившейся иерархии, как в официальной, так и в неофициальной сферах, а также перекомпоновка иерархии самих родов искусства внутри культуры.

Ясно, что от поэзии ее вековая роль поп-геройства уплывает к стремительно разрастающемуся рок-движению и поп-сфере. Посему событие в литературе сужается до истинных размеров литературного события, поэтического события, события в изобразительном искусстве... Если все будет продолжаться в том же духе, то нынешний статус литературы, скажем, может еще продлиться по инерции года два, но затем примет вид, знакомый нам по западным образцам: нормальная коммерческая литература и собственно литература, имеющая хождение в узких академических кругах. Двадцатью-тридцатью годами честного и бескорыстного служения литератор привлечет к себе благосклонное внимание какого-либо поощрительного фонда или престижной премии, которые и назначат его знаменитостью, без всякой последующей необходимости читать его. Если все пойдет таким способом, а не вернется к прошлому, или не найдется какой-нибудь особый местный способ существования культуры, то преимущественным типом литератора станет филолог, уравновешенный человек, умеющий спокойно и честно делить свое время между делом и литературой, тогда как идеальный тип местного поэта — бродяга, гений, любимец масс, истерик и трепач, поэт-национальный герой станет достоянием истории, как ныне неведомые сказители, баяны и рапсоды. К тому же прямо на наших глазах пресса отбирает у литературы чуть ли не основного читателя, любящего социальную остроту, нравственные проблемы, моментальный оперативный отклик на моментальные события и некий род двусмысленности. Возможно, она, пресса, а также порожденная нынешним общественным пробуждением сфера философии, социологии, психологии, институт религии станут учителями народа, сняв с литературы непосильную тяжесть, но и, конечно, отняв ореол исключительности.

Так что литературе останется быть литературой.

Посему, скажем, московскому клубу «Поэзия» в своей культурно-общественной деятельности делать ставку на такие мероприятия, как фестиваль в клубе «Дукат», далее бессмысленно. Надо привыкать читать в узком кругу сугубых любителей этого дела (что, собственно, было и раньше по внешней необходимости, но невидимый и ощущаемый наружный прибор недопущенных страждущих читателей и слушателей создавал впечатление событийности и порождал иллюзии; теперь же это будет происходить без всякой добавочной стоимости, а есть как есть, по законам естественного течения вещей в культуре). То же самое будет и с так страстно чаемыми изданиями. Если буквально полтора года назад книга И. Жданова, скажем, была событием даже для далеких от него литераторов, то теперь она прошла бы замеченной только узким кругом любителей поэзии.

Очевидно, что процессы, происходящие в изобразительном искусстве, имеют ту же направленность. С выставок снимается синкретизм события, и они будут, вернее, пока еще желают быть в будущем подчиненными законам рынка.

Хочу заметить, что я описываю все перемены, предполагая неуклонное развитие нынешнего процесса, то есть понимая все происходящее ныне как временные образования, поскольку этот процесс, на мой взгляд, может быть описан только динамической моделью, правда, с возможной переменной вектора.

Поэтому такие странные порождения типа клуба «Поэзия» с его 180-ю членами представляются мутационными образованиями. В сфере культуры возможна только одна, как мне представляется, действующая структура — плюрализм. Поэтому если прилагать какие-то осознанные усилия, то в направлении плюрализма, а не создания огромных альтернативных образований. Поначалу хорошо бы иметь многочисленные клубы и объединения, существование которых может впоследствии регулироваться, например, институтом свободных кооперативных издательств или журналов. В изобразительном искусстве выход видится в раздроблении единого канала средств, диктующего единую художественно-стилистическую политику. Возможно, этому будет способствовать и начинающаяся индивидуальная трудовая деятельность, которая даст возможность накопления достаточных средств в частных руках и возродит славный институт меценатства.

Встает вопрос, конечно, об участии в этом процессе. Основная, естественно, предпосылка, дающая возможность включиться в этот процесс, — это некоторая внутренняя уверенность в возможности результата. Пока, конечно, это есть дело чисто личной исторической интуиции и риска. Но при условии, что процесс идет и необратим, неучастие в нем, бывшее раньше заслугой,

крестом и неотъемлемой частью поэтики, сейчас становится просто делом личного выбора, личного предпочтения. Точно так же предпочтение квартиры залу перестает быть культурно-нравственным поступком, но лишь частным.

И последнее: если, как я поминал выше, жесткая маркировка мест и бинарность культуры позволяла раньше (по выражению Беме, что ангел среди ада летит в своем облачке рая) влетать на чужие территории и уходить незапачкавшимся, то теперь при размытых границах происходит простая идентификация с местом представления, как это случилось с акциями в Манеже, с появлением героев андерграунда на телевизионном экране и т. п., то есть нужны незапятнанные места, которым нужно создавать свой имидж.

Владимир Голлербах

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Внимательный читатель, следящий за развитием современной публицистической мысли, вчитываясь в критические «перестроечные» статьи, выясняющие причины того, что в них называется «застоем», поневоле задается вопросом: что, собственно, происходит? С одной стороны, он, этот внимательный читатель, не может не заметить исчезновения целого ряда ранее табуированных, закрытых зон и тем, как и того, что число этих снятых «табу» с каждым днем растет (и чем это кончится, можно только предположить); с другой, сколько бы этих «табу» не снималось, какую бы, кажется, радикальную и пронзительную статью не взять, все равно остается ощущение, что чего-то главного, чего-то очень важного автор не договаривает.

Причем это касается не одного конкретного автора той или иной статьи, а всех авторов наиболее интересных и важных статей: все, кажется, говорится верно и точно, за исключением пресловутых точек над «і», которые авторы с непонятной, но постоянной ловкостью обходят, как опытные лодманы обходят подводные рифы. Что такое эти точки над «і» и что такое это «і»? Создается впечатление, что авторы критических статей, поставив задачу выяснить всевозможные причины и истоки, заранее сговорились друг с другом, заключив своеобразное негласное соглашение: «да» и «нет» не говорите, «черное» и «белое» не называйте, но во всем остальном будьте вполне добросовестны, дотошны, ищите, выясняйте причины и мотивы, только «черное» и «белое» не называйте, «да» и «нет» не говорите. Но что такое это «черное» и «белое», какие «да» и «нет» нельзя говорить? Разное ли «черное» и «белое» для каждого автора или это какая-то система? И если система, то какая: жесткая, неподвижная или эластичная, постоянно меняющаяся, трудно уловимая и не поддающаяся фиксации?

Для того, чтобы попытаться понять, что это за система (да и есть ли она), нам придется воспользоваться одной парадоксальной ассоциацией, провести, на первый взгляд, странное сближение, оговорившись заранее, что это

сближение носит, конечно, опосредованный характер, без помощи которого нам, однако, не понять, что представляют из себя те невидимые рифы, которые омывает, обходит стороной поток перестроечной критической мысли.

Как известно, согласно христианской догматике, наибольшим преступлением для христианина является хуление Духа Святого и самоубийство. По сути дела хуление Духа Святого и равно самоубийству души, отлучающему ее от возможности будущей жизни. Почему, однако, из находящихся на одном онтологическом уровне единосущных ипостасей Троицы более всего защищается от оскорбления именно эта ипостась? Если оценить ситуацию с психологической стороны, то можно заметить, что защищается самая беззащитная, таинственная и одновременно сакраментальная ипостась Троицы, и это неслучайно. Любая религия имеет свою систему сакрализации, т. е. наделения священным содержанием определенных предметов, явлений и людей для защиты их от неосторожного, профанирующего воздействия (влияния) непосвященных.

Однако, как известно, операция сакрализации применяется не только в теологии. Любая замкнутая общественно-политическая система опирается для поддержания своего авторитета и влияния на важные, священные для нее события, явления, на тех или иных исторических деятелей, в той или иной степени способствовавших ее становлению. Особенно отчетливо момент сакрализации выступает в обществах с официально признанной, государственной идеологией. Ни для кого не секрет, что именно таким обществом, для которого идеология является центральным, господствующим общественным институтом, является наше, советское, общество.

Что такое идеология и какие именно сакральные понятия составляют ее целостность? В нашем переидеологизированном обществе, когда идеологическим смыслом наделяются, по сути дела, не только любые явления и события истории, но и принадлежащие частным лицам мысли и идеи, создана иллюзия, будто бы идеология — это такое же древнее понятие, как, скажем, политика или государство. На самом деле это не так.

Термин «идеология» впервые был введен французским философом А. Л. К. Дестютом де Траси для обозначения учения об идеях, позволяющих устанавливать твердые основы для политики, этики и т. д. И почти сразу термин «идеология» приобрел пренебрежительный оттенок. «Идеологами» стали называть людей, проповедующих взгляды, оторванные от практических вопросов общественной жизни и реальной истории.

Примерно такое же понимание «идеологии» демонстрировали Маркс и Энгельс, которые впервые использовали этот термин в «Немецкой идеоло-

гии» и позднейших работах, понимая под идеологией: 1) идеалистическую концепцию, согласно которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей, принципов*; 2) соответствующий этой концепции тип мыслительного процесса, когда его субъекты — идеологи, постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности общественных идей**; 3) вытекающий отсюда метод подхода к действительности, состоящий в конструировании мнимой реальности, которая выдается за действительность***. Иначе говоря, они утверждали, что действительность предстает в «идеологии» в искаженном, перевернутом виде и «идеология» оказывается иллюзорным сознанием.

Термин «научная идеология» ввел в обиход Ленин, не только переориентировав и расширив эту категорию до ее современного понимания как системы взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг другу, социальные проблемы и конфликты, но и впервые заявив, что лишь марксизм в подлинно научном смысле является строго научной идеологией. Можно ли утверждать, что до возникновения советского общества история не знала обществ с настолько разработанной, иерархически выстроенной системой государственной идеологии, основанной на нескольких непререкаемых канонических постулатах и использующей для своего утверждения ряд сакрализованных понятий, событий и исторических фигур?

Что это за постулаты и понятия? Действительно ли эта система строго иерархична и обладает жесткой непререкаемостью или, напротив, обладает способностью приспособливаться ко времени, быть эластичной в ответвлениях, оставаясь неподвижной в определенных критических точках,— об этом мы еще скажем. Попытаемся поискать аналогии.

С чем можно сравнить пресловутые политические процессы Сталина, упоминание о котором стало общим местом всех перестроечных статей, выставяющих Сталина в виде весьма удобного и не менее символического «козла отпущения»? Если прибегнуть к историческим аналогиям, то, пожалуй, наиболее похожими и близкими по сути к сталинскому террору окажутся церковные средневековые соборы, созываемые для судов над еретиками и институт испанской инквизиции 16—17 вв., созданный опять же для борьбы с ересью, то есть отпадением от канона господствующей религии.

Характерно, что, как в первом, так и во втором случае, настоящий смысл обвинений камуфлировался присовокупленным и почти всегда иллюзорным:

* См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 12, прим.

** См. Энгельс Ф., Соч., т. 39, с. 83.

*** См. Энгельс Ф., Соч., т. 20, с. 97.

в случае сталинских репрессий в качестве обвинения выносилось участие в шпионских или террористических организациях; в трибуналах инквизиции часто выставлялось на вид обвинение в заговорах, наведении порчи, колдовстве. Хотя на самом деле причиной репрессий было несогласие или несоответствие с каким-либо канонизированным идеологическим постулатом, в кощунственном, произвольном прикосновении к сакрализованному понятию или утверждению.

Почему так произошло? Здесь уже высказывалось мнение, что идеология в советском обществе заняла уникальное, предназначенное для религии место, став не просто системой взглядов и идей, а непреложной системой сакрализованных понятий, идей и событий. Не что иное как заявление о нахождении, наконец, единственно верной и окончательной истины стало первым шагом в сакрализации новой идеологии, которая с этих пор защищалась от исследовательского, аналитического подхода священным ореолом. Сакрализация не терпит оттенков, к сакральному предмету допускается лишь единственный способ отношения — канонический, все остальные объявляются еретическими. Для того, что скрыть уникальное положение в обществе идеологии, был взят на вооружение тезис об усилении идеологической борьбы, а идеологическая направленность приписывалась всем уровням существующих и даже прежде существовавших обществ. И действительно, если идеология — это та или иная система взглядов и идей, то раз существуют различные системы взглядов и идей, то существуют и различные идеологии. Однако даже если принять утверждение о существовании в каждый конкретный момент каждого конкретного общества той или иной государственной идеологии, то до XX века, до появления обществ, исповедующих государственный атеизм, идеология нигде настолько не сакрализовалась, не наделялась священным, непререкаемым, каноническим (вспомним пословицу: свято место пусто не бывает) и при этом принципиально расплывчатым, уклончивым, неподдающимся точному определению смыслом. Именно в этой раздвоенности: то есть, с одной стороны, каноничность, неприкосновенность, а с другой — расплывчатость, неопределенность, и состоит главная сила этой системы, позволяющей сохранить устойчивость подразумеваемых непререкаемых основ, уводить их от возможности точного определения, фиксации, анализа. Подвижность внутри охранительного контура, возможность уйти от очной ставки с критической мыслью и одновременно несомненное присутствие, влияние — вот главные особенности этой уникальной эластичной системы.

На первый взгляд легко, а на самом деле невероятно трудно точно и определенно указать на то, что именно сакрализовано в советском

обществе? Вроде бы можно пойти от противного и попытаться определить топографию сакрализованных понятий, сделав обзор критических статей современной журналистики, которая благодаря объявленной политике гласности и перестройки занята обсуждением всевозможных недостатков, несообразностей, пороков экономической и общественной жизни, поиском причин их появлений, и подчас, доискиваясь до корней, как конь, почувший мертвеца, застывает при подходе к сакральному понятию. И это при том, что различные средства массовой информации неоднократно утверждали, что запретных тем уже нет; но именно поток критических статей, достаточно плотно — к настоящему моменту — заполнивших пространство общественной мысли, отчетливее, чем когда-либо раньше, высветил оставшиеся лакуны и пустоты, так и не подвергшиеся критическому осмыслению.

Однако это критическое осмысление осложнено двумя уже указанными обстоятельствами. Первое: то, что представляет наибольший интерес и важность обведено охраняющим, оберегающим, неприступным ореолом; второе, само существо того, что скрывается и оберегается, принципиально препятствует осмыслению и определению благодаря полумистической расплывчатости и уклончивости.

Именно поэтому, возможно, наиболее плодотворным представляется метод последовательных сравнений и уподоблений. Вероятно, уместен следующий ряд сопоставлений. Если общество — это некая структура, то сакрализованную идеологию можно представить себе в виде кристаллической решетки, пронизывающей весь социум. В более жестком, статичном представлении: это — металлическая конструкция, на основе которой и существует такой материал как железобетон. Бетон — общество, железная конструкция или кристаллическая решетка — сакрализованная идеология. Однако если постараться сказать точнее, то, пожалуй, можно заметить, что сакрализованная идеология — это не просто металлическая кристаллическая решетка, а токопроводящая конструкция с подключенным к ней высоким напряжением. Таким образом, общество превращается в поле, само по себе аморфное, но собираемое воедино проходящим по невидимой кристаллической решетке током, а прикосновение к оголенным, обнаженным токопроводящим частям (в зависимости от состояния общества, определенной фазы его развития) нежелательно, невозможно, опасно для жизни, самоубийственно. Вся система, оказывается, подключена к источнику высокого напряжения (или тайного огня), положение которого в сакрализованной идеологии можно с соответствующими оговорками сравнить с положением Духа Святого в христианской догматике, а сохранение этого источника, охрана его (защита огня) возложена на особо посвященных жрецов. И, возможно,

именно поэтому одним из наиболее популярных древних мифов у нас является миф о Прометее, похитившем и передавшем людям священное пламя. Это плюс к тому, что он еще традиционно выступает в роли богоборца и революционера.

Однако подобный ряд сопоставлений приводит к утверждению, что сакральная система обладает определенной жесткостью, неподвижностью, строгой иерархичностью, а это совсем не так или, скажем осторожнее, не совсем так, ибо, если развивать дальше ход предположений, то он неминуемо приведет к совпадению, совмещению двух принципиально разных иерархических систем: системы сакральной идеологии и системы бюрократического управленческого аппарата; а для того, чтобы стало понятно, насколько они отличаются, воспользуемся еще одним напрашивающимся сближением.

Известно, что есть земная церковь и церковь небесная. Конечно, земная есть проекция небесной на земле, ее уподобление, но и различия их принципиальны. Земная церковь — конкретный человеческий институт, зависящий от конкретных людей, занимающих конкретное положение в ее иерархической структуре. В то время как небесная церковь ни в коем случае не совпадает с церковью земной и имеет принципиально иную, мистическую природу. Не претендуя, конечно, на точные взаимодозначные соответствия, можно, однако, утверждать, что как небесная церковь не совпадает с земной (хотя последняя является не только проекцией первой, но и получает от нее смысл и силу), так и сакральная идеологическая система не совпадает с тем, что называется административной системой управления. Хотя эта административная система управления может существовать только при условии существования системы сакрализованной идеологии, сами конкретные представители этой административной системы освещаются сакральным светом постольку, поскольку пронизаны общей системой идеологического кровоснабжения. Именно поэтому замена одного (даже самого высокопоставленного) чиновника другим не наносит ощутимого ущерба самой системе, ибо отключенный от общей системы кровоснабжения, выведенный из сакрального состояния, он тут же десакрализуется и легко заменяется другим. Важно только, чтобы замена происходила изнутри, а не извне, ибо иерархическая выстроенность позволяет более высокостоящему на иерархической лестнице как бы десакрализовать нижестоящего.

Возвратившись к сталинской эпохе, явившейся звездным часом для сакрализованной идеологии, можно заметить, что именно к предвоенному времени она достигает наиболее устойчивого экономического состояния, выразившегося в теснейшем сближении, чуть ли не совпадении земной и небесной церкви, что на самом деле совершенно необязательно, и впоследс-

твии, когда идеалистический период миновал, и взаимооднозначное соответствие стало невозможным, сакральная система опять приобрела более свойственное и естественное для нее двойственное выражение, определяемое, как мы уже видели, с одной стороны, непрерываемым, непреступным положением, а с другой — неопределенным, расплывчато-ориентированным внутри защитного ореола смыслом.

Если посмотреть на ситуацию сталинской эпохи в плане развития и укрепления сакрализованной идеологии и перейти при этом на более конкретный уровень, то очевидно, что не выдерживает критики утверждение, будто именно на Сталина ложится основная ответственность за совершенные в его время государственные преступления, ибо Сталин был не только верховный жрец, но и порождение сакрализованной идеологии. При его кажущейся всесильности он волен был действовать лишь в пределах, ограниченных канонами, им не созданными, а лишь укрепленными. Для того, чтобы понять это, надо представить себе не то, что Сталин мог, а то, на что он не имел права ни при каких обстоятельствах, ибо будучи верховным жрецом сакрализованной идеологии, не мог выступить против этой идеологии, ибо тут же был бы испепелен высоким напряжением, отменить которое он, как и никто другой, был не в состоянии. Он мог пытаться полностью совместить земную церковь идеологии с небесной или земную превратить в небесную, но посягнуть на основополагающие сакральные понятия не смел и подумать. Так, он мог выдвинуть идею усиления классово-идеологической борьбы, но был не в состоянии посягнуть на такие сакральные понятия, как мировая революция, ведущая роль партии, коммунизм как светлое будущее всего человечества, на миролюбивый характер внешней политики советского государства или на кого-нибудь из сакральной триады Маркс — Энгельс — Ленин. Более того, только опираясь на эти канонические понятия, он и мог управлять обществом в роли канонизированного верховного жреца. И дело, конечно, не в том, что Сталин как таковой был жесток, мнителен и властолюбив, чем принято объяснять чудовищные государственные преступления, совершенные от его имени, а в том, что его деятельность не только полностью вписывалась в существующую систему, но и помогала этой системе обрести в его эпоху каноническое состояние.

Уникальное положение сакрализованной идеологии, пронизывающей всю общественную субструктуру, состоит прежде всего в том, что она функционирует по сути дела параллельно с функционированием самой субструктуры, и последняя (особенно в каноническом состоянии) не обладает возможностью как бы то ни было влиять на состояние сакрализованных понятий, лишенная изначально контура обратной связи. Внешне общественная субструктура может быть оснащена любыми общественными и демократическими институтами, такими, как суд, всеобщее избирательное право, выравненное с оглядкой на самые демократические системы современное

законодательство. Дело в том, что эти институты функционируют сами по себе. Их маховое колесо крутится либо вхолостую, либо камуфлируя своим существованием получение настоящих управляющих сигналов от неподотчетной общественной субструктуре сакрализованной идеологии.

Приведем пример. Одним из основных моментов объявленной политики перестройки является совершенствование избирательной системы. Вместо одного назначаемого кандидата выдвигаются два или несколько, и в принципе можно себе представить, что кандидатов может быть множество, и выборы их будут происходить максимально демократическим путем. Также в принципе представим идеал демократической системы — непосредственные прямые выборы главы государства (в нашем случае — Председателя Президиума Верховного Совета). Однако кто такие депутаты и кто реальный глава государства? На самом деле они находятся в параллельно функционирующих системах, и подлинный вес избираемых депутатов определяется их положением в неизбираемом, неподотчетном избирателям партаппарате, положение которого и соответствует положению сакрализованной идеологии в обществе. В связи с вышесказанным становится понятен смысл происходящей сейчас политики перестройки: перестроить существующую общественную субструктуру, придав ей максимальную эффективность, не затрагивая при этом сакраментального положения идеологии. Рычаги перестройки перемещают массы внутри общественного пространства, которые снуют меж секций кристаллической решетки сакрализованной идеологии, неподвижное состояние которой является анахронизмом и главным тормозом каких-либо позитивных перемен.

Ставится ли в таком случае вопрос об отмене или запрете идеологии, о деидеологизации жизни общества? Нет. Идеология (как система взглядов и идей) и идеологи как таковые являются средствами самосознания и артикуляции интересов и мнений как отдельных людей, так и различных социальных групп. Реальными тормозами для демократизации общественной жизни является сакрализованный характер идеологии, не допускающий осмысления тех или иных ее положений, придающих им необсуждаемый, непререкаемый, раз и навсегда утвержденный смысл. Секуляризация сакрализованной идеологии, снятие табуирующих ограничений, превращение ее в то, чем она является по существу — в систему идей и взглядов, способную утверждать свою правоту в чистом поле интеллектуального анализа, дискуссий и обсуждений — вероятно, единственный путь очищения пространства общественной жизни, вступившей на путь самопознания и ставящей перед собой цель самосовершенствования.

Возможно ли это? Допустимо ли? Имея в виду даже не сиюминутные ограничения, а специфику нашей русской общественной жизни, традиционно оберегающую тайну и авторитет? Что будет, если можно будет говорить «да» и «нет», называть «черное» и «белое», расставить все точки над «i»? Покажет будущее.

Алексей Черкасов

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ (опыт анализа одной либеральной статьи)

На что похоже наше время? Чем кончатся реформы, которые в очередной раз затевает единственный наш европеец-правительство, от одного которого, согласно пушкинской формуле, зависит, стать ли лучше или хуже? Почему они вообще начались? Можно ли предугадать будущее? Вот те вопросы, которые многие задают себе и другим и ищут ответа.

Все реформы на Руси удивительно похожи. В основном (за малым исключением) это реформы либеральные, пытающиеся перестроить порядок вещей на европейский лад, более соответствующий современным либеральным воззрениям, и в то же время, оставить неизменным сам порядок, оставить в неприкосновенности что-то чрезвычайно важное, незабываемость чего представляется очевидной.

Есть целый ряд удивительных совпадений, не заметить которые невозможно, совпадений, указывающих на типологическое сходство нашего времени с периодами реформ, проводимых ранее, в разное время в России, будь это хрущевские реформы, петровские, столыпинские, нэп, реформы 60-х годов нашего века (косыгинские), или 60-х прошлого, т. е. реформы Александра II.

Нельзя не заметить два обстоятельства, сопровождающие подобные реформы, а именно: либеральные реформы начинаются с болезненно переживаемого поражения в войне (или иной национальной катастрофы), начинаются обязательно после этого поражения, в то время как победа в войне с той же неумолимостью приводит к преобладанию консервативных настроений, к консервативным или антиреформам. Так, скажем, Александр I после ряда поражений в войне с Наполеоном начинает ряд либеральных реформ (реформы Сперанского), а после победы 12 года переходит на консервативные позиции. Так же характерно, что поражение и трудный ход начала Второй Отечественной войны вызывает у многих ощущение неизбежных

либеральных реформ после войны, после победы, но, окончившись победой, война вызвала лишь новые сталинские репрессии и закоснение режима.

Однако поражение в войне (или другая национальная катастрофа) не является достаточным (а лишь возможным) условием для наступления эпохи либеральных реформ, как необходимым, но недостаточным является и второе обстоятельство: появление нового государственного лидера, олицетворяющего в своем лице европейца-правительство, как это было с появлением первого европейца Петра I, Александра I, Александра II и т. д., вплоть до нашего времени. Дело, конечно, не в том, что Хрущев или Горбачев могут быть сравнены с Петром I или Александром II, но концептуально их роль как зачинателей и инициаторов реформ совпадает.

Более того. Именно типологический анализ позволяет увидеть и общее в ходе всех либеральных реформ: почти все они начинаются с амнистии политических заключенных, ослабления цензуры и активизации либеральной мысли, что, конечно, неслучайно и служит раскрепощению либеральной мысли, усилению либеральной позиции. И это неудивительно, ибо силы, стоящие во главе либеральных реформ, сознательно иницируют либеральную мысль, освобождая ее на время реформ от жестких ограничений, чтобы иметь возможность воспользоваться либеральными разработками, либеральным анализом ситуации (и возможных выходов из нее), ибо либеральная позиция, как никакая иная, соответствует реформистским устремлениям. Но, конечно, верховные инициаторы реформ выбирают из либеральных предложений те, которые представляются властям наиболее конструктивно подходящими духу и размерам реформ, нацеленных на то, чтобы реформировать порядок вещей, при этом не затрагивая его концептуальной основы.

Здесь необходимо отметить еще одно общее место всех либеральных реформ в России. Инициатор реформ, тот самый государственный лидер, который и олицетворяет в своем лице европейца-правительство, всегда является выходцем из консервативной среды и, имея, конечно, сторонников в виде ближайшего окружения, осуществляет реформы через голову консерваторов-ортодоксов вопреки их охранительным настроениям, обращаясь за поддержкой либералов, используя, однако, либеральную среду, либеральную позицию и либеральную мысль в качестве катализатора, в качестве экспертов, предлагающих какие-то решения, разрабатывающих те или иные повороты реформы, но при этом недопускаемых до уровня принятия решений. Решений, которые консервативная среда в лице наиболее соответствующих реформистским настроениям представителей, оставляет за собой.

Дело в том, что либеральные реформы основаны на перераспределении интересов, в основном за счет консервативной партии, которая, конечно,

всячески препятствует этому процессу, распределению своих привилегий среди остальных общественных групп. И либеральные реформы обычно остаются недоведенными до конца в тот момент, когда волна перемен доходит до ватерлинии консервативной позиции, угрожая при последующем продвижении затопить консервативную позицию, лишив ее главенствующего положения, чему консерваторы, естественно, всеми силами противодействуют. И выдвинутый консервативной средой инициатор реформ, естественный государственный лидер, сам приостанавливает и сворачивает реформы, дошедшие до ватерлинии консервативной позиции, не дожидаясь, когда консервативная среда, из которой он вышел и которая наделила его властью, вступит с ним в антагонистические противоречия, неминуемо окончившиеся бы для него плачевно, а именно — заменой другим лидером, более устраивающим стоящих у власти консерваторов. Но если причиной окончания реформ является достижение этими реформами допустимого консервативной позицией уровня, то поводом для их свертывания — и это еще одно общее место всех либеральных реформ в России — являются волнения на окраине Российской империи. Так, поводом для свертывания реформ Александра II стали волнения в Польше в 1863 г. (и вообще: именно события в Польше на протяжении всего XIX века являлись сигналом к свертыванию и усмирению либеральных проявлений); первым сигналом к свертыванию хрущевских реформ стали волнения в Венгрии в 56-м, «экономических» косыгинских — в Чехословакии, горбачевских...

Но давайте подробнее рассмотрим весь ход и перспективы реформ, исходя из уже выбранной экспозиции, имея в фокусе какие-либо уже происходившие в России конкретные реформы. И для анализа текущей ситуации воспользуемся либеральной позицией, как наиболее точно соответствующей реформистскому настроению.

В гущу «перестроечных» либеральных статей прошлых (87—88) годов почти незамеченной ими, по крайней мере, не откомментированной, оказалась промелькнувшая где-то на периферии общественного внимания статья профессора Гавриила Попова о том, «Как на Руси отменяли крепостное право», снабженная многозначительным подзаголовком: «Взгляд специалиста по проблемам управления».* Эта статья посвящена периоду реформ Александра II, рассматриваемых с позиций современного реформатора: автор на первых же страницах сообщает, что, собирая материалы, выполнял задание одного из руководителей косыгинских реформ 61 года заместителя председателя Госплана СССР П. В. Коробова, задание, по сути дела, очевидное: увидеть то общее, что характеризует ход либеральных реформ в России.

* «Знание — сила», 1987, №№ 3—5.

И вся указанная статья написана так, чтобы за конкретным материалом и ходом реформ 61 года можно было бы увидеть современные «горбачевские» реформы, о чем, конечно, автор нигде напрямую не говорит, но, несомненно, подразумевает.

Рассмотрим взгляд либерального мыслителя и мы, комментируя и возвращаясь к нашему времени, как бы дописывая то, что Г. Попов оставил в подтексте статьи.

Итак, как мы помним, либеральные реформы в России начинаются с поражения в войне и с приходом к власти нового политического лидера, понимающего, что без каких бы то ни было реформ из «застойного» периода не выйти. Вот многозначительная характеристика «застойного» периода тех лет: «Общей основой реформы 1861 года была неспособность системы хозяйствования (...) обеспечить объективно возможные и реально достигнутые в передовых странах Западной Европы темпы роста производительности и технического прогресса. Все противоречия общества обострились. Снять их остроту самодержавие пыталось жестокостью в области политической, административной и идеологической. В какой-то мере подавить оппозицию удалось. Однако консервация положения, сложившегося внутри страны, ослабляла главную опору самодержавия — армию. (...) Поэтому первое же крупное столкновение с регулярными армиями капиталистических стран в Крымской войне, несмотря на напряжение всех сил империи, закончилось позорным поражением. Объективная необходимость реформы (...) содержалась в самом феодальном строе России, но непосредственной ее причиной стало внешнее обстоятельство — поражение в войне, угроза новых поражений, угроза потери престижа». (№ 4, с. 88).

Перед нами достаточно точная характеристика «застойных 70—80-х», прошедших под девизом борьбы с инакомыслием, «ужесточения в политической, административной и идеологической» сферах с целью скрыть общественные противоречия. Перед нами начало реформы — Крымская война, инициатор реформ — «император и его ближайшее окружение, опасавшиеся за позиции лидеров своего класса». Но что такое в нашем случае «Крымская война» и разве можно сейчас, в конце 80-х годов, говорить о «кризисе, отставании в техническом оснащении» армии? Об этом мы еще скажем. Пока же отметим ту естественную инверсию либеральной позиции, когда она обращается к прошлому времени и становится в его оценке радикальной (о том, как и почему радикалы превращаются в либералов, мы уже писали).

Весьма характерно, что современный либерал Г. Попов видит причину общественных противоречий в России прошлого века в порядке вещей, в самодержавии, в «феодальном строе России». И именно этот порядок

вещей по сути дела и определяет первый этап подготовки реформ. «Можно было предлагать все, что угодно, но по частностям, но нельзя было трогать суть системы, касаться ее базисных принципов». Достаточно точно характеризуются и основные силы, основные позиции, все более и более уточняющиеся по мере подготовки реформ. Первое и самое важное: народ как всегда безмолвствует, не он является инициатором реформ, он, прежде всего ущемленный и ощущающий на себе следствие «общественных противоречий», реагирует традиционным способом и оказывается способным лишь на «разрозненные бунты». И поэтому не становится в ходе реформы «реальной действующей силой», и влияет лишь «как сила, чреватая возможным взрывом». А выражаются его интересы «лишь небольшой изолированной группой, оказывающей на ход реформы давление только критикой со стороны».

Действующих сил во время реформы три: инициатор реформ и его ближайшее окружение; противодействующая реформам консервативная среда и содействующие реформам, по сути дела разрабатывающие идеологию и практику реформ либералы. Напомним, что под либералами мы понимаем общественную позицию тех, кто ищет прогрессивных изменений в конкретных пределах существующего порядка вещей; в отличие от «радикалов», уверенных, что какие бы то ни было существенные изменения при этом порядке вещей невозможны и изменять нужно сам порядок; в то время как «консерваторы не хотят каких-либо изменений, опасаясь за устойчивость самого порядка вещей».

В наше «перестроечное» время — и это уже неоднократно называлось в различных либеральных статьях — главной противодействующей реформам силой является бюрократический управленческий аппарат или функционеры «Административной системы управления» (термин, также введенный в обиход Г. Поповым), или «номенклатура» — реже употребляемый термин, обозначающий прослойку должностных лиц, назначаемых на свои посты только с согласия высшего эшелона власти. Консерваторов перестройки 60-х годов прошлого века определить куда проще, ибо термин уже отстоялся, — это «крепостники». То есть значительная часть привилегированного командного класса, защищающая крепостничество и связанные с ним привилегии. Однако как же в таком случае получается, что все либеральные реформы в России начинает естественный лидер государства, выдвинутый и поддерживаемый именно привилегированным консервативным слоем, который, однако, только заступив на свой пост, начинает реформы, перестройку, менее всего устраивающие именно консерваторов?

Конечно, среди прочих причин есть и такая, кажущаяся самой очевидной: с самого верха лучше видно, и лидер государства, пусть и выдвинутый консервативными силами, вместе с которыми он радеет за незыблемость существующего порядка вещей, понимает, что без тех или иных перемен, осуществленных «сверху», не выйти из тупика, неминуемо ведущего к «бунту, бессмысленному и беспощадному», то есть к взрыву «снизу». И, следовательно, действует из разумного страха потерять командное положение в обществе.

Существует еще одна не менее очевидная причина: только что став лидером государства, верховный инициатор реформ (особенно если это молодой человек) еще не успевает пропитаться корпоративным классовым или бюрократическим духом, он еще сохраняет, хотя бы отчасти, в душе ощущение частного человека, подданого, человека как все, которому ничто человеческое не чуждо. Более того, его стремительное возвышение наполняет его чувством ответственности и благодарности по отношению к той иерархической пирамиде, которую ему по воле случая или судьбы суждено возглавить. Но что именно представляет из себя чувство, которое с той или иной степенью проникновения становится свойственным только что занявшему верховный пост, престол простому смертному?

Вспомним достаточно традиционный и подвергаемый либеральному осмеянию стереотип, основанный на устойчивой российской мифологеме: царь, верховный руководитель, даже вообще начальник — отец, его подданные, подчиненные — дети. «Батюшка царь», «отеческая похвала или строгость» (как и у нас «отеческая забота партии о народе») — суть проявление неизменно действующего механизма отношения к власти, соответствующее народной стихии, народному мифологизированному сознанию в стране, где синонимом «государства» служит слово «отечество». И которое растворено в крови. Можно ставить вопрос, как и почему на Руси сформировалось столь бережное, доверчивое отношение к авторитету, но главное в нашем случае то, что этот стереотип отношений не является выдуманным, а присущ русскому менталитету как одно из определяющих его качеств. И, естественно, только вступив на престол, руководитель тотчас же ощущает действие указанной мифологемы, которая начинает проявляться в нем, даже без достаточного осознанного понимания указанного механизма.

Но вернемся к 60-м годам прошлого века, сквозь призму которых мы смотрим на наше время. Итак, по тем или иным причинам верховный руководитель, царь становится инициатором реформ. Каких именно? Как они начинают осуществляться? Г. Попов достаточно подробно исследует все этапы подготовки к реформам, отборы вариантов, способы их анализа,

а затем опять многозначительно называет тот вариант реформы, который в конце концов избирается среди многих других, — «бюрократическим». Слово мало подходит к середине прошлого века, когда чиновнический аппарат даже отдаленно не напоминает своей разветвленностью и отдаленностью от жизни сегодняшней, но именно для того, чтобы еще раз понять, что о сегодняшнем-то дне и ведется речь, он его и вводит. Вот как все объясняется: «Самодержавие так строило отношения помещиков и крестьян, что ни те, ни другие не могли обойтись без правительственного аппарата, без чиновников. Например, бросается в глаза исключительная сложность решений о реформе. Возникает вопрос: почему такая сложная система? Да именно потому, что это был **бюрократический** вариант реформы. (...) Его без постоянного участия правительства невозможно реализовать. Его можно реализовать только за полвека. Так что на 50 лет вопрос о необходимости царя и монархии как бы был предreshен». (№ 4, с. 82).

Либеральный автор, по сути дела, без обиняков дает нам понять, что мы должны быть готовы к реформам, первейшее условие которых есть необходимость сохранить существующий порядок вещей, существующий механизм власти, правления, порядок распределения привилегий, лишь отчасти перераспределяемых среди остальных слоев населения за счет консерваторов. Причем очевидно, что со стороны инициатора реформ и его небольшого окружения единомышленников — это не хитрость, не заведомый обман, а по сути дела подчинение естественному и сложившемуся механизму функционирования данного общества. Более того, инициаторам реформ, даже при условии их ограниченных возможностей и устремлений, на всех этапах приходится сталкиваться с усиливающимся противодействием консерваторов. Уже при первых реформенных поползновениях, санкционированных императором, «начались речи, полные предостережений об опасности покушений на основы строя», о недопустимом отходе от «духовных ценностей, заветанных отцами нашими» и т. д.

Но как же это так, с одной стороны, самодержавие, несомненно еще очень крепкое в России, а с другой, неспособность и противодействие самым мелким шагам, направленным к либерализации общества, к его большей экономической состоятельности? Объяснений этому несколько. Первое, сложность и пространность иерархической системы управления, когда любой управляющий сигнал, по сути дела, любой мощности, доходя до непосредственного исполнителя, терял подчас не только почти всю свою силу, но даже порой смысл и направление действия, да и вообще, гигантские размеры страны делали невозможным контроль исполнения принятых наверху приказов. Это в общем; но и по существу царь «чувствовал, осознанно или интуитивно, что в России аппарат, да и дворяне, могут стерпеть даже его

самодурство, но не позволят покушаться на свои реальные права. И хотя все нижестоящие — каждый порознь — полностью зависели от царя, его окружение накопило огромный опыт блокирования и саботажа негодных царских указов, опыт формирования воли императора — и лестью, и указаниями на опасности, и открыто, и анонимно, и прямо, и через членов царской семьи». (№5, с. 78).

Вот почему царь не мог — «не потрясая всех основ бюрократического порядка» — не только просто объявить о реформе, но даже найти чиновников, которые бы разработали формулу ее осуществления, найденную на основе точного анализа и расчета современной политической и экономической ситуации. Какие бы приказы или просьбы ни отдавал инициатор реформ своему непосредственному окружению, оно тайно либо явно противодействует его намерениям, либо — даже будучи с ним солидарно — не в состоянии произвести необходимые расчеты, предложить многие варианты, из которых должен быть выбран наиболее приемлемый, — ибо не обладало необходимыми для этой работы данными и знаниями. Надо было искать те силы, которые бы сделали все необходимые расчеты, провели необходимый анализ, создали возможность выбора наилучшего варианта, и при этом не претендовали бы на реальную власть в стране.

И в преддверии своих реформ Александр II объявляет политику «гласности и демократизации», отменяет действие «бутурлинского комитета», осуществлявшего жестокую предварительную цензуру, и выпускает свежий воздух в периодические издания, в русские литературные и общественно-политические журналы. И все это делается для того, чтобы раскрепостить либеральную мысль, чтобы использовать в своих целях, в целях подготовки реформ единственную приемлемую в данном случае силу — либеральную интеллигенцию.

Вспомним конец 50-х, начало 60-х годов прошлого века. После «застойного» николаевского периода, приведшего к замиранию общественной и культурной жизни в стране, к эмиграции (внешней и внутренней) наиболее значительных и влиятельных деятелей, — начинается забурлившая прямо на глазах активизация общественной и литературной мысли: все журналы полны критическими романами, повестями и очерками «с направлением»; наступает новый расцвет литературы «натуральной школы», «физиологических» очерков и статей, произведений публицистической заостренности. Эта несомненная либерализация литературной и общественной мысли лишь в малой степени является следствием желания произвести впечатление, в частности впечатление на Европу более соответствующее ей общественной обстановкой (хотя мнение со стороны Запада для российского правительст-

ва всегда чрезвычайно важно: поэтому правительство и единственный европеец, что его единственного всерьез заботит мнение Европы). И амнистия для радикалов (декабристов, петрашевцев и прочих политических противников режима), и высвобождение от цензуры мысли (с 65 года «предварительная» цензура заменяется «последующей» и куда более мягкой) — лишь создание условий для развития мысли, которая должна была с прагматическим и целенаправленным смыслом использоваться для осуществления таких реформ в стране, которые бы уменьшили напряженность в экономической и политической сфере, не затрагивая при этом устойчивость и незыблемость аппарата власти.

«Перестроечные» обличительные романы, возвращение читателям «ранее запрещенных произведений», жалящая муза поэзии — всего лишь побочное и мало что меняющее следствие новой политики «гласности», смысл которой очевиден — использовать в своих целях либеральные разработки, либеральные расчеты и анализ ситуации, без которых невозможно было двинуться дальше по пути реформ.

Еще раз послушаем «почему». «Большинство бюрократов, хотя боялось реформы и не знало ее проблем, еще больше боялось выпустить дело из своих рук, передать его кому-то. Возникло щекотливое положение: реформу готовить и проводить не хотим, не можем, не знаем, как, но и уступить эту работу никому нельзя, это означало бы смертельную опасность для аппарата, так как параллельно ему возник бы другой аппарат. Выход был один: допустить в аппаратный механизм чуждый ему элемент, владеющий проблематикой реформы, — «экспертов». Кто они, эти «эксперты»? Это или отдельные кадры того же аппарата, но которые надо было представлять и выдвигать, грубо нарушая все правила иерархии. Это, далее, «люди со стороны» — либеральные помещики, профессура, журналисты. Без них нельзя было заниматься реформой. Но допустить их в «свою» среду, уступить им должности тоже недопустимо.

«Совершенно не подготовленные к сложной задаче подготовки реформы, непосильным бременем валившейся на их бюрократические плечи, и в то же время не желавшие выпускать из своих рук ни крупницы власти и связанных с ней привилегий, кадры царского аппарата были вынуждены искать особые формы, которые позволили бы им почерпнуть ум от чуждых им деятелей». (№ 5, с. 83).

Внешне ситуация может показаться парадоксальной: аппарат управления, предназначенный для того, чтобы управлять страной, оказывается неспособным исполнять свои прямые функции. Но эта парадоксальность кажущаяся, и парадокс раскрывается очень просто, если вспомнить, что аппарат являет-

ся консервативным, предназначенным для сохранения существующего порядка вещей, умеющим противодействовать попыткам изменения этого порядка, но принципиально неспособным к прогрессивным изменениям. Можно вспомнить ироническую перефразу, улавливающую суть российской системы власти: при кажущейся огромной власти, сосредоточенной в немногих руках, власть почти неограничена в регрессивно-репрессивных действиях, но действительно неспособна на позитивные. «Из подготовки реформы,— пишет исследователь,— сделали тайну в том числе и для того, чтобы скрыть доказательства неспособности традиционного аппарата сделать что-то путное». (№ 5, с. 83).

Более того, тот же самый бюрократический консервативный аппарат высшего и среднего звена всячески, пока это возможно, противодействует идущим и предлагаемым реформам. Как? «Первое средство, давно испытанное в борьбе с прежними попытками реформ,— секретность. Довод: главное — не возбуждать (ненужные и опасные надежды.— Прим. А. Ч.). Выигрывает от секретности тот, у кого большинство в аппарате; большинство было у противников реформ. Другое средство саботажа — затягивать обсуждения; это вынудило царя уже заранее устанавливать конечный срок обсуждения. Пока он этого не делал, вопрос тянули бесконечно: создавали подкомиссии, собирали сведения, запрашивали ведомства и т. д. Третье средство — дискредитация сторонников реформы, часто в сфере их личной жизни. Не решаясь критиковать царя, высшие чиновники сосредоточивали огонь на тех, кто повторял его мнение. Даже Константин Николаевич, брат императора, не был защищен от клеветы, доносов, пасквилей, нередко анонимных, не говоря о чиновниках-либералах. Очень часто применялся и такой прием: «отфутболивали» документы на самый верх, не решая ничего и надеясь деморализовать императора или хотя бы просто его перегрузить. Активно использовали слухи, которые в обстановке секретности никто не мог проверить. И всех старались запугать». (№ 5, с. 81).

Очевиден подтекст приведенного выше отрывка, предполагающий перенос смысла на советскую действительность. Исследователь не просто раскрывает механизм противодействия реформам 61 года, но и подсказывает вывод о типологическом свойстве либеральных реформ в России, предсказывает, чем должны кончиться эти реформы. Реформы были обречены остаться половинчатыми, неоконченными, неудовлетворительными по существу и отстающими от требований времени, ибо должны были быть такими, чтобы предусмотреть существование и необходимость устаревшего и мешающего бюрократического аппарата, механизма власти, непременность и незыблемость которого в будущем являлась необходимым и обязательным условием

каких-либо реформ вообще. Даже если предположить, что инициатор реформ и его единомышленники хотели бы пойти дальше, нежели им позволяло более широкое консервативное окружение и конкретные обстоятельства, у них вряд ли бы это получилось. Многих либералов вводило в заблуждение то обстоятельство, что вершина консервативного аппарата казалась куда более радикальной, чем сама корпоративная партия. Вот типично «перестроечная» речь, например, какого-нибудь либерального секретаря обкома из облеченных особым доверием: «Многочисленность форм подавляет у нас существо административной деятельности и обеспечивает официальную ложь. Если отделить сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды и полуправды, то всюду окажется сверху блеск, а внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет места для истины. Прошу повторить местам и лицам, от которых вначале будущего года ожидаем отчетов на нынешний год, что я требую в них не похвалы, а истины, и в особенности откровенного и глубоко обдуманного изложения недостатков в каждой части управления и сделанных в ней ошибок, и что отчеты, в которых нужно читать между строками, будут возвращены мною с большой гласностью». (№ 5, с. 79).

Однако это не верховный советский чиновник, не выдержки из речи Горбачева на встрече с представителями министерств, а слова великого князя Константина, одного из ближайших сотрудников Александра II. Уже через несколько лет такие речи будут невозможны, ибо перестройка уже кончится, а пока цель подобных высказываний — расчистить простор для инициативы, дать возможность собрать воедино все вероятные варианты предложений для того, чтобы впоследствии выбрать из них наиболее устраивающие власть. Потом, когда контуры реформ определятся, начнется естественное сужение инициатив, что прежде всего отразится на тональности компетентных высказываний верховного аппарата. Покажет цель — накопление данных, для чего используется политика гласности. Вот как это делается.

Один из председателей редакционной комиссии при Главном комитете реформ Ростовцев «распорядился собирать и обобщать не только предложения губернских комитетов и государственных органов, но и вообще все ценные мысли, все, в том числе рукописные проекты». При комиссии образовалась большая библиотека. В нее была собрана и вся европейская литература. По договоренности с жандармерией регулярно доставлялся «Колокол» Герцена. Очень важное значение имел фонд статистических материалов о всей России. Ростовцев видел задачу в том, чтобы «... призвать на помощь общее участие, которое прольет свет на каждую оставшуюся

в тени сторону вопроса, дополнит недостающие факты и исправит вовремя каждую ошибку комиссии». (№ 4, с. 85).

Весьма характерным является и сам способ подания решающей инициативы, подчеркивающий, с одной стороны, зависимость верховной власти от общественных стереотипов и сдерживающей силы партии консерваторов, а с другой, преемственность в способах и живучесть этих стереотипов.

Для того, чтобы придать своим инициативам вид закона, Александр II обратил свой взор на более подходящую для реформ Прибалтику и дает распоряжение «организовать письмо от литовских дворян с просьбой» о необходимости «реформ», а уже затем, воспользовавшись организованной им же «инициативой снизу», обязывает свое консервативное окружение считаться с «народным мнением».

Но вот ситуация дошла до своей кондиции. Все карты раскрыты. Все варианты реформ предложены, положение с помощью экспертов-либералов, как входящих в различные формальные и общественные комиссии, так и просто публикующих свои критические статьи в журналах, прояснено.

В результате правительство остановилось на том «бюрократическом» варианте реформ, который был предрешен, с одной стороны, тем, что в своем подходе «правительство опиралось на либеральное меньшинство бюрократии, сознающее необходимость реформ, и в то же время прямо заинтересованное в сохранении того аппарата бюрократического государства, который был основным источником их существования» (№ 4, с. 86). С другой, невозможностью подняться выше того уровня перестройки, который устраивал более широкую часть связанной корпоративными интересами консервативной среды. Консерваторы умело использовали все способы давления на инициатора реформ, боясь, как бы он не забылся, как бы волна перемен не поднялась выше критической ватерлинии. «Согласованность действий противников реформ поражает,— пишет исследователь,— и, конечно, никакого центра и единого плана сопротивления не было. Просто классовый инстинкт объединяет действия прочнее любого плана» (№ 5, с. 81).

Потом, когда после польского восстания 63 года волна перемен резко пойдет на убыль, будут говорить, что инициатор реформ Александр II разочаровался в реформах. На самом деле это не так. Было сделано именно то, что его устраивало, и именно так, чтобы устраивало, как его, так и ту часть пирамиды власти, на которую он опирался. Личные качества инициатора реформ здесь почти не играют никакой роли, они уже проявились в том, что реформы вообще начались, а то, что они завершились наполовину, растянувшись на полвека, так и не доведенные до конца, обусловлено не его

личными качествами, а его положением внутри выстроенного механизма власти, которому он должен подчиняться так же, как и все остальные.

Понятно, что исследователь, публикующий в разгар современной перестройки статью о реформах прошлого века, прежде всего имеет в виду век нынешний и нынешние, сейчас идущие реформы. Понятно, что выводы его являются предостережением по поводу будущего текущих реформ, хотя он нигде не говорит, что Крымская война — это Чернобыль, Афганистан и Рейкьявик, что амнистия для декабристов, петрашевцев и прочих радикалов — это освобождение диссидентов; нигде не сопоставляет критические романы и очерки «натуральной школы» с перестроечными романами эпохи «гласности», как и положение дворян с «номенклатурой» — такие взаимооднозначные параллели выглядели бы натяжкой, эффектной парадоксальностью, невозможной для добросовестного исследования. Нам лишь указывается на совпадение структурных единиц общества, механизмы проведения реформы и концептуальное единство целей, которые должны привести и к сходным результатам.

Что же в таком случае ждать от эпохи перестройки? Ее неудачи, возврата назад к застойным временам, может быть, даже еще к худшему, к периоду «массовых репрессий и нарушения законности?» Что будет с теми либералами, которые участвуют в качестве экспертов, разработчиков, анализирующих варианты, авторов разоблачительных статей? В опосредованной форме исследователь дает ответы на некоторые из этих вопросов.

Итак, либералы. Они уйдут, будут вытеснены на периферию общественного пространства, как только в своем анализе дойдут до критической линии, как только сама волна перемен достигнет критической ватерлинии, чреватой переменами, способными перевернуть, затопить, смять командное положение консервативной позиции, то есть как только перестройка достигнет своего максимума. Как только бюрократический аппарат сам овладеет материалом и терминологией реформ, поднимется до уровня своих явных и тайных экспертов. При этом самим экспертам и либералам, за малым исключением, заказан переход в кадровый бюрократический аппарат, ибо «как только чиновник ощущал, что сам овладел материалом, он отстранял эксперта и при этом обязательно очернял его в глазах начальства (...) Сама задача сохранить царскую монархию и ее аппарат допускала только такое использование экспертов. Почему сами эксперты соглашались на эту роль? Да потому, что сами не видели никакого другого реального варианта (для своего участия в реформах.— А. Ч.)» (№ 5, с. 83).

У либеральных экспертов просто нет другого выхода, выбора, как писать доклады, статьи, анализировать, просчитывать текущую ситуацию, надеясь.

что их анализ и расчеты будут учтены в процессе принятия решений, иначе повлиять на процесс принятия решений они просто не в состоянии.

Когда же и какие именно будут приняты решения и объявлены реформы? Какие именно, сказать трудно, главное, что какими бы они ни были, они должны будут сохранить существующий порядок вещей, обособленность аппарата управления и предусматривать необходимость его функционирования для всего хода реформ, реализация которых должна растянуться на долгое время. Однако способ осознать пик реформ, максимум перестройки, после которого начнется осторожное сползание вниз (вероятнее всего, колебательного, волнообразного характера, по принципу «туда — сюда»), есть: можно будет достаточно точно определить перелом по взрыву либерального восторга и ликования, которое должно будет охватить все средства массовой информации, а затем сказаться на тональности всех последующих выступлений, в которых начнет преобладать оптимистический мотив.

Очевидно, пиком перестройки будет серия реформ принципиально **продолжительного действия**, когда основные результаты будут ожидать в будущем и для достижения их понадобится терпение и кропотливая долговременная работа. Почти наверняка общее реформаторское настроение будет «испорчено» каким-нибудь инцидентом на периферии державы, каким-нибудь опасным возмущением или волнениями в странах народной демократии, или непосредственно на окраине страны, что станет дополнительным аргументом для консервативной партии.*

Однако возможно ли предположить, что спад либеральных настроений зайдет так далеко, что приведет к «наступлению нового застойного периода» или даже периода так называемых «репрессий»? С точки зрения максимума либеральной раскрепощенности и общественной свободы, отступление назад, конечно, неминуемо, хотя и маловероятно, что оно приведет к круговороту «репрессий». Маловероятно не только потому, что теперь уже понятно, что формулой «массовых репрессий» всегда является именно «круговорот», «бумеранг», вовлекающий в свой круг и жертв и исполнителей; но и потому, что для такого «круговорота» необходимо внутреннее согласие «народа» и особая сила, молодость и привлекательность идей, которые разделяют с достаточной очевидностью мир на «чистых и нечистых».

Что здесь имеется в виду? Вспомним один красноречивый эпизод из романа А. Рыбакова «Дети Арбата», когда мать «незаконно репрессированного» молодого героя в сердцах говорит своему брату, видному функционеру, некогда, еще в царское время, прошедшему через тюрьмы и ссылки. Мол, если царь бы расправлялся с вами, революционерами, своими противниками так же жестоко, как вы сейчас расправляетесь со своими, то никакой

* Статья была написана в начале 1988 г.

революции не было бы и в помине и вам бы к власти никогда не прийти. Понятно сквозящее в этом высказывании желание уязвить побольнее. А что для искреннего революционера может быть больнее, чем указание на то, что до революции свободы было больше, чем после нее (и тогда — зачем революция?). Однако в том-то и дело, что царское правительство не могло, было не в состоянии проводить более жестокую политику, нежели проводило. Жестоким мог быть и был Иван Грозный, был Петр I — но это время молодости, расцвета идеи монархии, очевидной неопороченности и привлекательности для многих, для мира порядка вещей в государстве — и тогда жестокость не то, что оправдана, но, по крайней мере, допустима для самого режима и порядка вещей, ибо не является разрушительной для него. Конец XIX века, «пореформенная эпоха» (вызванная как раз недостаточностью прошедших реформ, внутренним разочарованием по отношению к возможностям этого порядка вещей), дряхлость и дезавуированность режима — не давали возможности применять жестокие репрессии против революционеров, против тех общественных движений и устремлений, которые, конечно, были разрушительны для стареющего государственного порядка, но сделать больше, чем делало правительство, было невозможно.

Точно так же при «новом порядке». Во время молодости, расцвета, силы и привлекательности идей, лежащих в основе этого порядка, сталинская бюрократия могла себе позволить беспредельную жестокость для утверждения самое себя и основополагающих принципов «нового порядка», ибо опиралась на внутреннее согласие и поддержку общественного пространства страны. Сейчас, при очевидной дряхлости, усталости, полинялости базисных идей этого порядка, повторение «круговорота» репрессий практически невозможно, «идеалистический период» нового режима прошел безвозвратно, возвращение к нему самоубийственно для самого порядка, и это, конечно, прекрасно осознается новой современной бюрократией. Так что возвращения к эпохе «массовых репрессий» можно не опасаться.

Так что же нас ждет? Можно вглядываться во вторую половину XIX века и с соответствующими поправками прозревать свое будущее. Какого рода эти поправки? Они как раз и проявляются в новом звучании, новом смысле таких общественных позиций, как современные либералы, консерваторы и радикалы. Так, если неудовлетворительность, несовершенство, половинчатость реформ 60-х годов прошлого века привели к усилению радикальной позиции, к тому, что именно к радикализму стало клониться общественное мнение, которое оправдывало и такие насильственные методы борьбы против существующего порядка вещей, как открытый террор (весь конец XIX века прошел под аккомпанемент взрывов бомб и револьверных выстрелов), то

новый этап общественного недовольства вряд ли будет отмечен и обличен методами террора. Прежде всего потому, что сами «радикалы» уже совсем не те. Их радикализм как раз и определяется куда более последовательным, нежели у либералов и консерваторов, неприятием насилия, которое, очевидно, совершенно дезавуировано в глазах общественного мнения. Как бы открыто ни высказывали себя современные радикалы, как принципиальные противники существующего порядка вещей, они, во-первых, и отрицают его прежде всего потому, что он был основан на насилии, и, во-вторых, даже не ставят вопрос о борьбе с этим порядком с помощью насилия, которое для них принципиально невозможно. Следовательно, ни взрывов бомб, ни револьверных выстрелов со стороны современных радикалов, убежденных, что проводимые реформы обречены на неудовлетворительное завершение, по-видимому, не будет.

В чем главном выразилась реакция постепенно крепнущего русского общественного мнения второй половины XIX века на неудобоваримость и половинчатость реформ, на наступление нового «застойного» периода, сменившего десятилетие расцвета критической либеральной мысли и злободневность обличительной литературы? Либерализм постепенно терял привлекательность, потому что в период свертывания реформ становился непродуктивным, бессмысленным, вместе с ним стала уходить злободневность, актуальность, откровенная обличительность, что в результате оказалось на руку литературе. Эта литература, пришедшая на смену «перестроечной», обличительным романам, которые встречаются «на ура», пока существует надежда на идущие реформы, ибо они, как и «эксперты»-либералы имеют смысл, пока идет подъем в гору, при спуске слишком легковесны, да и ненужны; именно литература, более глубоко ставящая вопросы, видя не только чисто поверхностное столкновение мнений и политических идей, касающихся проблем общественного устройства, но поднимающая вопросы, связанные с идеей нации, с идеей судьбы народа, неслучайно появившегося на арене истории. Литература, увязывающая судьбу, суть национального характера с его проявлениями в конкретном времени, оказывается куда более плодотворной, пророческой, гипнотически действующей.

Значит, впереди нас ждут реформы, которые, с одной стороны, не удовлетворят общество (хотя все равно «жить станет лучше, жить станет веселей»), а с другой, приведут к появлению литературы, лишенной острой злободневности и поверхностной обличительности, но, взглядевшись в которую, можно будет прозревать свою судьбу, судьбу народа, судьбу идей, которые раскрываются через его посредство.

Значит, мы будем жить и читать.

Михаил Рекшин

СО ДНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКАТУЛКИ

Может показаться, что стихи Е. Шварц, приведенные выше, соединились по принципу весьма произвольному, и названием подборка обязана скорее поверхностному сходству, чем внутренней общности. Имена и времена, расставленные на полках «библиотеки историка», фигурки, извлеченные из «исторической шкатулки», история как мозаика «интересных историй» на Чистых прудах, площади в Сараеве, в Павловском парке или эрмитажном зале — как они соотносятся с авторской концепцией мира и души.

На уровне первого предположения представленные здесь стихи — экскурс в историческую психологию и даже патопсихологию (Дашкова, Достоевский), продолжающий и оттеняющий психологическое самораскрытие автора. Однако при более внимательном рассмотрении все оказывается не так просто.

В стихах и поэмах Елены Шварц натуралистическая раскованность и мистические интуиции сплетены так причудливо и сложно, что не сразу обнаруживается некоторое зияние, разрушающее традиционную триаду тело-душа-дух. А триада эта рассечена, собственно предмет лирической поэзии редуцирован, и страстная, чувственная прозорливая стиховая плоть вопиет, как нищий-миллионер о милостыне. Поэтический мир Е. Шварц исполнен катастроф и фантазмагорических превращений, реальность проламывается внедряющимися в нее потусторонними силами. Человек вовлечен в игру могучих стихий, он успевает следить лишь за чередованием гибельных и возрождающих ударов той воли, которой он изначально подчинен. Высший смысл жизни в жертвенной готовности:

Жертвы требует Бог,
Так скорее ее принеси...

(Жертвы требует Бог...), а не в психологическом самоотжествлении:

Бесформенность души — залог вечности —
 Так не будь же подробным — ужасный наступит конец
 (там же)

И не прочть иероглиф и своего лица
 («Грубыми средствами не достичь блаженства»
 «Horror eroticus»)

Все души с прочерню, как лес зимой...
 (Распродажа библиотеки историка)

Возникает мысль, что исторические стихи и их герои служат как бы психологической компенсацией, и дают поэту возможность произвести запретную операцию над теми, кто погружен в вечную анестезию. Но и это объяснение (как всякое механическое) легко опровергнуть. Давно замечено, что художественное творчество по самой своей сути сверхпсихологично. Творческий акт, разлагающий, фиксирующий, анализирующий душевные состояния, придает им принципиально новую структуру и наполнение. Кроме того, отчуждая неотделимые психические переживания, словесное описание реконструирует личностное единство в наиндивидуальную множественность. Для лирической поэзии эта ситуация рождает вечный парадокс неразрешенности основной задачи и бесконечности ее псевдоразрешений. Эволюция лирики отчетливее всего может быть прослежена как процесс осознания этого парадокса и последовательность возникающих в результате творческих реакций. Художественный авторитет обобщающей формулы, спонтанного наития, теургического знания, или сознательного самоограничения на разных этапах поэзии свидетельствует о безграничных возможностях поэтического слова, но и бесконечных его опасностях. Иначе говоря, стремление овладеть лирическим предметом средствами внешнего описания оборачивается исчезновением объекта, а погоня за невидимыми тенями этого объекта завершается тем, что он сохраняет каменную непроницаемость, исчезает же на сей раз субъект. Познанное невозможно создать, созданное — познать. Единственный путь — создавать и познавать одновременно. Этот путь выбирает поэзия в своем движении к живому и вечному, но ведет ли он к тому, что мыслится прошедшим и умершим?

«Исторические факты — это факты психологические по преимуществу», — пишет М. Блок в «Апологии истории», и независимо от того, подразумеваются под фактами сами «события» или свидетельства о них, признавая даже неразделимость этих двух значений, задаешься вопросом — какую роль индивидуальное сознание поэта и поэтический инструментарий могут сыграть в хранилище происшествий, имен и дат. Ответом может служить стихотворение «Распродажа библиотеки историка» (см. стр.).

Перед нами путешествие натуралиста, собирателя исторической флоры и фауны, постепенно растворяющегося в мире, ставшем предметом его изучения. В этом стихотворении, написанном в 1975 г., уже предсказано большинство будущих исторических тем и сюжетов. Но самое главное состоит в том, что здесь отменена абсолютность границы света и тьмы, настоящего и прошлого, и высветляются пространства былого, оставшегося живым.

«Была сегодня, будет и вчера» — сказано о героине поэмы «Труды и дни монахини Лавинии». Речь идет не о традиционном соположении времен и мест, а о вечной сохранности (не только метафизической, но и физической) в каждой точке пространства и времени всего, что в них когда бы то ни было происходило.

Творчество Елены Шварц стремится перевести это утверждение из разряда абстрактных идей в разряд доказуемых истин, и исторические стихи служат этому очевидным примером, что особенно отчетливо проявляется в том, как сложно, но закономерно переплетены эти стихи с другими произведениями поэта. Скажем, место, где Андрей Белый «чуть под трамвай не попал» — Покровские ворота в соответствующем стихотворении лишены реальной атрибутики, но когда мы читаем «Элегии на стороны света», то в 1-й (северной) обнаруживаем: пруд, трамвай, утку, кинотеатр:

По извивам Москвы, по завертьям ее безнадежным
 Чья-то тень пролетала в отчаянье нежном,
 Изумрудную утку в пруду целовала,
 Заскоружные листья к глазам прижимала,
 От трамвая-быка, хохоча, ускользала
 И трамвайною искрой себя согревала.
 Зазывали в кино ночью — «Бергмана ленты!»*

и верно, для отождествления места действия двух стихотворений читателю не потребуются комментарий, если он обратит внимание на вариацию темы ангела-хранителя и двойника:

«... В прятки ангел играет? Да вот он —
 в земле, под ногами...»

(Элегия)

«... На запятках его
 Стоит существо —
 Я не знаю как звать...»

(Как Андрей Белый...)

«Там где мрак — там сиянье...»

(Элегия)

* Е. Шварц. Стороны света. — Л., 1989, с. 17.

«...Трепет света и тьмы...»

(Как Андрей Белый...)

Зрение, непринужденно переходящее в прозрение, раскрывается в превращениях постоянного персонажа, каким является у Елены Шварц трамвай (населяющий множество ее стихов):

«От трамвая-быка, хохоча, ускользала...»

(Элегия)

«...Захрипевший от страха трамвай...»

(Как Андрей Белый...)

«...Трамвай ко мне, багрея, подлетел...»

(Черная пасха)*

Кстати, сам А. Белый, вспоминая об этом эпизоде, писал: «Я толкнул трамвай». Так складывается «хронотоп» Елены Шварц, в котором предметная реальность прослоена не уступающей в достоверности личным опытом прикосновения к невидимому.

Исторические стихи рождены не просто «интересом» к их материалу и персонажам, но и тем «правом памяти», доказательства которого мы обнаруживаем во всем творчестве поэта. Представление Платона о знании как припоминании в полной мере относится к Елене Шварц.

Анализ контекстуальных пересечений исторических стихов можно было бы продолжать, и продолжать долго, немалый смысл имело бы и проследить за художественной трансформацией тех источников, которые послужили или могли бы послужить материалом исторических экскурсов поэта, и наверняка все это еще будет сделано — здесь же ограничимся лишь одним характерным примером.

В каких отношениях стихотворения «В отставке» (см. подборку) находится с ломоносовской одой «На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны» 1748 г.? В частности со следующими строками ее:

Сидит и ноги простирает
На степь, где Хину отделяет
Пространная стена от нас
Веселый взор свой обращает
И вокруг довольства исчисляет,
Возлегли локтем на Кавказ

Спрашивать, следует ли воспринимать концовку «В отставке» как реминисценцию, присутствовала ли в памяти современного поэта ломоносовская аллегория, столь же бессмысленно, как гадать о том, читал ли возлюбленный

* Там же, с. 40.

Екатерины оду Ломоносова. Важно другое — очевидное взаимодействие сознания одного поэта с сознанием другого и преломление этого взаимодействия в исторически незафиксированном, но обретающем ощутимую плотность сознании не самого знаменитого любовника Екатерины.

В 111 книге своих «Опытов» Монтень, разбирая тацитовские рассказы о чудесных событиях, говорит: «В подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству» — я осмелюсь рекомендовать читателю использовать этот мудрый принцип в отношении к историческим догадкам и видениям Е. Шварц, да и ко всему ее творчеству.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вениамин Иофе

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ЛЕСОВ*

Имеет смысл поразбираться в литературной флоре. Растительность, куст, дерево — слишком важные факторы человеческого мировосприятия, и появление их в текстах почти никогда не бывает нейтральным. Так или иначе оно связано с великим образом мирового древа, и отношение к дереву обычно несет в подтексте отношение к теме жизни, и, что особенно значимо, к теме вечности жизни.

Если же обратиться к русской поэзии XIX — XX веков, то первое, что бросается в глаза, это нестабильность ботанического инвентаря. Любимыми и предпочтительными в разное время оказываются разные деревья, при этом сразу же можно отметить, что с реальным набором деревьев северной средней полосы эта литературная флора соотносится мало. Так, самое распространенное дерево страны, лиственница, в литературе практически не обнаруживается, вездесущую ольху заметило лишь считанное количество авторов, осина как была, так и осталась почти полным изгоем. Но совершенно явно дуб, клен, вяз, липа, яблоня, царившие в произведениях поэзии и прозы XIX века, в XX ушли почти безвозвратно и редко-редко встречаются среди литературного пейзажа. В то же время ель и сосна, аутсайдеры XIX века, нынче становятся все более и более популярными. В целом можно сформулировать как общую закономерность: для XIX века характерны симпатии к лиственным и антипатии к хвойным, XX же век все более и более симпатизирует хвойным. И здесь дело даже не в частоте словоупотребления, хотя, конечно, и она вполне впечатляет, а в изменении самого отношения к тому или иному дереву.

* Когда этот номер был уже собран, редакция узнала о том, что работа В. Иофе, ранее переданная им в ВЛ, опубликована — без ведома автора и в произвольной редакции — в журнале «Синтаксис» (№ 21, 1988, Париж). Высоко ценя сотрудничество В. Иофе, редакция сочла себя не вправе отказываться от заранее подготовленной публикации. (Редакция).

Сразу же одна оговорка, единственное исключение — береза, из бедной приживалки XIX века превратившаяся в любимицу национальной культуры и нагружаемая ныне весьма возвышенными чувствами. Но о ней позже.

В подтверждение несколько примеров.

Фет:

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен:
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь оне
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И неизменные в ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И смолкнув, станет ждать весны и возрожденья,
Они останутся холодною красой
Пугать иные поколения.

Тютчев:

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат.
В снега и метели,
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть век не желтеет,
Но век не свежа.

Возникает естественный и неизбежный вопрос: как относился к хвойным Пушкин? Ответ оказывается прост: как и должно национальному гению, провидчески. Действительно, хотя собственно в стихах Пушкина ни ель, ни сосна в положительном смысле, как правило, не встречаются, но в конце жизни в стихотворении, где поэт задумывается о будущем, о грядущих поколениях, он соотносит их именно с молодой сосновой порослью, и к ней он обращается с известными словами:

Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены.

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Дело оказывается нешуточным. Явная и совершенно бессознательная перемена симпатий в отношении хвойных и лиственных может означать только одно: на пороге XX века произошла перемена установки в отношении вечной жизни, бессмертия и воскресения. Выразить это можно так: в XIX веке бессмертие соотносилось со смертью и новым рождением, воскресением, воспринимаемым в категориях чуда, и отсюда повышенное внимание к великим драмам осени и весны.

Тютчев:

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.

XX же век все больше связывает бессмертие с вечной зеленью как таковой, с темой бесконечного продления наличного существования. Хвойные в русской поэзии XX века являют образ тела бессмертия, вырванного из антиномий бытия, из драмы жизни. Самоидентификация с хвойными, столь настойчиво звучащая, без сомнения свидетельствует о возникновении и развитии некоего иного религиозного сознания. Интересно, что при этом происходит десакрализация лиственных, они перестают быть причастными к благодати неба, а скорее противостоят ему:

Пастернак:

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами...
Там мир заключен. И как Каин,
Там заштемпелевен теплом
Окраин, забыт, и охаян
И высмеян листьями гром.

О, место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств.

Бродский:

Шиповник в апреле
Он корни запустил в свои
же листья, адово исчадь,
храм на крови.
Не воскрешение, но и
не непорочное зачатье,
не плод любви.
И все ж умение куста
свой прах преобразить в горнило,
загнать в нутро
способно разомкнуть уста
любые. Отыскать чернила.
И взять перо.

Такой путь развития, по-видимому, специфичен именно для русской поэзии XX века. Отметим лишь мимоходом, что для англо-саксонской, например, литературы этого же периода избегание жизненной драмы, уход от нее, представляются неприемлемыми. Пример — Йейтс:

Там дерево от верха все горит,
В полдерева огонь, но зелена
И вся в росе и свежа часть другая;
Две доли есть и сцена тем полна,
Они, что породят, то пожирают,
А между ними Аттис, он, она;
Так яр огонь, слеп лист, им знания нет,
Его души, да он не знает бед.

Появляющийся здесь образ бесполого Аттиса далеко не случаен. Сейчас мы к нему и обратимся.

Обращает внимание то, что оба дерева-фаворита отечественной поэзии — и ель, и сосна — женского рода. Заметим, что не менее вечнозеленые кедр или можжевельник литературной карьеры в отечественной словесности не сделали, значит, дело именно в их роде. Ель издавна и традиционно связывается с началом женским, материнским, родовым (хотя бы в традиции рождественско-новогодней елки, традиции недавней, идущей всего лишь с XVIII века, но определенно связывающей ель с образом мирового дерева), пол же сосны не так очевиден. Тут уместно вспомнить сохраненную любовь пары сосна — пальма в лермонтовском переводе «На севере диком». Но тем не менее, хотя проблема пола сосны более сложна, пол ее явственно не мужской. И мы можем зафиксировать, что одной из примет нового религиозного сознания является устранение мужского начала.

Кто же тогда сосна? Если обратиться к истории мировой культуры, мы увидим, что сосна особо соотносится с культами Кибелы и Аттиса и в меньшей степени Исиды и Осириса, в которых ее почитали как дерево

священное, а в культе Аттиса сосна была основным объектом поклонения. Во фригийском варианте всемирного мифа о Великой Матери (принято также и римлянами) Аттис, который выступает в качестве сына-возлюбленного Великой богини Кибелы, в экстазе любовной страсти оскопляет себя и вешается на сосне, которая и становится его воплощением. Сосну почитали также и в культе Осириса, в котором также присутствует тема оскопления Осириса. (В иных вариантах мифа: культах Таммуза и Иштар, Адониса и Афродиты отсутствуют и тема оскопления, и культ сосны.) Таким образом в этих великих древних мифах сосна определенно связывалась с темами оскопления, самоубийства и соединения с Великой Матерью.

Этот отдаленный, казалось бы, для нашего сознания сюжет (хотя уже настораживает Йейтс) находит неожиданное и знаменательное отражение в отечественной культуре. В 1918 году А. Блок, работая над статьей «Заговор Катилины», обратился к стародавним событиям римской истории для того, чтобы понять исторические корни современных ему катаклизмов, и, напряженно вслушиваясь в ритмы и музыку времени, неожиданно для себя пришел к заключению о том, что суть происходящего в России лучше всего выражает известное I. XIII стихотворение Катулла, обычно считающееся стоящим несколько отдельно в творчестве римского поэта. 27 апреля 1918 года Блок даже делает запись в дневнике: «Вдруг к вечеру — осеняет (63-е стихотворение Катулла — ключ ко всему)». Следует отметить, что из дневниковой записи 04. 10. 1912 г. мы знаем, что на это стихотворение в свое время обратил внимание Блока человек с величайшей чуткостью к музыке времени — М. Волошин. 63-е стихотворение Катулла называется «Аттис»:

По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в ту ли глушь фригийских лесов . . .

Стихотворение посвящено описанию священного безумия, самозабвенного порыва к соединению с богиней-матерью и позднего раскаяния Аттиса на утро после самооскопления. Все оно наполнено ужасом перед страшными тайнами богини и перед ее могуществом, ужасом страшной судьбы Аттиса: «Там служанкой прожил Аттис до конца безрадостных дней». В культе Аттиса оргиастическое соединение с матерью (что Катулл передает своими галлиямбами) странным образом сочетается с аскетическим самоограничением, с попыткой упорядочения природной стихии, с уходом от принятия жизни в ее противоречивости, в материнские объятия Кибелы. Имея все это в виду и принимая свидетельство Блока (и, по-видимому, Волошина) о соотносительности этого мифа с событиями конца 10-х годов, факт восхождения сосны на культурном горизонте времени уже не покажется нам странным. Тогда образ ели в этом контексте оправдано будут воспринимать

несущим тему вечно-женского, матери-природы в ее наличном бессмертии, образ же сосны правомерно можно связать с темой мужского, лишённого земляной плоскости в регрессивном (или вознесенном) соединении с вечным материнским началом и тем самым ушедшим за пределы смерти-рождения, за пределы жизненной антиномии.

Вторая тема, обращающая наше внимание, судьба образа березы. Тут прежде всего следует отметить, что в народном сознании, фольклоре, береза почиталась и входила в обряды специфически девичьи, как воплощение девичьего начала, воспринимаемого в отчетливой оппозиции к началам мужским и женским (бабьим): «Не радуйся, не кленье-дубье, только радуйся белая береза, белая береза, горькая осина, идут к тебе девки красные . . . несут тебе горелку горькую, скрипку звонкую, яишню смачную», или же: «Вы, бабы, дуры! Всю зиму прядете, а всю весну ткете, неодеты живете! Я ли береза, я ли кудрява, не тку, не пряду, хорошо хожу . . . Мне свекровь не матушка, мне свекр не батюшка . . .» Календарный интервал девичьих обрядов (кумление, поедание под березой яичницы с питьем водки, гаданием и хороводами) четко обозначен: «А Дух с Троицем — то и сбор девкам, а святой Илья — то разгон девкам!». Среди персонажей и песен этого цикла, соотносящихся с березой, следует отметить кукушку и русалок, существа максимально антисемейные. Таким образом, в народном сознании береза соответствует образу девичества с доминирующими темами разгульности и самохвальства, по-видимому, необходимыми и неизбежными на некотором этапе становления женского самосознания, проживаемому в период весны и раннего лета, незадолго перед началом созревания и плодоношения.

В дворянской же поэзии XIX века береза предстает как дерево «низкого» ряда, как дерево плебейское, и ей обычно сопутствуют чувства грусти, печали, тоски и даже мертвенности, но именно из-за связи со значением печали и смерти береза и начинает использоваться как носительница темы России со специфическим оттенком ее бедности и скудости.

Вяземский:

Средь избранных дерев береза
Непозитически глядит;
Но в ней — душе родная проза
Живым наречьем говорит.

Лермонтов:

Печален степи вид . . .
И где кругом, как зорко не смотри,
Встречает взгляд березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой.

Тютчев:

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.

Фет:

Березы севера мне милы,—
Их грустный, опущенный вид,
Как речь безмолвная могилы,
Горячку сердца холодит.

Массовое вторжение березы в литературу начинается с 20-х годов XX века, а именно с Есенина, и это стоит проследить более внимательно. В поэзии Есенина обе темы березы: тема девичества с пафосом разгульности и бесплодия, характерная для поэзии народной, и тема печали и смерти, характерная для поэзии дворянской, городской, встречаются и начинают взаимодействовать и усиливать друг друга.

Тема девичества:

Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

Сам себе оказался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым,
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

Тема смерти:

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Снежная равнина, белая луна,

Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

Я последний поэт деревни,
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кающихся листвою берез.

И, наконец, обе эти темы, тема разгула и тема смерти, обреченности, смыкаются (во взаимокompенсации, как учит психология), и береза как символ этого единства начинает воплощать тот образ России, для которого важны именно эти темы:

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветъ — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

(«Ленин», отрывок из поэмы «Гуляй-поле»)

О Родина!

...
Отчаянный, веселый
Но весь в тебя я, мать,
В училище разгула
Крепил я плоть и ум.
С березового гула
Растет твой вешний шум.
Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на Востоке
Терять тебя звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклиная,
За то, что ты мне мать.
(1917)

Здесь Великая Мать возникает уже в образе Матери-Родины, раскрывающейся одновременно в темах материнства, девичества («березового гула») и прельстительной женственности («утренней звезды» — Венеры) — зримое видение Аттиса в канун самооскопления и соединения с великой женской стихией.

После Есенина береза, как главное символическое дерево России, прочно обосновывается в поэтическом пейзаже русской поэзии, и хотя главные драматические обертоны этой темы, столь явственные у Есенина, звучат обычно более глухо, в скрытом виде они легко угадываются.

Н. Рубцов:

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез.

К середине XX века древесный пантеон отечественной поэзии вполне стабилизирован, и, с одной стороны, сосна, а с другой, ель и береза занимают в нем вполне определенные места.

Как же нам следует все это понимать? Разумеется, прежде всего как инфантильную деградацию мужского в оскоплении и потере мужественности и женского в регрессии к образу «вечной девочки» в ее разгульности и бесплодии. Но при этом все-таки не забудем и иную возможность, возможность трансформации мужского в просветление и освобождение от плотскости и трансформации женского за счет обретения лица (вместо потери его в браке в традиционной культуре), личности, что безусловно связано с подъемом на небосклоне времени женской темы. Реально ли это? Будем верить, что деревья растут вверх. Но не забудем и то, что благословенные деревья все-таки получают свыше. И тут поверим М. Цветаевой, последнему страстному поэту лиственной темы:

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?

Какой неистовой
Сивиллы таинствами —
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?

Что в вашем веянье?
Но знаю — лечите
Обиду Времени
Прохладой Вечности.

Для Цветаевой деревья — это почти невыразимая встреча со светом. И осень лиственных не столько обещание весеннего зеленого возрождения, сколько открывающаяся в последней наготе осеннего леса тайна соединения:

Осенняя седость
Ты — Гетевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще — расплелось.

Так светят седины:
Так древние главы семьи —
Последнего сына,
Последнейшего из семи —

В последние двери —
Простертым свечением рук...
(Я краске не верю!
Здесь пурпур — последний из слуг!)

... Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...

Не в этом, не в этом
ли — и обрывается связь.

Так светят пустыни
и — больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...

Угадаем здесь тему блудного сына и, памятуя, что поэзия лиственных, взыскующих небесного света, пока покинула литературные пределы, останемся в надежде, что судьбы поэзии и страны окажутся разными.

Ольга Седакова

МУЗЫКА ГЛУХОГО ВРЕМЕНИ (русская лирика 70-х годов)

Предмет этой статьи — поэзия, сложившаяся в глухие 70-е годы. У нас сейчас наступает разлука с некоторым «временем», и это заметнее не в действительных переменах, а в том, что какие-то вещи, мыслившиеся в модусе будущего, уже не могут так мыслиться. Может быть, лицо каждого времени, внутреннее лицо, не «шум времени», а его музыку (как А. Блок называл понятийно-невыразимое смысловое напряжение истории) составляет не столько его наличная данность, сколько заданность: горизонт, будущее, область его надежды, цели, интенции, черта схождения его неба с его землей. С этой чертой «своего времени» и связан поэт. Историю поэзии можно написать как историю будущего: будущее Данте, будущее Рильке, будущее Велимира Хлебникова. Я имею в виду не ряд эстетических утопий, а меняющийся облик взыскуемой, безоговорочной Жизни, Смысла, Свободы. Можно заметить: чем меньше в эпохи настоящего (т. е. хоть какого-то осуществления этих предельных вещей), тем больше будущего. Это, конечно, упрощение, но в глухие 70-е годы будущее (в таком нехронологическом смысле) занимало почти все поле зрения, как небо в степи.

Я не буду говорить ни о внешнем, ни о внутреннем времени, но исключительно о поэзии: о поэзии, жившей за пределами официальной словесности.* Сам по себе этот внешний признак, непубликуемость, конечно, не определяет всего. Но достаточно многое он определяет — например, образ жизни, а для лирика это уже позиция. Так, для Л. Губанова, которого в юности прозвали «московский Рембо», эта позиция независимости и осталась главной лирической и жизненной темой.

* Одно из немногих исключений — Иван Жданов. Но его стихи не получили хоть какой-нибудь удовлетворительной критики, и неслучайно: они остались изолированными и необъяснимыми в контексте официальной поэтической продукции.

Пока все остается неизданным и не соотнесенным между собой, любое суждение о центральных именах глухих лет остается более или менее частным мнением. Хотя в неофициальной культурной среде определился круг любимых и признанных авторов и в своем выборе я на него ориентируюсь, это не гарантия объективности. Да я и не хочу представить этот выбор объективным. Он тенденциозен, его тенденция — представить то, что, на мой взгляд, обладает существенной новизной в традиции русской лирики. Эту туманную предпосылку я надеюсь уточнить в последующих заметках.

Но сначала — контуры того, что в дальнейшем называется **новой лирикой**. Эпиграфом к этой поэтической эпохе можно было бы поставить «Рождественский романс» Бродского. Это были первые стихи живого автора, которые все читающие поэзию — «чистую»? «высокую»? «поэзию большой традиции»? как назвать то, что противостоит версификации другого назначения? — все читающие такую поэзию узнали в обход Гуттенберга. Явление вдохновения волнует современников глубже многого другого: ведь это знак того, что наш мир открыт и пронцаем для какой-то иной силы, это праздничная весть о какой-то иной смысловой глубине происходящего — при любой меланхоличности «непосредственного содержания» вдохновенных стихов. При этом «Рождественский романс» (в отличие от стихотворных деклараций и фельетонов Евтушенко и Вознесенского) — не полемические стихи: им не о чем спорить с официальностью, они просто потусторонни по отношению к ней; измеренная такой мерой, потусторонней всему реальному оказалась она. Бродский возродил самодержавного Автора, который «сам свой высший суд» — своей теме, ритму, синтаксису, строфике, своему пафосу и иронии, своему выбору образцов (в частности, в европейской традиции, к которой после поэтов, начавших в дореволюционную эпоху, никто не обращался). Но прямого воздействия Бродского на младших поэтов не произошло: они, скорее, — за исключением малоинтересных эпигонов — отталкивались от его манеры и особенно от его «лирической личности». Другой ленинградский поэт, рано ушедшей из жизни и донныне почти безвестный Леонид Аронзон, оказался близок новому складу лирики. Несколько его стихотворений обозначили важнейший перелом: в них прорвалась глухая завеса того, что принято называть «действительностью»*, и, как в дальнем окне, засветилась какая-то другая реальность — и стала главной темой. Эта тема явилась со

* Эту идею «действительности» хорошо иллюстрирует стихотворная полемика Д. Самойлова с Б. Пастернаком. На строку Пастернака: «Мы были музыкой во льду» Самойлов возражал: «А мы во льду окопов мерзли». Перед этой правдой пастернаковская «музыка во льду» никогда не кичилась и всей душой шла навстречу «прозе» и «бедняку»; спор, видимо, шел о чем-то другом — о насущности высокого, о реальности идеализма...

своей зазеркальной ценной композицией, близкой музыкальной, настойчиво повторяющимися символами особого рода (отчасти это напоминает кинематографическую поэтику А. Тарковского). Засветилась — не пустое слово, я хочу обратить внимание на отличие световой насыщенности стихов Аронсона от раннего Бродского: сияющий дневной пейзаж и свечение в глубокой тьме, «в черноте внутри иглы», и этот мотив светоносности и зрительного начала (астрономические, минеральные образы) проведут многие поэты — не зная ни опытов Аронсона, ни стихов друг друга. Можно подумать, что нечто произошло на самом деле, вещество разрешилось, чтобы обнаружить световую энергию — и разные поэты принесли об этом свои свидетельства. Такого рода космические образы особенно удивительны там, где их меньше ждешь, — в гротеске С. Стратановского, в лиризме А. Величанского, в натуральной детализации В. Лапина.

Дальний свет, присутствие невидимого, связь отдаленнейших вещей в мире — это, среди других, темы верхнего регистра новой лирики. От «политических» тем предшественников она отвернулась (исключая, впрочем, их решение в низком комическом регистре). Но то, что привычно называют созерцательным искусством, есть ответ на внешнюю вражду — и, может быть, самый решительный ответ. Он заключается не в темах и предметах речи, а в самой напряженности художественной ткани. Так, крайняя очищенность музыкальной мысли Веберна есть крайней силы возражение — не только «своему времени», но тому, что стоит за ним, что стоит за всеми такими временами — в большей степени именно этому, что за, что движет своими исполнителями, для которых Веберн и все в его роде до конца остается нелепой выдумкой, заумью и т. п. «Созерцательный» художник яснее других знает, с кем и о чем идет спор, и он скорее различит победу и поражение там, где другие путаются и сооружают триумфы пирровым победам...

Выбирает ли вещь себе аудиторию и сама строит своего адресата — или наоборот, из обращенности к кому-то, к внутреннему «ты», вырастает вся ее содержательность и пластика — так или иначе, поэзия 70-х годов оказалась в той литературной ситуации, где стихи идут к равному, к известному в лицо (конечно, круг реальных читателей был шире), к «себе и к Богу», как назвала это Е. Шварц (или, увы, ни к кому, в пространство без примет, как часто случалось с поэтами глухого времени). Эта ситуация, родная и плодотворная для поэзии (стоит вспомнить хотя бы поэтический круг молодого Данте), а в России давшего и «золотой век» пушкинской плеяды, и «серебряный век» — условно — блоковский, переживалась, однако, как вынужденная и ушербная: даже сами авторы где-то там, вдали, все ждали «встречи с

читателем», то есть законного типографского издания*. Но вместе с новыми лириками к читателю должны были выйти новые критики, теоретики — истолкователи тех ценностей, которые просто отсутствовали в подцензурной литературе, и в большей части нонконформистского движения, которому было не до того, чтобы пересматривать эстетические привычки.

Здесь мы возвращаемся к заявленной в самом начале теме новизны. Парадоксальным образом ключ к этой новизне — традиционность**. Даже движение контркультуры в новой лирике (концептуализм) неизмеримо реальнее связано с традицией, чем внешне классицизирующие поэты соцреализма: отрицание есть связь и это, несомненно, культурная вменяемость — в отличие от слепой эклектики, которая ничего не отрицает, ничего не развивает, и, главное, ни с чем себя не сравнивает. Ведь только традиция ставит проблемы «нулевого письма», только знание о медиуме языка заставляет искать язык, прозрачный для смысла. Здесь глухое время произвело самую решительную переоценку ценностей, своего рода «культурную контрреволюцию» — во всяком случае, попытку отменить последствия той культурной революции, которая последовательно проводилась у нас с 30-х годов. Достаточно назвать некоторые черты лирики 70-х годов, которые казались непонятными или неприемлемыми для созданной культурной модели, чтобы ощутить, в каких точках глухое время отыскивало разорванную связь с общечеловеческой традицией.

Самая поверхностная черта: поэзия стала делом словесных людей, *litterati*, а не самородков вроде булгаковского Иванушки Бездомного, детей бесконечного «рабочего призыва в литературу», которые могут иметь любые проблемы и таланты, кроме собственно художественных, любые познания, кроме гуманитарных. Ведь все темы и ассоциации, уводящие за пределы «действительности» (о том, что это такое, речь шла выше) нормативная теория порицает как «книжность» и «вторичность», всякую формальную сознатель-

* Впрочем, внутридружеский культурный быт пушкинского или блоковского круга не был так угрожаем («Где так близко еще и тюрьма, и сума?» Е. Шварц) и невыносим («Нас изгоняют из числа живых» Е. Игнатова) и к самоубийству — прямому (Л. Аронзон, С. Морозов) или косвенному («И подпольные судьбы темны, как подземные реки», как о многих сказал В. Кривулин), так настойчиво не толкал. «Поколением, растратившим своих поэтов» Р. Якобсон назвал поколение Цветаевой, Маяковского, Есенина. Как раз на них выпал перелом подобного рода, но с обратным нашим вектором: культура в своей среде перекраивалась в культуру просветительскую и пропагандистскую, Призвание Поэта сменяла «вакансия поэта» (формула Б. Пастернака).

** Я предвижу недоразумения в связи с тезисом о традиции и культуре и во избежание их подчеркну, что не имею в виду ничего похожего на академичность, реставраторство, поклонение великим теням.

ность — как «сальерианство»*. «Культура» противопоставлена «жизни», «непосредственности» и даже «таланту» — и еще бы! Ведь о культуре думают как о музее, эрудиции, наборе готовых фактов, идей и приемов.

Прежде всего, переменялось само представление жизни. В жизнь вновь вошло общение с дальним — как писал мальчик Пушкин:

Друзья мне мертвецы,
Парнасские жрецы.

и как начинал Кривулин:

Я Тютчева спрошу . . .

с отвлеченным, о котором в «жизни», как полагает социалистическая эстетика, думать некогда. В жизнь вошло общение с внечеловеческим. Вещи, камни, птицы, деревья, звезды вновь явились как истинные герои внутренних событий (а не как реквизит для бытовых переживаний или повод перейти к обобщению-морали типа песенной, что привычно для советской лирики).

Оспаривая расхожую (неодобрительную) характеристику новых поэтов как «культурных», можно было бы сказать, что они еще в большей степени «природные», если бы на самом деле живое сообщение с мирозданием (природой ли, сверхприродой, тем, что Блок называл «родимым хаосом», а Пастернак — Эдемом или «первым днем творения») не составляло самой интимной глубины культуры. Это сообщение со Смыслом, с источником всех образов и идей, которые человечество всегда получает извне, а внутри себя только комментирует и пускает в обращение. Так читаются «природные темы» новой лирики.

Изменилось представление искусства и языка — в ту же сторону, что жизнь: в сторону освобождения от утилитаризма и орудийности, в сторону самоценности. Следствие этого — возвращение форме ее активного творящего характера, и, тем самым, пресловутая «сложность» и «непонятность» новой лирики**.

Мне горько называть новыми абсолютно нормальные свойства человеческого творчества, горько вести отсчет от патологической теории и практики

* Имеется в виду контраст Моцарта и Сальери в трагедии Пушкина. Гений Моцарт, «гуляка праздный» привлекается официальной критикой на свою сторону; с убийцей Сальери, который «поверил алгеброй гармонию» ассоциируются не только сложные поэты, но и целые научные школы (например, структурализм).

** Любопытно, что, при всей вражде к «сальерианству», одна из высших ценностей официальной культуры — «рукотворность» и самодетельность: «Мне грозный ангел лиры не вручал, / Рукоположен не был я в пророки», — гордо декларирует советский лирик. Поэтому всякое сочинение, в котором закон целого преобладает над авторской волей и вещь как бы сама творит себя, воспринимается как культурное и даже идейное инакомыслие.

государственного искусства, но без этого трудно оценить освобождающее усилие глухих лет. Можно напомнить еще, что во внутреннем движении этого времени происходили важнейшие события: одно из них называют «русским религиозным возрождением», это попытка обращения к традиционному православию (и увлечение разными экзотическими учениями); второе — огромная просветительская и исследовательская работа гуманитарных ученых, культурологов и структуралистов, что называют «возрождением или реабилитацией культуры». Вне этого контекста немислима новая лирика, хотя было бы несправедливо говорить о ее прямом сотрудничестве или ученичестве у этих двух «возрождений».

Итак, нормальные черты творчества, восстановленные или сбереженные под завалами теории и практики официального искусства, означают попытку возрождения «человека культурного», то есть свободного и ответственного перед лицом Смысла — противовес той антропологической модели, которая внедрялась в жизнь десятилетиями. Успешность этой попытки рассудит будущее. С точки зрения собственно поэтической культуры значимее других оказались традиции В. Хлебникова, М. Кузмина, Б. Пастернака, обзриутов в нынешнем веке, философической лирики Ф. Тютчева и Е. Баратынского — в XIX веке, допушкинской поэзии барокко в XIII в. Европейских мастеров назвать труднее.

Вспоминая давний парадокс Т. С. Элиота о том, что традиционным может быть признан лишь поэт **новый** перед судом предшествующей традиции, я хочу подчеркнуть именно традиционный, а не реставраторский характер новой лирики. «Возвращаясь к культуре» всерьез, мы попадаем не в вынудный из времени заповедник, Лимб, где Гомер беседует с Вергилием, Данте с Элиотом, а в конкретное историческое состояние культуры — то, которое давно обозначено как «кризис искусства», «крушение гуманизма», «кризис языка» и т. д. Именно в приятии такой ситуации как исходной (сознательно или бессознательно это происходило), мне кажется, и заключена самая существенная новизна этой лирики в русской традиции. Свободное развитие русской поэзии оборвалось, едва коснувшись этого предмета. Кульминация катастрофического сознания в предшествующей лирике — поздние стихи Хлебникова и особенно «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама, а, вероятно, единственный просвет в закатастрофический мир — библейский цикл Пастернака. «Музыка от смерти не спасает», «простой жизни» и «чистой культуры» после Треблинки, ГУЛага и других предприятий, изменивших представление о человеке, не осталось; долго сохранять видимую устойчивость этот изнутри подорванный мир вещей и ценностей не может — или он найдет внеположную себе опору, или полетит, куда в этом случае

естественно. Два этих пути, собственно, и изображает новая лирика* Я думаю, что она обратилась к тому миру, в который русская поэзия заглядывала ненароком, краем глаза. Я могу назвать этот поворот лишь приблизительно. Если посмотреть, какое внеличное измерение приобретает, например, одна из традиционных тем русской лирики (тема Баратынского, Ин. Анненского) — поражение, невоплощенность — у В. Кривулина, в какую мистерию развивается футуристическая драма у Е. Шварц (где действуют уже не Гений и Обыватель, а Ангел и Бес), какие преобразования переживает каждая из продолженных новой лирикой тем, можно представить, о чем идет речь. Назовем это преобразованием во внутренние (Innigkeit, по Рильке). Говоря о внутреннем, можно иметь в виду что угодно — например, рефлексию сознания, погоню за ушедшей реальностью, еще что-то... Я имею в виду сосредоточенность на том, что, в общем-то, непсихологично, что происходит при встрече с какой-то последней и единственной реальностью, когда

Мы входим в этот мир, не прогибая воду,

как сказал И. Жданов. Хрестоматийный образец такой встречи — небо Аустерлица перед раненым Болконским в конце первого тома «Войны и мира». (Скептики не без резона заметят, что на поле Аустерлица нельзя лежать годами — и что тем самым поэты «крайней темы» девальвируют ее.) Так или иначе, обратившись к опыту таких встреч, новая лирика пережила мир в присутствии Смысла, Высшего Начала — или в Его отсутствии. И в том, и в другом полярном переживании простая вещественная реальность, автономность внешнего мира и автономность личности рухнули.

Переживание Отсутствия дало абсолютно социализированный мир концептуализма (вспомним Д. Пригова), который только при невнимательном взгляде можно принять за продолжение сатиры и пародии в духе Зощенко. На самом деле это уже внеоценочный мир, знаков без значений, стилей без *raison d'être*. Это упаковки пустоты, к которым художник относится почти нежно: ведь ничего другого нет, сравнивать не с чем, любой «идеал», любая «этика» или «эстетика» — тот же знак, отсылающий к Пустоте. Это полное эстетическое оправдание действительности как пустой действительности: даже «сталинские» мотивы излагаются каким-то сочувствующим тоном. Обращаю внимание: знаковость, а не бескачественная материя составляю

* Новейшая русская литература давно движется этими двумя путями (ср. пару Андрей Белый и Саша Черный в мемуарной прозе М. Цветаевой). С пронизательностью, в которой можно заподозрить нечто мистическое, их объединило знаменитое постановление об Ахматовой и Зощенко. Продолжая нашу акустическую метафору, от привычного звукового диапазона реализма два эти пути уклоняются: одно в ультра-, другое — в инфразвук.

этот мир. Эффект абсурда здесь как раз в уничтожении всего незнакового. Материя исчезла. Этим пансоциальным, панконвенциональным миром управляют Мифы Пропаганды (дуальная космогония с противоборством Рейгана и Милицанера) и Мифы Обыденности (уникальная «диалектика» бытового сознания и его замечательные наблюдения вроде того, что после молодости бывает старость). Читатель, привычный к традиционному искусству, отказывается понимать создания концептуалистов как «чересчур глупые». Таков их герой, искренний носитель мифологии, таков их стиль, стержень которого — тавтология. Это хитроумно сконструированная модель скудоумия*.

Полярное же направление новой поэзии читатель отказывается понимать как «чересчур мудреное». Переживание Присутствия тоже превращает мир в сквозную систему знаков, в Книгу, наподобие Великой Книги Средневековья и Барокко. Но здесь знаки (а круг их, в отличие от жесткой системы русского символизма, неограничен) предельно насыщены значением. Вещи, исторические сюжеты, человек — все стремительно развоплощается в свой смысл. Благодаря этому-то они так свободно перекликаются и увязываются. Дистанция, которую создает внешняя конкретность, исчезла. И натуралистически настроенное воображение отказывается следовать за автором: оно не принимает ни избытия этих связей, ни скорости ассоциаций, ни их далекости — «не похоже», «так не бывает». Конечно, для модернистского искусства никакая скорость ассоциаций не в новинку, но здесь речь идет об особой функции образа. «Смещения» относятся не к языку, выразительности, описывающему всё тот же натуральный мир; за ними предполагается

* Для меня остается вопросом положение концептуализма или всего нигилистического авангарда в русской традиции: точнее, его положение в роли контр-культуры. В свое время Ин. Анненский назвал внеморальную доктрину русского модернизма «неприуроченной»: «Если Бодлер предпочитал кажущуюся порочность кажущейся добродетели, так ведь перед ним стоял Тартюф, который 300 лет культивировался и приспособлялся к среде... А разве Иудушку Головлева стоит пугать такой тонкостью, как моральное безразличие?». Антитворческое начало в русской традиции ничуть не было похоже на этическое лицемерие или абсолютную систему знаков: запугивало и подчиняло себе оно отнюдь не «моралью» и «законом». Наоборот, элементарная «мораль» типа: «не место красит человека, а человек место» и в до-, и в послереволюционной России звучало как бы выражением неблагонадежности, а переложения Псалмов приобретали смысл антигосударственной пропаганды. Ужасом русской культуры была, скорее, идея необходимости, поставленная выше любой морали и смысла. Необходимости, тайной силы, которая всем, принимающим ее, сообщает чувство какой-то особой посвященности, от которого никто из нас вполне не свободен. И потому контркультурой в русской традиции вообще-то был бы морализм, простое и отчетливое проведение абсолютных духовных разграничений. А усилия аннигиляции были бы направлены на эту самую роковую необходимость и санкционированное ей произвольное перетолкование всего на свете. Но это слишком большая тема для таких заметок.

И, в конце концов, поэт живет не только в родной традиции: Тартюф и Бодлер — такие же участники нашей «личной жизни», как Иван Грозный и протопоп Аввакум.

затекстовая реальность, действительные связи мира — невидимые, проникновение в которые и есть вдохновение. Это, как ни странно, искусство познавательного пафоса (ср. определение Е. Шварц: «поэзия — это познание нематерьяльного средствами полуматериальными»). И как концептуализм не следует путать с сатирической фантастикой, так и метафоры (или другие формы соединения слов и вещей, троп здесь не важен) новой лирики не следует отождествлять с экспрессионистской поэтикой.

За множеством связей просвечивает какой-то центр, сверхслово, сердцевина всех ассоциаций: Очевидец (В. Кривулин), Жертва (Е. Шварц), Вина (И. Жданов). Но и Вина, и Жертва, и Чудо являются и у других авторов, ни в чем другом не близких и даже контрастных. Вновь приходится думать о каком-то сверхиндивидуальном опыте.

Два крайних направления новой поэзии соотносятся с двумя полюсами нашей современной пластики. Графика Ильи Кабакова — пустота, сопровождаемая комментарием, — доводит принцип концептуализма до той чистоты, какая в словесном искусстве недостижима — в силу самой природы слова, которое абсолютно опустошить от значения невозможно. Лирике преображенного или внутреннего мира (Weltinnenraum) предстоит поразительный опыт Михаила Шварцмана. Его образы, которые невозможно назвать «живописью», сообщают полноту молчащего присутствия Знака — зрительные имена невидимых вещей, окна в реальность, которые никто не видел и странным образом узнает... И в тот момент, когда он ее узнает, что-то в нем меняется.

Оба пути, избранные в 70-е годы, развоплощают миством», и творческое поведение становится не менее значимо, чем художественная вещь. В сравнении с ними другие пути кажутся непоследовательными или компромиссными, потому что третьего отношения Мира и Смысла нет.

Я воздержусь от всех конкретных характеристик, и не буду располагать авторов антологии в двуполярной схеме*. Поэты 70-х годов не составляли программных групп (кроме сравнительно позднего концептуализма) и дорожили своей обособленностью. То общее, что я, вероятно, преувеличенно обозначаю в этих заметках, касается не манер, дарований, духовных ориентаций — а такой связности художественно-жизненного творчества, для которой в нашей традиции есть одна отдаленная параллель, одно прошедшее будущее: эпоха символизма.

* Идею разбегания современной русской лирики от реализма — *de realia ad geahoga* и *ad absurdum* развивает критик М. Эпштейн.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

Владислав Инов

О ВЫСОЦКОМ, БРОДСКОМ, БЛОКЕ, БЕЛОМ И «ЦЫГАНСКОМ РОМАНСЕ»

Многочисленные статьи, рецензии и прежде всего телесериал Э. Рязанова о Высоцком, говоря о разном (или об одном и том же), на удивление даже не касаются того основного, чем интересен феномен Высоцкого. Стремятся выяснить, в чем он наиболее проявился: в роли поэта, барда, актера, композитора или даже режиссера; спорят, существуют ли его тексты без аккомпанемента или нет, исследуют его рифмы, систему образности, выясняют генезис его поэтики, прослеживая его до футуристов; показывают школу, в которой он учился, дом, где жил, людей, с которыми встречался, дружил, работал, и те что-то говорят, кто умнее, кто длиннее, кто искренне, кто уклончиво, ни никто не задается самым важным, самым главным вопросом, из которого вытекает все остальное, а именно: как это произошло, что Высоцкий не просто приобрел всенародную известность, славу и «привлек к себе любовь пространства», а стал мифом, легендой, причем стал мифом и легендой еще при жизни. А такое во всей истории русской культуры, вообще в истории русской (а тем более советской) жизни встречалось считанное число раз, и, видимо, именно поэтому механизм такого явления, как возникновение мифа, в основе которого жизнь нашего современника, совершенно не изучен.

И все-таки в том обилии различных явлений, имя которым Высоцкий, наиболее важным и интересным является Высоцкий как ядро современного мифа, Высоцкий как легенда, рожденная на наших глазах. Ибо что ни говори, есть и были актеры талантливее и значительнее Высоцкого, есть мелодии богаче и разнообразнее его достаточно однообразных и однотипных мелодий, есть и были поэты — скажем так — не хуже его, но никто из них не добился и десятой доли такой популярности, того, что называется народной любовью, не стал мифом, причем — и это очень важно, — еще при жизни.

Почему так произошло? В этом стоит разобраться. Если не очень углублять и усложнять поставленную здесь задачу, то можно указать на два основных источника, два полюса, образовавшие силовое поле мифа, а именно: его образ, образ Высоцкого, образ носителя мифа, и его творчество, то есть как раз то, что и привлекло к нему внимание и внимание сразу особенное.

Здесь все равно, с чего начинать, ибо оба явления — человек, тип и его творчество — взаимосвязаны, одно есть проявление другого, и поэтому начнем с того, о чем больше говорилось, с его, Высоцкого, песен, с поэтики.

Тут необходимо небольшое отступление. Даже если не определять, что такое «массовая культура» и что «высокая поэзия», очевидно, что эти понятия существуют и существовали всегда, хотя граница между ними нечетка, как бы размыта, зависит от времени: то превращаясь в строгую линию, то — и так по большей части — в достаточно широкую, с зазубренными краями нейтральную полосу. Если присмотреться к тому, что завоевало себе огромную славу, успех в нашем XX веке, то нетрудно заметить, что это чаще всего произведения, находящиеся на границе между «массовой культурой» и «высокой поэзией», одновременно принадлежащие и той и другой области, как это было, скажем, с произведениями таких писателей, как Маркес, Булгаков, Хемингуэй и т. д. С некоторой долей приближения, коротко можно сказать, что это все романы массовой культуры, написанные талантливыми писателями. А если обратиться к русскому поэтическому ряду, то это произведения, которые можно назвать «цыганскими романами» в прозе.

Ведь что такое «массовая культура» и «высокая поэзия» в самом первом приближении, вернее, отличии друг от друга? Если просто сказать, то «массовая культура» концептуально тяготеет к штампу, стереотипу, расхожей истине (которая — от того, что стала расхожей, вовсе необязательно неверна, даже наоборот, тот же Борхес, например, заметил, что общепринятые метафоры лучше всех прочих, ибо они единственно верные), а «высокая поэзия», по крайней мере, в новое время — как раз напротив — всеми силами уходит от этого штампа и стереотипа, пытается во всем — и в большом и в малом — стремиться к уникальности, неповторимости, индивидуальности. И в слове, и в структуре, и в сюжете, и, конечно, в идеях.

Если вернуться к Высоцкому, то нетрудно заметить, что все его творчество лежит на границе между «массовой культурой» и «высокой поэзией», ибо построено на стереотипах, общеизвестных истинах, общественных и национальных штампах, облеченных, как косточка спелого плода, мякотью, кожей, пылью истинного таланта.

Возьмем для сравнения кого-нибудь из того же семантического ряда, все равно кого, Галича или Окуджаву. Скажем, Окуджаву. Ведь вот, говорят, Высоцкий учился у Окуджавы. Учиться-то он учился, но ведь даже сравнивать их по-настоящему нельзя, настолько они принадлежат разным пространствам: Окуджава — хороший, замечательный, выдающийся (какой угодно) поэт, песенник, бард, а Высоцкий — миф, предмет всенародной любви, внимания. Хотя и нельзя, слишком грубо это, говорить в искусстве: «лучше — хуже», но в нашем случае можно, ибо мы говорим не об искусстве, а о массовой психологии, о механизме формирования мифа. Так вот, учитывая все это, все равно никак нельзя утверждать, что «Окуджава хуже Высоцкого», никак не хуже, потому что, во-первых, во многом тоньше, интеллигентнее, умнее, а во-вторых, он совсем принципиально иной и у них принципиально разные слушатели, читатели, почитатели. Но так или иначе Окуджава — это вдохновенный, задушевный собеседник, он сидит напротив и негромко поет, и твоя душа слушает, понимая, возможно, сладостный, тонкий, где-то даже со слезинкой (особенно поначалу), — но о всенародном обожании здесь не может быть и речи. В то время как Владимир, Володя, Вовка Высоцкий — это свой парень, свой в доску, «наш, наш» — и его любят.

Почему — почему любят именно его — об этом мы еще скажем (ибо любят ведь не только его песни, а и его, его самого), но сперва о поэтике, которая позволяет любить, которая возвышает.

Ведь мы уже сказали, что песни Высоцкого — это всем известные истины, стереотипы, штампы, несколько развернутые вокруг оси наиболее употребительного значения и покрытые золотой пылью искренного жизненного опыта и настоящего дарования.

Ведь что происходит при восприятии такого искусства: сначала душа угадывает, распознает нехитрый смысл текста, ибо в душе уже имеются выемки для принятия этих стереотипов и штампов, так как она во многом и состоит из этих самых штампов и стереотипов, воспринимая их с легкостью и удовольствием, тем более что эти штампы и истины вдобавок еще и верны, как верны все общеупотребительные истины, но при этом душа не унижена этим обстоятельством, не оскорбляется тем, что вдохновляется и любит «массовое искусство», искусство для всех, а, напротив, ощущает себя возвышенной, причащенной, удостоенной, ибо реагирует прежде всего не на заключенные внутри стереотипы, а на приметы «высокой поэзии», заключенные в авторской интонации, образности, в авторском задушевном повороте избитой истины. Воспринимающая душа отмечает именно то, что ей выгодно, а именно принадлежность к «высокой поэзии», и благодарна этой «высокой поэзии» за то, что та так легко нашла доступ к ней, и от этого

испытывает счастье, восторг, влюбленность, ибо она оказалась сопричастной высокому, понимает его, оттого и испытывает благодарность, любовь к тому, кто есть источник счастья, любви, испытывает чувство уверенности, довольства собой и любит того, кто не унизил своим дарованием, а, напротив, приподнял, возвысил, причислил к «высокому», — в то время как на самом деле доступ к ней нашел стереотип, заключенный внутри и лишь закамуфлированный под высокую поэзию.

Здесь можно было бы разобрать любую из наиболее популярных песен Высоцкого и доказать, что это так, любую, скажем, «Колею», где говорится о том, что герой расширил узкую колею общей и специально однообразной жизни тем, что проявил свою индивидуальность, вспомнив о необходимости быть самим собой, и тем «покорезил края» колеи, сам при этом погибая, формулируя, однако, при этом выстраданный принцип жизни:

Эй вы, задние, делай, как я,
Это значит, не следуй за мной.

то есть опять же, поступайте в соответствии со своей индивидуальностью, а не в соответствии с искусственными правилами, создавшими узкую колею, но и не с модой, не поугайничайте, у меня получилось, потому что я стал самим собой, хотите счастья — будьте и вы самими собой.

Или возьмем другую популярную песню «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт», всю целиком состоящую из знакомых и общеупотребительных истин, причем здесь интересно посмотреть, что происходит с теми понятиями, которые по природе своей уникальны и неповторимы, но поставленные в ряд расхожих истин, корежатся, подгоняются под один с ними уровень. Речь идет о некоторых христианских идеях и образе самого Христа, который предстает здесь как поэт. Известная христианская идея преподносится таким образом: «... не убей, убьешь — везде найду, мол». «Найду, мол» — это, очевидно, загробное воздаяние, Страшный Суд в популярном изложении. С другой стороны, «везде найду, мол» — это еще и определение искусства, поэзии, ибо следует за строчкой:

Христос, он был поэт, он говорил
Да не убей, убьешь — везде найду, мол.

Таким образом, «везде найду, мол» — это и определение поэзии, и афористичное выражение идей христианства, являющееся, по-видимому, современным переложением пушкинского «Пророка» и, в частности, строки «глаголом жечь сердца людей», что подтверждается и последующим появлением Христа, где он, скорее, уже не поэт, а политический пророк-диссидент советского пошиба:

Но гвозди ему в руки, чтоб чего не натворил,
чтоб не писал и чтобы меньше думал.

Однако надо признать, что ирония, поневоле прозвучавшая в вышеприведенных строчках, демонстрирующая использование штампов в поэтике Высоцкого и искажающее воздействие всё усредняющей поэтики на то, что по своей природе не поддается стереотипизации, — так вот, ирония по этому поводу, мягко говоря, неуместна. Неуместна не только потому, что мы привели далеко не самые лучшие строки (в то время как сила поэта не в неудачных и даже не в средних, а именно в удачных, которых предостаточно), но и прежде всего потому, что может быть отнесена вообще к поэтике, опирающейся на стереотипы в том или ином виде, а это уже заведомо неверно, ибо ставит под сомнение само существование целой линии в поэтике, опирающейся на целую систему стереотипов в плане именно ухода, отталкивания от них, но тем не менее даже в самом процессе отталкивания, основанной на их существовании. Как, скажем, вольнолюбивое море наиболее ярким образом проявляет свое вольнолюбие на границе с берегом и берегом не простым, а искусственно укрепленным стереотипными пирсами и волнорезами.

А для того, чтобы доказать, насколько благотворным может быть работа со стереотипами, можно в pendant паре Высоцкий — Окуджава привести другую пару Блок — Белый, понимая, конечно, насколько они далеки друг от друга, просто находятся на разных уровнях разных пространств, но всё же. Ведь вот Блок — символист, и Белый — символист, поэтический словарь один и тот же, темы — совпадающие, даже сюжеты — и те подобные. Более того. Существует множество примеров того, как именно Белый подсказывает Блоку и сюжетный ход, и тему, и даже — что, кажется, должно быть более неповторимым — интонацию. Самый хрестоматийный пример с «Двенадцатью» Блока: ведь прежде «Двенадцати» Блока пишется «Христос воскрес» Белого, где революция возвещается идущим впереди Христом, и интонация высокой речи перебивается уличными частушками. Однако что для народного сознания Белый, и что — Блок? Один — поэт, выдающийся, талантливый, с проблесками гениальности, а другой — один из советских мифов, часть общеупотребительной скороговорки: Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский. И на это, конечно, есть множество причин, но эта тема не для заметки. Однако в русле поднятой нами темы: одна из причин мифологизации Блока та, что сквозь его поэтику звучит «цыганский романс», где-то там, в глубине, но существует как сюжетный напев, Тынянов прав, а в Белом этого нет и в помине. Белый центробежен, он уходит, отказывается от какого бы то ни было усреднения, артикулируя уникальность, принципиальную своеобраз-

ность, индивидуальность; Блок — центростремителен, обладая не меньшей орудийностью, стереофоничностью, не отвергает, а наоборот, вплетает в свое полифоническое звучание то, что мы назвали «цыганским романсом». И не только поэтому, но и поэтому: Белый — поэт, а Блок — миф. Без «цыганского романа», звучащего в глубине, миф не создается.

Но вернемся к самому последнему из возникших в советское время мифов, к мифу о Высоцком. Да, его поэтика возвышает слушателя, ибо легко находит доступ к его душе благодаря тому, что опирается на те же стереотипы, что и душа слушателя, и при этом отмечена налетом высокого искусства, отчего слушатель ощущает себя приобщенным к «высокому», и потому принимает, наслаждается и любит.

Но кого любит, кто такой Высоцкий? Четыре серии фильма пытались дать на это ответ, но, увы, не дали. Не только потому, что фильм (не только в 4, но и в 10 сериях) не может дать образ живого человека, но и потому, что в нем и не ставилась задача посмотреть на Высоцкого как человека и одновременно на Высоцкого как — источник мифа о нем. Не ставили вопрос, отчего испуганно и всеохватно любили Высоцкого, а не Окуджаву (такой вопрос, очевидно, показался бы неприличным создателям фильма, в то время как без ответа на него нельзя понять, почему миф — это Высоцкий, а не Окуджава). Более того, создатели фильма умудрились пройти мимо самой крупной, рельефной, очевидной черты как биографии, так и творчества Высоцкого, того, что в народном сознании он был что называется живущим «против шерсти», что представлялся каким-то особым видом диссидента, который вроде и против советской власти, и в то же самое время часть ее. И точнее всего сказал о нем его ближайший друг Всеволод Абдулов (к сожалению, за точность приводимых слов ручаться трудно, а сценария фильма нет под рукой, но общий смысл сохранен): «Вова — ведь и был таким вот идеальным советским человеком, тем самым героем, героем нашего времени, которого все искали, о котором говорили, орали, а он им именно был: настоящим героем — с недостатками и достоинствами, но именно героем и именно народным».

Даже если бы Абдулов сказал иначе, главное, то, что он сказал, все равно было очень близко от истины. Остается только понять, что такое народный герой послевоенной советской поры, что такое идеальный советский человек? И как это согласуется с тем, что Высоцкий — вроде бы — «против шерсти»? Или — иначе — что такое шерсть?

Есть такой народный образ: «рубаха-парень», «свой в доску», то есть нечто такое, что одновременно и похоже на всех, на любого человека из толпы, и в то же самое время отличается, и отличается именно тем, чем этот человек

из толпы хотел бы быть, да, как говорится, не удалось, не вышло, не сумел, не повезло. Именно таким в народном сознании и предстал Высоцкий: с одной стороны, он такой же, как и все, и поэтому понятен, не унижает, не пьедестал, не памятник, с другой, сделал то, что каждому хотелось бы — порвал на груди рубаху и заорал, прокричал то, что хотелось прокричать, но самое важное: остался после этого тем же «своим парнем», и, что не менее важно, «своим парнем», которому улыбнулась удача.

В каком смысле удача? А в самом простом. Жил «против шерсти», но и в огне не горел, и в воде не тонул, как его ни ругали, а из актеров все ж не выгнали, петь (пусть без рекламы, да ведь без рекламы — это самая лучшая реклама, когда сама реклама скомпрометирована) не запрещали; как говорится, убить — не убили, и в тюрьму не посадили.

Ведь только кажется, что для восприятия песен Высоцкого не имело значения, что он был актером, то есть — в народном представлении — занимал все же престижное, удачливое место. Актер в народном представлении — это какая-то уже номенклатура, это уже не совсем простой смертный. И вот Высоцкий, которого одновременно как бы все гонят, но победить не могут, запрещают, а он, как Феникс, — неумолчно звучит на тысячах пленок, его унижают ругательными статьями, а все равно из актеров, театра не выгоняют: жизнь его представлялась примером удачливой судьбы, в которой есть и честность, и прямота, и талант, и удача. Не любит народ неудачников. Не любит тех, кто срывается, ломается, пусть и не по своей воле. Есть в народной душе жажда завершенности, жажда гармонии (недаром в русских сказках хороший конец); и трудно сказать, как сложились бы отношения Высоцкого с народом, попади он ненароком в тюрьму (как об этом ходили легенды: будто и в тюрьме сидел, и в колонии, а там его вроде и Любимов заметил, и в студию Таганки взял; но в тюрьму вначале, во время или после войны, это по легенде, легендой разрешается, даже приветствуется, потому, очевидно, тюрьма и появилась: чтобы «из грязи в князи», из колонии в актеры, из тюремного коридора в народные поэты). Без сомнения, попади Высоцкий в конце 60-х, в 70-е в тюрьму, не сложился бы миф о нем, не стал бы он тем, кем является прежде всего — мифологическим народным героем.

Возьмем для сравнения другого поэта, также, кстати, с канонической биографией — Бродского. Но канонической совсем в другом ряду, в другом сознании, не в народном, как Высоцкий, а в интеллигентском, что, конечно, не одно и то же. Бродский реализует наиболее популярную для интеллигентского сознания позу «опального поэта». Всё было в его биографии: выходец из низов, ученик великого учителя, посвятившего его в поэты и передавшего лиру, и нарастающая слава, встревожившая власти, ссылка, опала, только

усилившая славу, вынужденная эмиграция и почти неизбежная Нобелевская премия, подтвердившая его обреченность на всемирное признание. Однако это всемирное признание даже отдаленно не напоминает народную любовь. Об этом даже как-то смешно говорить, это — понятно. Бродский восхищает, им можно зачитываться, в его биографии лакомый контур удачи, его судьба — канонична, но для интеллигентного читателя, а не для народного. Разговор даже не идет о сравнении поэзии Бродского и Высоцкого. Они несравнимы как и несравнимы их читатели. Но даже биографию Бродского невозможно приложить к образу Высоцкого. Бродский — крещеный еврей, для интеллигентского сознания — наиболее выигрышная комбинация удачи. Но будь хоть трижды крещен Высоцкий, окажись он евреем, Высоцким он бы не стал. Бродский эмигрировал, что вполне укладывается в рамки его биографии, но это было недопустимо для Высоцкого, и, как бы туго ему ни приходилось, он это прекрасно понимал. По народной легенде ему разрешалось беспробудно пить, умереть от пьянки, быть подшитым, любить несчетное число баб, влюбить в себя иноземную принцессу (Марину Влади), и для народного сознания это одновременно и недостатки, но, по сути дела, обязательные особенности, без которых нет образа «своего парня», «своего в доску». А эмигрировать? Невозможно. Да и зачем?

Ведь вот мы говорим: «он жил против шерсти». Но что такое эта «шерсть», советская власть, что ли? Да ни в коем случае. Можно и не знать, что в одной анкете на вопрос «Кто, по-вашему, самый великий человек на земле?» Высоцкий ответил: «Ленин и Гарибальди». Он не мог быть против советской власти, ибо тогда бы не был «своим парнем», «нашим», идеальным народным героем, который в основном обыкновенный советский человек, только рвущий на себе рубаху и кричащий о свободе, кричащий талантливо, но о свободе, и не какой-то там политической свободе, а о свободе, свободе вообще, о воле, русской волюшке, той самой, на которой основаны «покой и воля», как альтернатива поисков счастья, паллиатив этого счастья. Но сам человек — внутри (иначе не было бы мифа, не создан бы, не возник, не сошелся бы) простой, как все, советский человек. А советский человек может в очереди или в бане нести всё почем зря, начиная от Политбюро, коммунизма и Горбачева, но если при случае нужно будет без дураков жизнь положить за родную советскую власть, то, конечно, положит и всем остальным крикунам пасть порвет.

Это так, и поэтому в Высоцком есть все, что есть в простом советском человеке: и жажда свободы, и гордость за Отчизну. И при этом он против советской власти, если она наступает на горло свободе, и именно там, где наступает, но никогда не усомнится: а совместима ли вообще советская

власть со свободой? Ибо опять же эта свобода теперь — все та же воля, волюшка, та естественная свобода русского человека, который принципиально терпелив, может терпеть бесконечно, но когда-нибудь должен обязательно разорвать рубаху на груди, прокричать о свободе, распоясаться, ощутить себя свободным, произвести то, что называется «бурей в стакане воды», а потом опять вернуться к своему мудрому терпению, для которого свобода не смысл жизни, не непрерывный процесс, не необходимое условие существования, как воздух, а надрыв, всплеск, вскрик. Поэтому и свобода у Высоцкого — не осознанная необходимость, не интеллектуально обоснованная и яростная цель, как у Галича, не внутренняя свобода, свобода духа, как у Окуджавы, а рубаха, разорванная на груди, фальцет, крик. Более всего такая свобода похожа на коитус: томление, терпение, возбуждение, радостное возбуждение и опять возвращение к тому, что было — равнодушному терпению, томительному покою. То же самое происходит и со слушателем, сопереживающим песню: он так же выпускает пар, так же радостно освобождается, так же рвет на себе рубаху, так же ощущает дело сделанным, если просто поорал, «выбил окна, балкон уронил», а потом успокоился. Огромное число песен Высоцкого и построено по принципу осуществления этого национального катарсиса. Именно поэтому совершенно не случаен, а вполне органичен для Высоцкого первый период так называемых «тюремных» блатных песен, где герой идеально подходит для решения авторской задачи, ибо определяется всего лишь двумя состояниями: свободой и несвободой. Неважно — кто герой: вор, бандит, просто «блатной» — это маска, схема, наполненная, конечно, жизнью и правдоподобными деталями, но главное — другое: герой рвется к свободе, вспоминает о мгновениях, днях свободы, печалится, томится в неволе.

Именно поэтому наиболее неубедительно выглядит попытка придать свободе другой, неестественный, интеллигентский, духовный, политический, обоснованный характер, как это получилось, скажем, в песне о 58-й статье, где герой вроде бы должен быть другим, более одухотворенным, умным, а он на самом деле:

Пятьдесят восьмую дают статью,
«Ничего,— говорят,— вы так молоды!»
Если б знал я с кем еду, с кем водку пью,
Он бы хрен доехал до Вологды.

«Хрен доехал до Вологды» — это опять же блатнарь-анархист, никак не политический, это опять же самый простой человек из толпы, попавший по той же 58-й случайно, по ошибке, совершенно неосознанно во «враги народа», враги советской власти, ибо никогда, конечно, врагом ее не был (а, напротив,

был социально близок), как человек без затей, без претензий, без особой интеллигентской духовной позиции.

Если можно говорить, что поначалу Высоцкий мог интуитивно приходить к выражению того, что называется «народной правдой», то впоследствии он, конечно, уже сознательно разрабатывал эту установку, осознанно артикулировал именно те черты, которые соответствуют национальному представлению о «своем парне», «своем в доску», «рубашке-парне».

Ведь не случайны эти «с кем водку пью», «при цифре 37 с меня в момент слетает хмель», «выпил я еще стакан» и так далее. Ведь мы с вами водку с Высоцким не пили, пил он или не пил, нам так уж доподлинно неизвестно, но ведь это и не имеет значения, ибо, если разговор идет о создании мифа, то для него, для мифа, для легенды, слухи, устные рассказы, предположения, обоснованные текстуально, имеют такую же силу, как и реальные обстоятельства. И поэтому можно наверняка сказать, что Высоцкий совершенно сознательно участвовал в создании мифа о себе. Сознательно не то, чтобы играл, а именно был и создавал в своих песнях образ «своего парня», решая эту задачу как эстетически, определенным образом формируя лицо «рассказчика», лицо героя, так и биографически. (Почти как у Сельвинского в другом, но подобном случае:

«В углу кого-то били,—
Это создавали биографию поэту Есенину».)

В отношении Высоцкого неточно только слово «создавали», ибо в «создавали» сквозит какая-то искусственность, рассудочность, намеренность, в то время как на самом деле здесь есть совершенно естественное слияние образа поэта, с одной стороны, с представлением о нем, а с другой, со стереотипом «своего парня», обыкновенного советского человека, для которого низкое органично соединяется с высоким, недостатки с особенностями, слабость с порывом к свободе, брюзжание с великодержавным патриотизмом, узость с необъятной широтой, смекалка с нелюбовью и недоверием к умничанью и умникам, детская доверчивость с иронической усмешкой и бесшабашность с невнятным, неопределенным, но растворенным в крови знанием о своем месте в истории.

И еще об одном. О физиологии. Ведь есть разная любовь. Одних любят трепеща, унижаясь, смотря снизу вверх и заглядывая в глаза. Любить таких — тяжелый крест. А есть любовь какая-то простая, незамысловатая, не требующая поклонения. Есть люди, любить которых — удовольствие, нетрудная радость, они не восхищают и не подавляют, а наоборот, предполагают к себе сочувствие, понимание, даже некоторое снисхождение, как к ребенку: ласковому, непослушному, дорогому. Есть мужчины, которые

физиологически, физиономически так устроены, что всегда мальчишки, почти по поговорке: «маленькая собака до старости щенок». И при этом так уникально созданы, что их хочется и легко любить, они одарены этим даром: привлекать к себе любовь, быть любимыми. Причем любовь хорошую, простую, без извилин... Вот мелькает на экране Высоцкий: с челкой, в клешах, маленький, некрасивый, подвижный, заводной, вечный мальчишка, вызывающий какое-то стеснительное щемящее чувство, что его надо любить, обязательно, он для этого создан, без этого он не может, он редко встречающееся чудо природы, созданное, предназначенное для того, чтобы быть любимым и при этом наполнять удовлетворением, гордостью тех, кто его любит, потому что это такой человек и вызывает такую любовь. И он вызывал любовь, был вечным мальчишкой, которому все прощается за то, что он такой живой, настоящий, прямой и цельный, жил, гонялся на машинах, разбивался, буянил, любил баб и друзей, вкусно, по-русски жил, был простой, бесшабашный, был хороший... Только такой — вон он мелькает! — и мог стать живой, настоящей — без дураков — основой для того, что мы называем Мифом о Высоцком.

Миф о Высоцком потому и состоялся, потому Высоцкий и стал легендой еще при жизни, что в нем соединилось эстетическое и биографическое с хрестоматийной улицей, что именно ему дано было артикулировать народные стереотипы советской послевоенной поры так, чтобы восприятие их не унижало, а возвышало, не оскорбляло, а наполняло счастьем, восторгом, и восприятие, слушание его песен становилось поступком для слушателей, поступком обретения мгновенной свободы, освобождения, выпускания перегретого пара, общественным катарсисом, своеобразной психотерапией, народной медициной, механизмом очищения в виде прослушивания плохой, шипящей магнитной ленты. Плохой, шипящей — кстати, это очень важно. Ибо это тоже часть мифа. Плохой, шипящей — это непризнание, соответствующее каноническим представлениям о народном герое, который существует на границе между гибелью и возвышением, между «массовой культурой» и «высокой поэзией». Помните, как еще при жизни Высоцкого многими из его почитателей было расценено как измена появление пластинок, где Высоцкий не просто брэнчал на гитаре, а слышались скрипки, оркестр, кто-то ему подпевал. И это, конечно, не изуверский аскетизм, не извращенное гурманство, предпочитающее посредственный аккомпанемент на гитаре профессиональному звучанию эстрадного оркестра. Это точная реакция на несоответствие сформированному уже мифу, расхождение между мифом и тем, вокруг кого этот миф был создан.

Надо ли теперь говорить о том, что такое для Высоцкого «официальное признание»? Для его песен как таковых это вроде бы ничего особенного. Но для мифа о Высоцком — это сознательное, целенаправленное разрушение мифа. Как сказка кончается победой героя, так и миф о «народном непризнанном певце» кончается его признанием. Непризнанный поэт не может быть признан, ибо тогда он уже не «непризнанный».

Было бы смешно говорить: «Ах, оставьте Высоцкого, не трогайте его, он наш, вы разрушите самое главное в нем, ведь совсем по-разному звучат стихи и песни, если они часть мифа, и если это просто стихи и песни!». Жизнь создает мифы, жизнь их и разрушает. Жаль нам или не жаль мифа? По-человечески вроде бы жаль, ведь сжились с ним, он — наша часть, сами его создавали, и жаль, очевидно, не столько его, сколько себя — а не будет его, что ж — будет что-то другое, что-нибудь да останется, ведь миф — не слух, не облако, миф никогда не создается на пустом месте. Значит — так тому и быть.

Почта ВЕСТНИКА

От редакции. Эта рубрика кажется нам принципиально важной, потому что одной из главных задач ВНЛ, представляющего литературу, до недавнего времени неизвестную широкой аудитории, является выявление своего заинтересованного читателя, диалог с ним, создание столь плодотворной для литературы и читателя обратной связи. Ниже мы публикуем фрагменты читательских писем, полученных сразу после появления первого номера, и суждения тех деятелей литературы и культуры, которые ознакомились с ВЕСТНИКОМ еще до выхода его в свет.

«Вестник новой литературы» начал выходить в нелегкие для литературы времена — сейчас, мне кажется, поэзия и проза проходят испытание на самодостаточность, проверяется их способность не зависеть от общественного вкуса, а определять его хоть в какой-то степени. В последние годы читатели познакомились со множеством произведений «из запасников» давних и новых, пережили открытия и разочарования. Наивно было ожидать, что эти литературные впечатления немедленно скажутся в сознании и в отношениях между людьми, но, может быть, когда-нибудь потом, в других поколениях . . . Однако и эта надежда все ослабевает, происходящее вокруг нас вряд ли дает основание рассчитывать, что эта эпоха будет названа «эпохой лавины публикаций», как-то, видимо, иначе ее назовут. А литература? Так и останется недействующим инструментом «смягчения нравов»? Мне как читателю кажется, что именно этой проблемой прежде всего озабочены авторы и редакционная коллегия нового издания. Недаром в редакционном предисловии говорится о том значении, которое они придают вопросу о человеке. Именно он остро и напряженно звучит во всех разделах Вестника, потому что традиционно составленный журнал оказывается совсем не традиционным по своей сути, и дело здесь не только в эстетической экспериментальности. Складывается ощущение, что журнал ставит своей целью реализовать еще не выявленный, не ставший всеобщим достоянием, но значительный, долго накапливавшийся духовный опыт — в этом и состоит его программа. Хочется верить, она не будет утрачена . . .

С. Кленов,
преподаватель, г. Тверь.

Пока не ясно — толстый журнал перед нами или непериодический альманах. Но это и не важно. Есть издание. Раньше это именовалось самиздатом, теперь — изданием неформалов. Порядок расположения материалов тради-

ционен для толстых журналов (еще с допушкинских времен «в начале было...»), то есть — проза и поэзия. Затем публицистика, критика, а в конце — рецензии. Поскольку (и это мое глубокое убеждение) лицо журнала определяется именно его критикой, публицистикой и прочими «мелочами», то с них и начну.

Главное для понимания того, что хотят издатели, — статья В. Северина «Новая литература 70-х, 80-х годов»... Начав с того, что история современной русской литературы будет еще написана, автор отмечает, что официальные журналы в СССР до «второй культуры», как и до современной

эмигрантской литературы, не дошли еще (что, кстати, не совсем верно: кое-что уже напечатано, а кое-что объявлено). Но в связи с тем, что «сведение всей русской литературы воедино, с выяснением, кто есть кто, с расстановкой не то чтоб оценок, но выработкой критериев... задача непосильная», автор пытается, по его словам, «вычленив всего несколько направлений»... В. Северин разделяет литературу на три направления («не претендуя на полноту», — пишет он). 1. «Московский концептуализм» (видно, что автор питерский, предполагается, что в Питере концептуалистов нет). 2. «Бестенденциозная литература» (или «Постмодернистская») и 3. «Неканонически-тенденциозная». Совершенно верно, что после снятия запрета со «второй культуры», она начинает подвергаться переоценкам. Это неминуемо во все времена. Так, например, Бальмонт, которого многие воспринимали всерьез, потерял своих обожателей в 1972 году — как только был издан в Большой серии библиотеки поэтов.

Направления, выделенные критиком в литературе 70-х — 80-х годов, дифференцируются как бы по степени абсурдности.

«Московский концептуализм» противостоит не только официальной и эмигрантской, но и неофициальной литературе. Это направление, в коем «все традиционные связи разомкнуты» (скажем проще — абсурд стопроцентен). Такие авторы олицетворяют собой «конец литературы». «Мы сталкиваемся с текстами, которые написаны в ощущении, что литература кончилась». Это «постлитературное направление» (в литературе?) представлено Д. Приговым, Вс. Некрасовым, В. Сорокиным и Л. Рубинштейном. Поэзия Пригова сравнивается со строительством дома из обломков корабля, когда каждая вещь ложится не на свое место: «корабельный флаг — полотенце, иллюминатор — сидение для унитаза...» Чтобы не возвращаться, добавлю, что с В. Севериным я в таком определении творчества Д. Пригова полностью согласен). Опубликованная в том же выпуске поэма Д. Пригова «Махроть всея Руси» подтверждает точные дефиниции критика. Махроть — это все, это ничто, это невесть что... «Махроть, махроть, дремучая природа». Она за

дверями, в чарке или в стакане, еще невесть где, в самых неожиданных и непристойных местах. Момент цитато-пародийности несет на себе единственный признак с в я з и с литературой, которая все же была ведь, хотя теперь ее «уже нету...»

Итак, «московский концептуализм» — это постлитература. Примем это утверждение как аксиому. Второе направление, по В. Северину, — «постмодернизм» или «бестенденциозная литература». Она не признает полного конца литературы, но «находясь внутри здания», как бы расшатывает «его устои», она «отталкивается от столпов постмодернизма в лице Набокова, Борхеса, Беккета и др.». Хочется спросить — а почему это Беккет — «пост»; как-то принято его считать просто модернистом. А Набоков? Разве вмещается он в какую-либо школу? Оказывается, «для постмодернизма еще допустимо индивидуальное личное писательское слово», что для московских концептуалистов абсолютное «табу»: они, по определению критика, «словечка в простоте не скажут, все с ужимкой». А вот «бестенденциозники» определяются так: «алогическая клоунада, жуткая, эпатирующая ирония». «Чужое перемешивается со своим». Короче — все эти определения сводятся к одному простому слову: п а р о д и я . . .

И т р е т ь е н а п р а в л е н и е — неканонически-тенденциозная литература (т. е. тенденциозность тут синоним осмысленности). Направление наименее абсурдное из трех, к которому автор относит В. Кривулина, Е. Шварц, А. Миронова, С. Стратановского. Это направление «снизу (!) ограничено тенденциозной, целевой литературой, то есть литературой, имеющей определенное направленное движение, заданное традицией». Следует понимать, что эта-то «целевая» литература и есть вся остальная — от М. Булгакова и К. Паустовского, например, до В. Максимова и В. Войновича. От Б. Пастернака до И. Бродского . . . в общем все, что не имеет чести быть ни концептуалистским, ни постмодернистским. Просто литература. Но этого слова автор статьи и не заметил. Еще хочется заметить, что ощущение, будто все это пишется «для истории», эдакая немислимая серьезность, не покидает В. Северина.

Но, к счастью, проза в этом выпуске журнала во многом опровергает солидные построения критика. Прежде всего — блистательная сверхпародия, роман Ф. Эрскина «Рос и я» (Рос — имя «героини»). Роман этот — пародия на биографию из серии «Жизнь замечательных людей». Слово бы ученый автор этого труда (так примерно века из XXII–XXIII) продирается за века и все на свете путает.

И потому хочется повторить за классиком (из несуществующей литературы): «Поздравляем читателя с истинно веселою книгою».

Из поэзии, кроме поэмы Д. Пригова, есть в номере большая подборка стихов В. Кривулина «Стихи из Кировского района». Это совсем новый Кривулин: вместо богатых метафор — сухой автологический стиль, прозаизированное изложение мыслей:

Здесь пыльный сад похож на документы,
Скрепленные печатью, а в саду
Печально так. Я выйду, я пройду
вдоль перержавленной ограды.
В каком-то пятилеточном году
перемещенная зачем-то
от Зимнего дворца в рабочую слободу,
из Петербурга в сердце Ленинграда...

Иным читателям, возможно, эта деловая сухость точных определений покажется приятнее прежних, щедрых на краски и метафоры стихов поэта, но мне жаль того Кривулина, который написал уже ставшее памятником 70-м годам стихотворение «Пью вино архаизмов»...

Интересны воспоминания «необычного священника» (как говорит о нем редактор) о. Василия «Записки попа». Кажется, что это мистифицированная повесть, что нет такого отца Василия, а есть добротная проза.

В разделе литературной критики интересна статья А. Степанова «Куда мы, может быть, идем». Хотя тут опять явный перекос в сторону «сбрасывания с корабля современности» всего, что было «печатной литературой», и восхваление всего, что было непечатным, независимо от уровня. Но тут же противореча себе, А. Степанов выбирает «не путь конфронтации» со всей литературой, не отнесенной им к «новой», а независимость от нее; как и «независимость ассоциации «Новая литература» от Союза писателей»...

И в заключение — о статье А. Черкасова «Либералы и радикалы». Дав сначала точные определения, что именно значат оба термина, автор отмечает относительность понятий — либерал по отношению к чему-то одному оказывается радикалом по отношению к чему другому. Жаль, что автора путают пропагандистские штампы: он по-советски именует строй Муссолини и даже Гитлера правым тоталитаризмом. Разберемся: ведь полное название гитлеровской партии «Национал — социалистическая рабочая партия»! А «рабочие корпорации» Муссолини? Его «рабочий социализм»? И в СССР, и в обеих этих диктатурах все тот же социализм, базирующийся на «рабочем классе» и его партии. Как же у нас это все было левым, а там то же самое — и вдруг правое? Ну, и еще никак не кажутся серьезными утверждения разных «неизбежностей», фатальности исторического процесса. Этот чисто марксистский фатализм («законы истории», которые всегда на

стороне открывающих их коммунистов) не выдерживает современной историсофской критики (см. хотя бы Н. Кьяромонте). В остальном же статья А. Черкасова обстоятельна и интересна...

Василий Бетаки,
из статьи в парижской газете «Русская мысль»
от 10.11.1989.

«Вестник новой литературы» не может — и не должен — понравиться всем. «Всем нравится» — прерогатива проституток. Требование «понятности» и «доступности» искусства ведет не только к снижению его эстетического уровня, но и — нравственного потенциала. Десятилетиями насаждавшаяся концепция, по которой творец должен выражать некую усредненную «общенародную» точку зрения, «Новой литературе» чужда. Ангажированность писателя корректна лишь в обществе с надежными традициями и гарантиями политических свобод.

Авторы «Вестника» полагают, что задача художника — всегда искать *другое* решение, отличное от канонизированного... Они рассматривают предлежащий мир как до них не названный и не изображенный. Их порыв — всякому предмету и всякому явлению найти подходящее имя. Но еще больше они хотят указать на внутреннюю, невидимую связь между причинами и следствиями. Причины могут быть и стары, но следствия для каждой отдельной личности изумительно новы.

Андрей Арьев,
зав. отделом критики журнала «Звезда», г. Ленинград.

«Вестник» открывается «Обращением к деятелям культуры» от имени ассоциации «Новой литературы» и заметкой «От редакции».

... В центре внимания ставится вопрос о «языке описания», способном «адекватно определить новые явления», но и о «ракурсе взгляда», об осмыслении и обсуждении «наиболее важных и сложных аспектов общественной и культурной жизни». Такие установки можно только приветствовать. Одобрения заслуживает и то, что редакция намеревается «гласно» знакомить нас с литературой, которая, по сути дела, уже давно сформировалась, достигла значительной степени развития, включает в себя имена писателей, несомненно талантливых, довольно широко распространялась в рукописях, издавалась за рубежом, но была лишена возможности нормальной свободной публикации, и, следовательно, ее доступ к читателю был существенно затруднен. И если представители «Новой литературы» несколько преувеличивают ее роль и преуменьшают роль остальной, беда не велика.

... Центральным прозаическим произведением, и по объему, и по значению, является роман **Ф. Эрскина** «Рос и я» — своеобразная фантазмагория, смесь иронического, комического, пародийного, трагического, включающая многочисленные реминисценции, литературные штампы, клише, воспроизводящая устойчивые формы массового сознания и массовой культуры. История главного героя — поэта Инторенцо — фантастическая амальгама, включающая в себя различные эпохи, выдуманных и реально-исторических лиц, объединяющая все в цельную картину, ориентированы в конечном итоге на создание обобщенного облика русской действительности, на что довольно прозрачно указывается уже в названии «Рос и я» — Россия. Автор романа несомненно талантлив и произведение его очень интересно. При чтении «Рос и я» возникает в сознании традиция обэриутов (видимо, важная и для других авторов «Новой литературы»), а конец романа по своей тональности в чем-то перекликается с последними страницами «Доктора Живаго».

Теме родины в ее сложной и противоречивой неповторимости посвящено и произведение **Д. Пригова** «Махроть всяя Руси». Думаю, что эта тема вообще центральная в сборнике. Очень колоритен рассказ **Б. Кудрякова** «Ладья темных странствий», как бы взгляд на жизнь «со стороны», из сферы «вне жизни», иного мира. **В. Кривулин** поместил в сборнике превосходные, на наш взгляд, «Стихи из Кировского района» («Дочь Колымы», «Вовремя включенный телевизор», «Двое в комнате» и др.) В них ощущается «боль без утolenья», смятение, грусть, но и ощущение силы, любовь, вера. И не случайно цикл начинается стихами «Идея России». При всей современности стихотворений, рельефности деталей сегодняшнего Ленинграда, Кировского района, всем своеобразии авторского метода, цикл Кривулина связан с классическими традициями русской литературы, с «петербургскими мотивами» («О погоде» Некрасова, «Страшный мир» Блока и др.).

Одним из наиболее интересных материалов «Вестника...» являются «Воспоминания попа» отца **Василия**, как бы воссоздающие на современном этапе традицию Лескова, знакомящие с бытом нынешнего духовенства.

Много любопытных идей и выводов, хотя и не бесспорных, содержится в статье **А. Черкасова** «Либералы и радикалы». Чрезвычайно содержательна, обильно насыщена фактическим материалом, но и не эмпирична статья **И. Северина** «Новая литература 70-80-х», выполняющая роль своего рода путеводителя. Без подобной попытки, по-моему, успешной, обобщающего обзора «Новой литературы», выделения ее основных групп, направлений «Вестник...» оказался бы значительно беднее и непонятнее для читателя. Нравится мне и рецензия **В. Иофе** на книгу **М. Волошина** о Сурикове.

Моя сочувственная оценка сборника вовсе не означает, что все для меня в нем приемлемо, что я солидарен со всеми положениями, высказанными

в «Вестнике...» Многое мне здесь чуждо, со многим я не согласен (особенно, когда речь идет о публицистике, критике, философии). У нас разное мировосприятие и мы по разному оцениваем многие события и факты. А. Черкассов, видимо, отнес бы меня к «либералам». Но я не могу утверждать, что безусловная или даже относительная истина на моей стороне. Я разделяю мнение, цитируемое И. Севериным: «литературные вкусы Бога неведомы». Каждый имеет право на свою точку зрения. . . . Позиция авторов, даже при моем несогласии с ними, кажется мне искренней и честной. Я не думаю, что вся литература, кроме «Новой», уместается в понятие «официальной», но считаю, что в республике современной словесности хватит места для разных направлений . . .

П. Рейфман,
профессор Тартуского университета

Дорогие друзья. Прочла первый номер Вестника. Не хочу, да и не считаю себя вправе выступать в качестве рецензента. Сейчас печатается очень много и интересного и важного, но когда открываешь тот или иной журнал, то почти всегда знаешь, что найдешь или специально выписываешь ради какого-то произведения. Ваш журнал ко мне попал случайно, и я не могу сказать, что я прочла его взахлеб, но прочла целиком, что с другими журналами не бывает. Причина в том, что даже вещи, которые мне не очень понравились (или были непонятны) удивляют неожиданным взглядом на мир. Это относится и к стихам, и к прозе, и к статьям. Кажется, что у авторов есть не только смелость, но и право на свое суждение. Ваш журнал доказывает, что в застойные годы сложилась литература, о которой мы совсем не знали, и поэтому хотелось бы не только читать и дальше Вестник, но больше знать о его авторах и видеть другие их произведения напечатанными более широко, чем до сих пор.

М. Крейнова,
г. Москва

Подполье в недавние наши годы стало для нас чуть ли не символом света. Выход из подполья — процесс, который мы переживаем уже четыре года, — не только радость, но и болезнь. Свобода, достигнутая в подполье, распадается на свету. Наступает и время освобождения не из подполья, а от подполья — обретение культуры. «Вестник новой литературы» — шаг именно в этом направлении.

Андрей Битов,
писатель, г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ЕЛЕНА ШВАРЦ (1948) — поэт. Несмотря на отсутствие публикаций в официальной печати уже в 70-е годы приобрела широкую известность как в СССР, так и на Западе. Печаталась в большинстве самиздатских журналов и русского зарубежья: «22», «Вестник РХД», «Эхо», «Стрелец», «Ковчег», «Мулета», «Гнозис», «Глагол», «Грани». В 1985 в издательстве «Россика» (США) вышла книга стихов и поэм «Танцующий Давид», в 1987 «Стихи» («Беседа», Париж), в 1988 г. «Труды и дни монахини Лавинии» (Ардис, США). Стихи и поэмы переводились на основные европейские языки.

В последние годы начала публиковаться в советских изданиях: альманахе «Круг», 1985, журналах «Родник», «Радуга», «Аврора», «Нева». В 1988 г. издательством «Советский писатель» выпущена книга «Стороны света».

Живет в Ленинграде.

ПЕТР КОЖЕВНИКОВ (1953) — прозаик, драматург. Первая публикация в альманахе «Метрополь» (1979, Ардис, США). В 1985 включен в хрестоматию по изучению русской литературы (США). В Советском Союзе печатался в альманахе «Круг» (1985), журнале «Юность» № 4, 1989, «Лит. газете», 1989. Книга прозы выходит в 1990 в издательстве «Советский писатель». Руководит общественной экологической организацией «Дельта».

Живет в Ленинграде.

ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ (1934). Учился на филологическом факультете педагогического института. Один из зачинателей московского поэтического авангарда. Первая публикация в 1964 году в журнале «Тваж» (Прага) пер. А. Броусека. Публиковался преимущественно на Западе: в альманахе «Аполлон-71», в журналах «Ковчег», «Литературное А-Я», *NRL* (1981), *Schreibheft* (1987), антологии «*Kultur palast*» (1984). В СССР до последнего времени печатал лишь стихи для детей. Первая большая подборка стихов вышла в журнале «Дружба народов» № 8, 1989. В этом же году выпустил книгу «Стихи из журнала» (изд. «Прометей»).

Живет в Москве.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ (1947) — прозаик, литературовед, критик. Член СП СССР. В 1979 был исключен из СП за участие в альманахе «Метрополь» (Ардис, США, 1979), в котором выступил как автор и один из редакторов-соавторов. В 1988 восстановлен в СП.

В советской периодике публиковал статьи по русской и западноевропейской литературе. Проза печаталась на Западе. В последнее время рассказы появились в «Литературной газете», журналах «Огонек», (отмечен премией журнала за 1988), «Юность», «Неделя», в 1989 издательством «Московский рабочий» выпущена книга «Тело Анны, или Конец русского авангарда».

Живет в Москве.

ИГОРЬ БУРИХИН (1943) — поэт, родился в селе Троицкое Вологодской области. С 1959 жил в Ленинграде, где окончил театроведческий факультет института театра, музыки и кино. В 1978 эмигрировал на Запад.

Публиковался в журналах «Континент», «Грани», «Время и мы», «Эхо», альманахе «Аполлон-77» и др. В ФРГ вышли две его книги: «Мой дом слово» и «Превращения на воздушных путях».

В последние годы много экспериментирует в области визуальной поэзии, на стыке словесного и изобразительного искусства в жанре перформанса.

Живет под Кельном.

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ (1931) — прозаик, эссеист.

Писать начал в 50-е годы. В Советском Союзе не публиковался, его произведения широко распространялись в Самиздате. В 1974 эмигрировал в США, преподавал в Корнельском университете. В 1985 переехал во Францию, член французского отделения ПЕН-клуба.

Проза, статьи и философские работы печатались на основных европейских языках.

По-русски опубликованы 4 книги: «Шатуны», «Живая смерть», «Изнанка Гогена», «Новый град Китеж»; рассказы и статьи в журналах: «Континент», «Эхо», «Ковчег», «Беседа», «Третья волна», «Стрелец».

Живет в Париже.

ОЛЬГА СЕДАКОВА (1949) — поэт, переводчик, эссеист. В 1973 окончила филологический факультет МГУ. Выступает в печати как литературовед, критик, переводчик европейских поэтов. Стихи циркулировали в основном в Самиздате, публиковались в «Вестнике РХД», «Грани» и других журналах русского зарубежья, в 1986 в издательстве «Имка-пресс» (Париж) вышла книга стихов «Ворота, окна, арки». Первая публикация в Советском Союзе — журнал «Дружба народов» № 6, 1989.

Живет в Москве.

Редакция

«ВЕСТНИКА НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

рассчитывает опубликовать

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

В. Ив. Аксенова, А. Бартова, И. Беляева, Ю. Гальперина, Л. Гиршовича, С. Довлатова, Е. Звягина, З. Зиника, Н. Климонтовича, В. Лапенкова, Эд. Лимонова, Наля Подольского, И. Померанцева, Саши Соколова, В. Сорокина, Беллы Улановской и др.

СТИХИ:

М. Айзенберга, Д. Бобышева, Т. Буковской, В. Гаврильчика, С. Гандлевского, А. Горнона, М. Еремина, Льва Лосева, Б. Лихтенфельда, А. Миронова, О. Охупкина, Льва Рубинштейна, Г. Сапгира, О. Седаковой, А. Семемова, С. Стратановского, В. Уфлянда, В. Филиппова, А. Шельваха, А. Цветкова, В. Эрля, О. Юрва и др.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Л. Аронсона, Элика Богданова, Б. Вахтина, А. Ванеева, А. Введенского, Л. Губанова, А. Егунова, Роальда Мандельштама, А. Морева, В. Розанова, П. Флоренского, Е. Харитоновна.

ВОСПОМИНАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ:

И. Кабакова, Конст. Кузьминского, Эд. Лимонова, М. Шемякина, В. Максимова, Д. Пригова.

**В разделе КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ
статьи:**

К. Бутырина, В. Голлербаха, Т. Горичевой, Г. Витте, Б. Гройса, Вл. Инова, В. Иофе, И. Кавелина, И. Северина, О. Седаковой, А. Степанова, С. Хандскен, А. Черкассова, М. Шейнкера и др.

«ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

№2

Редакторы-составители:

М.Берг и М.Шейнкер

Корректоры Л.Цысарь и Л.Утенкова.

Сдано в набор 5.04.90. Подписано в печать 16.05.90. Формат 60X84/16. Офсетная печать. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 16,74. Тираж 40000 экз. Зак. № 991 . Цена 5 р. Издательство Ассоциации «Новая литература». Молодежное рекламное-информационное агентство «ИнФА». Издание подготовлено с использованием ДИС. Программист Е.Рупайс. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Баласта дамбис, 3.

В 3-ем номере «Вестника
новой литературы»

читайте:

Роман Л. Богданова «Проблески мысли и еще
чего-то».

Рассказы Б. Дышленко,
В. Сорокина,
Е. Харитонова.

Стихи Л. Аронзона, Л. Рубинштейна, С. Стратоновского, А. Шельваха.

Статьи В. Голлербаха.

Т. Горичевой, В. Иофе.

С. Шелина, В. Эрля.

Материалы из архива

В. В. Розанова. В этом же номере «ВНЛ» начинается публикацию знаменитого романа Владимира Набокова «Ада», впервые переведенного на русский язык.

Литературное агентство Ассоциации готовит к выходу в свет: книгу стихов Елены Шварц, сборник рассказов Бориса Кудрякова, роман Леонида Гиршовича «Прайс» и др.